

ВИКТОР ПЕЛЕВИН



ЛЮБОВЬ К ТРЕМ ЦУКЕРБРИНАМ



Annotation

Книга о головокружительной, завораживающей и роковой страсти к трем цукербринам.

«Любовь к трем цукербринам» заставляет вспомнить лучшие образцы творчества Виктора Пелевина. Этой книгой он снова бьет по самым чувствительным, болезненным точкам представителя эры потребления. Каждый год, оставаясь в тени, придерживаясь затворнического образа жизни, автор, будто из бункера, оглушает читателей новой неожиданной трактовкой бытия, в которой сплетается древний миф и уловки креативщиков, реальность и виртуальность. Что есть Человек? Часть целевой аудитории или личность? Что есть мир? Рекламный ролик в планшете или великое живое чудо? Что есть мысль? Пинг-понговый мячик, которым играют маркетологи или проявление свободной воли? Каков он, герой Generation П, в наши дни? Где он? Вы ждете ответы на эти вопросы? Вы их получите.

- [Виктор Пелевин](#)
 - [Объяснения и оправдания](#)
 - [Часть 1. Киклоп](#)
 - [Голем Илелеем](#)
 - [Коробка № 1](#)

- [Зеркало](#)
- [Пророк](#)
- [Удар зонтиком](#)
- [Глагол](#)
- [Свита](#)
- [Птицы](#)
- [Часть 2. Добрые люди](#)
 -
 - [Николай](#)
 - [Рудольф](#)
 - [Ке](#)
- [Часть 3. Киклоп](#)
 - [Явление героя](#)
 - [Великий Hamster](#)
 - [Поезд судьбы](#)
 - [Мультипоезд](#)
 - [Комната смеха](#)
 - [По направлению к Кеше](#)
- [Часть 4. Fuck the system](#)
 - [Кластер 23444–2Ж](#)
 - [Фейстоп](#)
 - [Мэрилин](#)
 - [Lovebook bedroom](#)

- [Грех](#)
- [Анонимус](#)
- [Метадата](#)
- [Фаза «LUCID»](#)
- [Метадата 2](#)
- [Работа](#)
- [День Семьи](#)
- [Мэрилин](#)
- [Needles and pins](#)
- [План](#)
- [Пробуждение](#)
- [Исполняемый оператор](#)
- [Часть 5. Киклоп](#)
 - [Слово Киклопа](#)
 - [Остров обезьян](#)
 - [Верхние прыгуны](#)
 - [Надежда](#)
 - [Прощай, «Контра»](#)
- [Часть 6. Dum spero spiro](#)
- [Эпилог](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)

- [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
-

Виктор Пелевин

Любовь к трем цукербринам

The universe is made of stories, not atoms.

Muriel Rukeyser [\[1\]](#)

Объяснения и оправдания

Эта странная книга содержит три повести (одна непропорционально длинная) — и объяснительный текст, соединяющий их в целое. Связующий материал (я назвал его «Киклоп») можно рассматривать в качестве дополнительного рассказа, полностью документального — хотя я признаю, что в таком качестве он никуда не годится: в нем есть длинное и подробное вступление, есть заключение, но почти отсутствует повествовательная часть, вместо которой читателя ждет несколько страниц моих шатких рассуждений, отдающих научпопом.

Я хочу попросить прощения за эти недостатки — но книга и не могла получиться иной. Говорить о работе Киклопа подробно я не стал по причинам, которые будут вполне ясны. С другой стороны, совсем не упомянуть о Киклопе я не мог тоже — иначе три моих повести потеряли бы всякую связь друг с другом: было бы непонятно, что у них общего, кем они написаны и откуда вообще взялись.

Поэтому прошу иметь в виду: моя цель — рассказать не столько о Киклопе, сколько о том, что Киклоп увидел и понял на своем посту. Ибо многое из этого кажется мне заслуживающим внимания.

В своей книге я иногда пользуюсь научной терминологией. Хочу подчеркнуть, что я не физик и вообще не имею никаких технических познаний. Я просто пытаюсь объяснить наблюдаемую реальность в терминах, которые у всех на слуху, чтобы не придумывать слишком много неологизмов. Физик, возможно, найдет в моем рассказе нестыковки и противоречия. В таком случае предлагаю ему придумать объяснение лучше моего — и сохранить его себе на память.

Физическая сторона вопроса на самом деле не особо для меня важна. Но она довольно интересна. Во времена Галилея и Коперника полагалось во вступлении делать реверанс в сторону церковной догмы и соотносить с ней все гипотезы и предположения, а сегодня мы должны точно так же кланяться догме научной. И если я говорю иногда про «мультиверс» и «многомерность», я делаю это примерно с теми же чувствами, с которыми Галилео мог бы упоминать в своей книге пророка Исайю и Ангелов Божьих: с робкой верой, что Святое Писание понято мной, грешным колдуном, хоть отчасти правильно.

В книге почти нет связи с актуальной действительностью. Думаю, что в наше время это скорее достоинство, чем наоборот.

Засим почтительно возлагаю к стопам Читателя и Читательницы свой скромный труд.

К 1156

Часть 1. Киклоп

В начале следует описать ту точку, где сходятся все эти истории — или, может быть, откуда они расходятся.

Наверно, скорее расходятся — потому что только с учетом этого центрального события делаются понятными все изгибы прослеженных мною судеб.

Это было похоже на вспышку магния, которая запечатлела героев в случайных позах — и послала в будущее их фотографические отпечатки. Я говорю «магния», поскольку огонь и дым были настоящими. Айфон такой вспышки не даст даже по команде из АНБ. Хотя, конечно, как знать — я где-то читал, что американские смартфоны могут не только подслушивать, подсматривать и поднюхивать, но и детонировать по сигналу из центра, пробивая ушную раковину и мозг направленным взрывом аккумулятора. Наверно, конспирологический юмор.

Но по порядку.

Я знал, что не останусь Киклопом вечно. Это опасная нервная работа, которую выполняют обычно не больше года или двух. Потом Птицы нащупывают в ткани нашего мира мешающий им узел с достаточной точностью, чтобы удалить его — если надо, вместе с самой тканью. Они больше не используют в качестве оружия случайно оказавшихся рядом людей. Так они ведут себя, когда действуют вслепую, и Киклоп случайно появляется в поле их внимания на несколько секунд. Если они твердо знают, где искать своего врага, они поступают иначе.

Как, я сейчас расскажу.

Точно подо мною располагалось рабочее место Кеши — молодого человека,

различным состояниям и формам которого будет посвящена значительная часть этой книги. Можно сказать, что в то время он был самым близким мне существом — во всяком случае, в пространственном смысле.

Иногда я позволял себе нескромное, наверно, развлечение — настраивался на его ум и начинал наблюдать за происходящим в окружающем пространстве через его глаза — и даже сквозь призму его сознания. Я воспринимал не только то, что он видел, но и голоса, раздававшиеся в его уме (не буду называть их мыслями — поскольку половины из них он не слышал сам, а другой половине подчинялся без размышления).

Иногда это бывало интересно, иногда — не очень. Если он, например, включал своих японских школьниц (такое случалось, когда в офисе оставалось мало народу и Кеша был уверен, что никто не подойдет к нему со спины), его внутреннее пространство заполнялось грубоватым комментарием, похожим на футбольный. Кеша, заслуженный работник bondage/bukkake на пенсии, как бы разъяснял происходящее несмышленным профанам, которые смотрели порнушку вместе с ним. Таким профаном в эти минуты был один я — но Кеша в своем воображении транслировал сигнал на куда большую аудиторию. Все-таки поразительно, до какой степени человек общественное существо.

Когда людей в офисе собиралось слишком много, чтобы можно было смотреть порно или играть с компьютером в игры, Кеша начинал троллить зазевавшихся граждан в интернете — словно ас Второй мировой, вылетевший на свободную охоту. Картинка на экране делалась на это время совершенно пристойной и функциональной: любой медийный работник сегодня полдня ныряет по блогосфере.

Иногда Кеша отвлекался от компьютера, глядел на своих соратников по офису — и выносил им приговор судьбы.

Наименее жесток он был к девушке Наде, занимавшейся буфетом и озеленением пространства — «если пострижется нормально и перестанет бояться людей, то найдет себе какого-нибудь азербота». Других он судил строже. Главного редактора сайта «Contra.ru» (так называлось место, где он работал) он окрестил про себя «шабесгеем» (что не мешало Кеше ежедневно перед ним заискивать — но жизнь, как известно, есть клоунада). При этом Кеша искренне считал, что влечение к виртуальным японским школьницам является нормой, а главный редактор — перверт.

Соответственно, информационный продукт родного сайта Кеша называл про себя словом «шабесгон» (даже бормотал во время дедлайнов мечтательную мантру-стишок «мой шабесгон, мой шабесгон — как много дум наводит он»). Коллег по работе он делил на «вонючек» и «усталых» (первые с годами превращались в последних, отвояв свое — примерно как выгорающие звезды).

Ну и так далее. Кеша на самом деле не был ни гомофобом, ни антисемитом, ни снобом. Просто ассемблер чужой души при близком рассмотрении редко выглядит привлекательно. Но мы еще вернемся к Кеше — сейчас я рассказываю об этом, чтобы было понятно, чем я занимался внутри его головы в тот день, когда произошло роковое событие. Я отдыхал в ней, как в персональном кинозале — в этот день крутили довольно интересное кино.

В редакцию «Контры» пришел входящий в моду поэт Гугин, бочкообразный лысый мужчина с треугольной рыжей бородой («бегемот апокалипсиса», как он сам

себя называл — но темно-багровый цвет его лица наводил скорее на мысль об апоплексии). С ним делали большое интервью.

Было две телекамеры и три прогрессивных журналиста, пришедших для съемок круглого стола — их рассадили полукругом перед большим белым щитом с надписями «Contra.ru», и Гугин, стоя в фокусе этого живого прожектора, читал стихи («стиши», как он говорил) из своего нового проекта «Голем Илелеем».

Это была амбициозная попытка отразить в стихах все наиболее яркие события недавнего прошлого: составить, как изящно выразилась одна из трех журналистов, «Гугл Мэп Эпохи». Когда Гугин утомлялся, начинал говорить кто-нибудь из журналистов, и камеры поворачивались на него. Потом неиссякаемый Гугин снова начинал декламировать.

Отрывок, который он читал перед вспышкой, назывался «Героям — Пазолини!» и был посвящен, как легко догадаться, известным событиям в Киеве, уже успевшим к этому времени несколько потускнеть в народной памяти:

Под холодным ветром, полным праха,
согнулся мерзлый тартарас,
И беркут наш встал черепахой
В последний раз, в последний раз...

Отчетливо помню эту секунду — и мгновенный срез всех создававших ее умов. Гугин, читая, соображает, не обидится ли редактор на «тартараса», приняв его за замаскированного «пидараса» — и быстро отмечает во внутреннем блокноте, что

надо конкретизировать это как обличительную сатиру на хаос в сознании боевика, увлекаемого в тартары духа Тарасом на щите. Стиш, короче, надо доводить.

Первый журналист, кисло оскаленный блондин с волосами до плеч, размышляет о том, можно ли классифицировать Гугина как полноценного либерала — и сомневается: не все маркеры в стихах расставлены нужным образом, и кажется, что это сделано вполне сознательно. Хотите войны? Таки война вам будет!

Второй журналист, одутловатый одуванчик, уже наполовину выбритый ветром перемен, думает длинную и сложную мысль: Гугина можно назвать одним из множества современных куплетистов, занимающихся культуррейдерством. Он, в сущности, читает не свои стихи, а чужие, с перебитыми номерами, перекрашенные в нужный цвет — которые он просто перепродает через юридический механизм пародии. Какая-то дура, польстившись, видимо, на слово «голем», назвала новый проект Гугина «русской либеральной идеей, отлитой в гранате» — и, похоже, сама не поняла, что сказала. А попала в точку. На приватизации и перепродаже можно заработать — но можно заработать и на самом Гугине. Например, сделать на эту тему статью под названием «Всюду Шпенглер».

Третий журналист, дама, вспоминает о тех самых словах про отлитую в гранате либеральную идею, так некстати сказанных ею на фоне «тартараса» и вообще поклепа на революцию. Гугин не оправдал аванса. Ничего, выпишем инвойс...

Девушка по имени Надя в нескольких метрах от импровизированной сцены протирает горшок с чахлым ростком пальмы (в горшке стоят две крохотные красные лошадки из пластмассы) и не думает ни о чем — просто смотрит на эту пальму и лошадок. Почему-то земля кажется ей сегодня особенно черной.

За остальными умами в офисе «Контры» я не слежу.

Кеша слушает хриловатый бас Гугина. На душе у него скверно, как и всю последнюю неделю: очень плохие служебные перспективы. Он замечает тень какого-то движения у себя за спиной, оборачивается и видит незнакомого человека, идущего по проходу между столами.

Человек глядит Кеше прямо в глаза. У него небритое лицо горного пассионария, он грязен, за плечами у него рюкзак. Под его распахнутой курткой видна майка с пучеглазой белой овечкой, весело жующей стебли конопли. Его глаза стеклянно блестят: он то ли на наркотике, то ли в трансе. Его губы дрожат — или быстро шепчут.

Кеша понимает, что незнакомец идет именно к нему — но не знает зачем (а я это уже знаю: человек с рюкзаком уверен, что идет ко мне, поскольку наводится на мое внимание, направленное на него из Кешиных глаз). Кеша успевает встать и выставляет перед собой руки. Человек как бы падает в Кешины объятия — и прижимает его к себе изо всех сил, словно встретив наконец любимое существо, которое искал перед этим всю жизнь. Кеша успевает почувствовать нелепый эротизм момента. Сжавший его человек тоже, видимо, ощущает нечто подобное — и шепчет:

— Меня зовут Бату... Аллаху акбар.

Затем происходит страшной силы взрыв. Лампочки всех собравшихся в комнате умов сразу гаснут.

Я прихожу в себя. Я лежу на полу — сила взрыва была такой, что меня сбросило с моего стула этажом выше. Проходит секунда или две, и я понимаю, что больше никогда не буду Киклопом.

А теперь я объясню, как я им стал — и что это слово значит.

Коробка № 1

Я не собираюсь рассказывать о себе слишком много. Мое настоящее имя должно быть скрыто — такова древняя традиция, и я не хочу ее нарушать. Но это и не понадобится: называя себя последней буквой алфавита, я проявлю смирение, которого мне не всегда хватало в прошлом.

Все началось с того, что умер один из моих дальних родственников — и оставил мне однокомнатную квартиру в Москве недалеко от Садового кольца. Это сильно упростило мою жизнь: я переехал туда из съемного жилья. Теперь я мог работать меньше, и у меня появилась уйма свободного времени. Я занимал его в основном прогулками, чтением и спортом. Со временем я собирался стать «писателем» — это означало, что, зря растрачивая молодость, я уверял себя, будто накапливаю необходимый жизненный опыт.

В квартире был сделан приличный ремонт, поэтому я ограничился тем, что вывез все оставшиеся от покойного вещи, заменив их своими пожитками. Я оставил только один из доставшихся мне по наследству объектов — большой фанерный ящик, полный старых книг и желтых ксерокопий. Сохранил я его главным образом потому, что мне понравилась украшавшая его надпись масляной краской:

КОРОБКА № 1

Мой покойный родственник, что-то среднее между дядей и дедушкой, был одним из позднесоветских «внутренних эмигрантов». Он всю жизнь собирал

характерную для этой среды литературу, главным образом так называемую «эзотерику» — и хранил ее в задвинутом под кровать ящике, чтобы она не попадалась на глаза редким гостям. В советское время каждый сторож свято верил, что за ним следят — и был, возможно, прав.

Не могу сказать, что во мне проснулся внезапный интерес к тайному знанию времен московской Олимпиады. Но отчего-то мне показалось неразумным выкинуть доставшиеся по наследству облигации и ваучеры духа, даже не попытавшись их обналичить.

В коробке были фантастические романы, которые обитатели советских катакомб принимали за послания свыше. Были послания свыше, замаскированные под фантастические романы. Были древнеегипетские тексты, сочинения Шмакова и Блаватской — и прочий археологический материал. Там же нашлось несколько книг индийских учителей в английском оригинале.

Странный информационный коктейль, вылившийся на меня из этого фанерного ковчега, надолго зачаровал мою душу. Есть такой анекдот про слепых, ощупывающих слона — вот и я, можно сказать, осваивал похожий подход к древней человеческой мудрости.

Конечно, сейчас многие скажут, что приветливый хобот, касавшийся моих страждущих губ, был на самом деле мокрым хвостом уходящей в забвение драг-культуры шестидесятых. Но даже если я заблуждался, мне все равно везло. Везением была сама возможность ошибки — в те дни ошибиться было еще можно, и именно сбой матрицы, как это всегда бывает, вели в непредсказуемый лабиринт чудесного.

Желтые страницы шептали: если ты хочешь, чтобы высокое и тайное вошло под

темные своды твоего «я», следует развить в себе благоговение и склониться перед неизвестным в молчаливом поклоне. Дело не в том, что кому-то нужны эти поклоны. Тут действует простой эффект наподобие физического: чтобы легкие втянули в себя свежий воздух, в них должен возникнуть вакуум. Нельзя наполнить чашку, которая полна до краев — она должна быть пустой.

Мы все лишь части единого, впитывала в себя моя замершая в поклоне тишина, и главным заблуждением человека является вера в то, что вокруг него — какой-то «внешний» мир, от которого он отделен воздушным зазором. Человек состоит именно из мира, прорастающего сквозь него тысячью зеленых ветвей. Он и есть переплетение ветвей, поднимающихся из озера жизни. Отражаясь в его поверхности, ветви верят в свою отдельность, как мог бы верить в нее, к примеру, зеркальный карточный валет, не догадывающийся, что им просто играют в дурака и без колоды он нефункционален.

Наш ум — продолжение ума тех, кто жил раньше, наше тело состоит из праха древних звезд, а волшебный язык, на котором мы думаем об этом, самая центральная и интимная часть нашего существа — выставлен напоказ в любом букваре... Высшее «Я» мира — в каждом из нас, шептали желтые страницы, только сумей найти его.

Но я сразу понял, что искать это высшее «Я» будет другое, низшее — которым я в результате и окажусь. Вся тайная мудрость человечества представлялась мне чем-то вроде зеленого лесного лабиринта. Его тропинки подвели близко-близко к висящему над ним яблоку истины — и снова уводили прочь. Сделаться, стать, оказаться тем единственным, что было всегда и с самого начала, для смертного человека невозможно. Одна кажимость может как угодно перетекать в другую,

облака могут принимать самые разные формы — но они никогда не смогут стать небом.

«Понять, что ты всегда был...»

Желтые страницы, похоже, немного ввали. Или хитрили. Или недоговаривали. Мираж может понимать про себя что угодно, но никогда не станет вечностью — он в лучшем случае станет ее миражом. Путь в вечность не существовало просто потому, что по ним нельзя было уйти дальше, чем от забора до могилы, причем даже это короткое путешествие начинали и заканчивали совершенно разные существа. В комментариях мелким шрифтом сообщалось, что это отсутствие пути и есть он самый. На этом можно было успокоиться, подивиться лишней раз мудрости древних — и все забыть.

Но меня не оставляло чувство, что есть какое-то очень простое действие — как выражались мои источники, «трансцендентное усилие», способное разом спрямить все углы и убрать все нестыковки. Я подозревал, что «гордиев узел» не следовало даже рубить — его, как в цирковом фокусе, можно было сдвигать вниз по веревке, пока он не упадет.

Дело в том, что это не искатель истины становился бесконечностью, как пели желтые страницы. Все было наоборот — сама бесконечность становилась искателем истины. Она-то могла это сделать, потому что способна была принимать любую форму, в том числе уже существующую. Я мог, согнув пальцы, изобразить на стене тень крокодила. Но тень крокодила даже при величайшем духовном усилии никогда не смогла бы стать моими пальцами.

Однако вечность делала это не по выбору соискателя, а по своему собственному

разумению. И тогда действительно все углы спрямлялись, все невозможности исчезали и все гордые узлы падали в траву сами собой.

Но как? Как? А никак, хихикали желтые листы, путь именно таков. Я долго размышлял — и, кажется, понемногу начал понимать это «никак». Оно подразумевало тишину, покой и как бы отсутствие волн. А покой был невозможен без чистой совести. Но что значит — «чистая совесть»?

Помню поразившую меня сцену в каком-то русском романе: бандит с крестом на груди перед выгодным убийством задумывается на секунду о его моральных последствиях — и, махнув рукой, бросает:

— А! Отмолю...

При всем уважении к отечественной духовной традиции, я чувствовал — дело не в «отмолю». Многое из того, что человечество полагало грехами, казалось мне невинными шалостями. Но совершать их все равно не следовало. Просто потому, что нарушение земных, небесных — или полагаемых таковыми — установлений, какими бы странными они не казались нормальному человеку, неизбежно порождало в душе беспокойство.

В уме как бы раздавалось множество гневных древних голосов, которым отвечало такое же множество раздраженных тонких голосков помоложе. Это случалось независимо от духовной силы отдельно взятой личности и от весомости личного «право имею» — собранный в душе культурный организм неизбежно вступал в диспут сам с собой (что хорошо показывала, например, история Родиона Раскольников).

Дело было не в том, кто из голосов «прав», а в самом этом сумеречном

состоянии духа, различавшемся по интенсивности от шторма до ряби — которое полностью лишало ум его, так сказать, отражательной способности, пряча от человека небо вечности с его великими звездами. Я догадывался, что именно для этого мировые эмиссионные банки и финансируемая ими культурка и поддерживают так называемый «прогресс», этот вечно тлеющий конфликт между равновонючими «старым» и «новым». Вечность не то что брезговала войти в пораженные клокочущим смятением души. Она просто не могла.

Зеркало души следовало держать чистым и ясным — и делать все возможное, чтобы в нем не начиналась рябь. Поэтому я старался не причинять зла другим и следовал даже глупым социальным установлениям, если за их нарушение полагалась внутренняя кара. Я помогал людям чем мог, не делая из этого, впрочем, фетиша — и вообще был покладистым и добрым: это позволяло быстро забывать встречных.

Разумеется, я не держал зла на сделавших мне дурное, принимая это просто как одно из свойственных жизни неудобств. Я не обижался даже на тех, кто сознательно стремился меня оскорбить и унижить, видя в этом трогательную попытку набиться мне в знакомые.

Помогало мне, в частности, то обстоятельство, что я отчетливо понимал: в России «восстановление поруганного достоинства и чести» быстро приводит на нары в небольшом вонючем помещении, где собралось много полных достоинства людей, чтобы теперь неспешно мериться им друг с дружкой. Мне никогда не хотелось составить им компанию из-за химеры, которую они же и пытались инсталлировать в мой ум.

При первой возможности я старался отойти от плюющихся подобными

императивами граждан как можно дальше. Я научился различать конструкции, собранные ими в моей психике в мои бессознательные годы. Поэтому у меня без особого усилия получалось замечать в своей душе приступы ненависти, столь характерные для нашего века, и я почти никогда не позволял им обрести для себя рационализацию, превращающую людей в русофобов, либералов, националистов, политических борцов и прочих арестантов.

Я ни разу не испытывал искушения гордо посмотреть в глаза идущему мимо гостю столицы или укусить добермана за обрубок хвоста. У меня не было ни политической программы, ни травматического пистолета. Я позорно уклонялся от революционной работы и не видел в показываемом мне водевиле ни своих, ни чужих, ни даже волосатой руки мирового кагала. Куски распадающегося мяса, борющиеся за свою и мою свободу в лучах телевизионных софитов, не вызывали во мне ни сочувствия, ни презрения — а только равнодушное понимание управляющих ими механизмов. Но я всегда старался сдвинуть это понимание ближе к сочувствию — и у меня нередко получалось.

Я не смотрел телевизор и не читал газеты. Интернетом я пользовался как загаженным станционным сортиром — быстро и безглаголиво, по необходимости, почти не разглядывая роспись на стенах кабинки. И к двадцати пяти годам тревожная рябь в моей душе улеглась.

Зеркало

В жизни всякого молодого человека есть огромные равнины скуки. Ничего не происходит, ты цепенеешь, как дерево в июльский полдень, и кажется, что «сейчас» никогда не сдвинется с места. В эти минуты мы и принимаем свою главную позу — главную не из-за какого-то присущего ей смысла, а потому, что именно такими вечность фотографирует нас на память. Она чаще всего запоминает нас молодыми.

Для меня эта вечная фотография выглядит так: парень в сером кимоно (оно было мне очень велико и служило чем-то вроде домашнего халата) сидит в полулотосе перед старым зеркалом в дубовой раме. Зеркало таких размеров, что больше похоже на калитку. Подложка стекла уже стала окисляться, или что там бывает со старыми зеркалами, и по ней веером расходятся черные пятна. Но мне это не мешает — там, куда я гляжу, со стеклом все в порядке.

Я делаю упражнение «циклоп», описание которого нашел в коробке № 1 — в рассыпающейся от ветхости брошюре (мелованная бумага, синий шрифт с ятями, 1915 год).

Упражнение заключается в том, что йогин (меня ужасно волновало это слово) садится перед зеркалом на расстоянии чуть меньше метра (точная дистанция подбирается экспериментально) и скрещивает глаза таким образом, что их отражения раздваиваются — пока отражение правого глаза не накладывается на отражение левого точно над переносицей. Сделать это просто, сложнее долго удерживать отражения в таком ракурсе. Но при известной практике можно научиться. Результат упражнения, утверждала брошюра — развитие ясновидения.

Я не особо верил в ясновидение, конечно. Но меня развлекало происходящее. Довольно скоро из зеркала на тебя начинает смотреть очень глубокий, странный и удивительно реальный глаз, уже не совсем твой — по своей геометрии он представляет собой нечто среднее между правым и левым. А потом ты вообще перестаешь видеть что-то кроме него, поскольку иначе невозможно удерживать его в фокусе. Если делать это упражнение долго — а я иногда просиживал перед зеркалом часами, — глаз начинает понемногу оживать.

Через него поочередно проходят все возможные человеческие выражения: презрение, гнев, интерес, омерзение, равнодушие, насмешка... Я знал, что вижу просто отражение своего собственного ума («психического состава», как выражалась ветхая тетрадка с синим шрифтом). Но постепенно я начинал понимать — дело не только в психическом составе.

В упражнении определенно скрывалась тайна. Смотрящий из зеркала глаз не был моим. Он вообще не был чьим-то. Мне казалось, он больше всего похож на дверной глазок. Я сижу перед дверью, а за ней время от времени проходят неизвестные и ненадолго останавливают на мне взгляд (как если бы платоновскую пещеру приватизировали и укрепили стальной дверью какие-то философы с очень серьезными связями).

Иногда странный глаз смотрел на меня с ненавистью, иногда с презрением, иногда брезгливо — и каждый раз мое сердце испуганно соглашалось, что именно этого я и заслуживаю. Но однажды глаз посмотрел на меня с новым выражением.

Оно походило на сочувственное понимание. Причем понимание инженера: мне показалось на миг, что этому взгляду моя душа представляется чем-то вроде пинбола

— наклонной доски с лунками, по которой катается выброшенный пружиной шарик, отскакивая от электрических рычажков. Глядящий мне в сердце глаз внимательно рассматривал этот пинбол.

Потом мой взгляд расфокусировался, и глаз исчез.

Воспоминание о случившемся вслед за этим до сих пор вызывает у меня содрогание. Мне вспоминается сцена из старого фильма-катастрофы, где была показана изнутри кабина врезающегося в океан «Конкорда» — лобовые стекла за долю секунды превращаются в фонтаны сверкающей воды, сносящей на своем пути все.

Стоящее передо мной зеркало вдруг словно врезалось на огромной скорости в океан — или это поверхность океана с той стороны стекла со страшной силой ударила по зеркалу и мне, расшибла нас взрывом и разорвала на атомы...

Когда я пришел в себя, я лежал на полу в центре комнаты. У меня болела неловко подвернутая нога, но я был цел. Зеркало тоже выглядело целым — и кое-где на нем даже виднелась пыль, из чего следовало, что случившийся передо мной взрыв был просто галлюцинацией. Или, тут же возникла в моем сознании мысль-противовес, взрыв был настоящим, а галлюцинация — то, что я вижу сейчас...

Я встал и посмотрел в открытую дверь балкона. Был виден близкий дом напротив, окно чужой кухни. В нем копошилась у плиты грудастая женщина с агрессивным румянцем во все лицо. Она уколола себя в палец ножом — и наморщилась от боли.

Ее звали Мария Львовна. Ей было немного за сорок, у нее имелся муж и двое детей. Мужа она ненавидела за маленькую зарплату и большой член (да, бывает и

такое), детей скорее любила — но проявлялась эта любовь тоже как ненависть, и они ее боялись. Она была родом из Костромы, выросла на берегу Волги, в детстве ей подарили пластмассовый велосипед с тремя красными колесами — и один раз, когда она на нем катилась по лесной тропинке, ей на руку села удивительно красивая оса с длинным брюшком и с почти человеческим остервенением вонзила жало прямо ей в палец...

Мое внимание за секунду провалилось в память этой женщины по какой-то странной избирательной траектории, минуя множество спрессованных событий — прямо в ту точку, где возник эмоциональный рефлекс, исказивший ее лицо. Она сама даже не знала, что переживает это давнее происшествие заново — а я знал.

Я знал много другого. У нее было плохое настроение из-за только что кончившегося скандала с привлечением милиции: она обвинила живущего за стеной соседа (математика из института им. Стеклова, это мне тоже откуда-то было известно) в педофилии и русофобии — на основании прилетавших из-за стены звуков. Менты, приехав по вызову, хотели сначала забрать ее саму, но главный мент, похоже, ей поверил, потому что по оперативному опыту знал, что почти все бородатые математики — педофилы и русофобы.

А вот муж ей не поверил. Мало того, муж предложил ей написать заявление на другого соседа — обвинить его в некрофилии на основании полного отсутствия звуков за стеной: главный мент, сказал он, наверняка опять врубится. Это, может, было и смешно. Но она не смеялась. Муж хотел выглядеть иронично — а выглядел, на ее взгляд, просто жалко, потому что приносил домой меньше шуток. И кому нужны были его шутки...

Эти смысловые зигзаги возникали перед моим взором, как шоссейная разметка, несущаяся в свете фар под колеса. Я мог пойти по любому маршруту. Я все знал про ее мужа (преподаватель истории в каком-то закрывающемся институте). Я все знал про главного мента (тот сам страдал педофилией, поэтому его вердикту насчет математиков можно было доверять). Мало того, я мог за секунду провалиться (или обрушиться — так это ощущалось) к любому их переживанию, уже забытому ими самими. Сквозь их память я мог шагнуть к другим людям. И так сколько угодно раз. Это был бесконечный лабиринт, к любой точке которого я мог перенестись — как если бы впереди раскинулся светящийся город, а сам я сделался током, питающим его огни.

И все это промелькнуло в моем сознании за то время, пока я смотрел на стоящую у плиты женщину в окне напротив. А как только я зажмурился, наваждение кончилось.

Я опять открыл глаза.

Все вокруг оставалось как прежде. Передо мной была серповидная подушка для медитации, коврик для йоги и стоящее у стены зеркало...

Коврик и подушку я купил в свое время через интернет. Но теперь я знал, откуда их привез курьер (магазин со странным названием «Йожимся!» — если знать нужные слова, можно купить курительные смеси, владелец использует одну из продавщиц в качестве персональной strapon-шакти). Я знал, где сделана серповидная подушка (подвальная мастерская, где шили чехлы для мебели и матрасов — для них это был мелкий приработок). Я даже смог увидеть гречишное поле, где зародилась шелуха, которой набили подушку.

Коврик был из того же магазина, но передо мной его успела два дня поюзать одна девушка с великолепной растяжкой — она вернула его в магазин, потому что для нее он оказался слишком толстым и мягким, а в магазине коврику вернули девственность, запаяв в пластик.

Зеркало... Вот про него я почти ничего не видел. Оно было очень старым, и все, кто его сделал, давно умерли. Я смог различить какой-то полосатый фартук, руки во въевшейся грязи и стоящие у стены деревянные рамы — видимо, в мастерской. Но это видение напоминало обрывок старой и плохо сохранившейся фотографии.

Даже паркет попытался вновь стать умирающим под пилами лесом — и рассказать про своих убийц. Я остановил его лишь огромным усилием воли.

Мир изменился. И как!

Из моих слов может показаться, что это приключение было занимательным и веселым. Но я переживал его иначе — я чувствовал себя ныряльщиком, окруженным стаей агрессивно настроенных рыб, в которых превратились все без исключения предметы. Каждая из рыб хотела ворваться в мой ум и проглотить его. Для этого мне достаточно было остановить внимание на любом из окружавших меня объектов и чуть-чуть ему поддаться.

Подойдя к окну, я посмотрел во двор. Там ходили люди — и я по очереди впустил их в себя, пережив за минуту столько эмоций (довольно, впрочем, однообразных — все люди сколочены из одинаковых досок), что к концу этого короткого трипа вообще перестал понимать, кто я такой на самом деле. Мое прошлое ничем не отличалось от их прошлого — разница была только в том, куда направлено мое внимание.

Сделав еще несколько опытов с неодушевленными предметами (стоящая во дворе красная машина, луковка далекой церкви, мусорный бак, после которого мне расхотелось экспериментировать дальше) и с птицами (мне стало ясно, почему животным раньше отказывали в душе — они ничем не отличались от того, что с ними происходило, в то время как люди несли в себе обособленный, клокочущий и никак не связанный с окружающим мир), я окончательно понял, что мне совсем не нравятся эти информационные инъекции.

Они были не то чтобы болезненными, нет. Они были слишком назойливыми. Врывавшееся в меня переживание каждый раз оказывалось новым, оглушительным и настолько ярким, что напоминало взрыв светошумовой гранаты в голове.

Я, к счастью, мог сопротивляться этим вторжениям, удерживая наведенные на меня со всех сторон острия бесчисленных смыслов. Я мог выбирать, чему поддаться, а чему нет. Но стоило мне расслабиться, забыться — и равновесие нарушалось. Одна из пик, как бы вобрав в себя общее давление всего мира, протыкала мою защиту — и я исчезал, превращаясь то в дерево, растущее сквозь человеческие кости, то в просиженную тысячью советских задниц каменную скамью, то в торчащий из мусорного бака сапог, полный тайн своей одинокой госпожи и ее ротвейлера.

Мне не пришло в голову ничего лучше, чем съесть три таблетки снотворного — и запить их водкой из холодильника («смирновка» оказалась паленым продуктом осетинских водочных баронов, один из которых как бы поцеловал меня небритым вонючим ртом в тот самый момент, когда я выдыхал воздух после глотка). Потом я залез под одеяло, зажмурился и отталкивал от себя любые попытки вселенной пробраться в мой череп до тех пор, пока меня не накрыл черный медицинский сон.

Сначала этот сон был просто глубокой ямой, похожей на могилу. Мне нравилось в ней лежать, потому что мои чувства отключились и перестали меня терзать. А затем меня посетило очень четкое и ясное сновидение. Слишком четкое — я ни секунды не сомневался, что вижу происходящее в реальности.

Я увидел полутемную комнату (что-то вроде высеченного в скале зала), где стоял высокий каменный трон — строгой формы, без всяких украшений. На нем сидела восковая кукла человека. В ней я сразу же узнал себя — несколько, впрочем, идеализированного.

В стене напротив восковой куклы был прямоугольник светящегося стекла. Я догадался, что передо мной то самое зеркало, возле которого я столько времени провел в полулотосе, — но видное с другой стороны. Из полутемного помещения, откуда я смотрел, казалось, что за стеклянным прямоугольником — бассейн жидкого света, бросающий в каменный зал приятно дрожащие прохладные блики.

По бокам моего воскового двойника стояли два человека в масках. Маски эти походили на венецианские полуфабрикаты до окончательной окраски — они были белыми и изображали простые правильные лица с мягкими чертами, без всякого особенного выражения. На незнакомцах были длинные накидки из сероватой ткани, которые идеально подошли бы и современному хирургу, и древнему египтянину.

Они делали с моей восковой копией что-то странное. Сначала один завязал мне глаза широкой полотняной лентой. Потом он же прилепил в центр моего лба большой открытый глаз. Второй участник процедуры наложил мне на шею под кадыком другую восковую заготовку — красные полуоткрытые губы. А затем первый приклеил на мое солнечное сплетение бледное восковое ухо. Каждый раз, когда их

руки трогали моего двойника, я чувствовал прикосновение — на лбу, на шее и в районе груди.

Закончив, оба они повернулись к зеркалу, синхронно поклонились ему — и так же синхронно сказали:

— Киклоп!

Я понял — они обращаются ко мне, а слово «Киклоп» значит то же самое, что «циклоп». Просто это было старинным произношением. Мне показалось, что моих ушей достиг какой-то древний звук, носящийся над миром со времен Трои — если не дольше.

Я уже знал, кто эти люди в масках. Это была Свита. Но мне не следовало пока думать о них, чтобы не тревожить их зря своими мыслями. Это я знал тоже.

Дальше была чернота.

Придя в себя (я спал почти до середины следующего дня), я понял, что мои проблемы не кончились.

Какое там.

На простыне передо мной лежало выпавшее из подушки перо. Обычное перо.

Мой ум, оттолкнувшись от него, скакнул в зловонный ад птицефабрики, вынырнул в ее дирекции (где царил не меньшее зловоние, только другого рода) — и, после нескольких безумных кульбитов в чужих головах, открыл тайну одного забытого громкого убийства (и заодно — тайну убийства исполнителя: совсем тихо, через удушье). Вслед за этим в мое сознание с кудяхтаньем и вонью ворвалось множество корпоративных секретов российского бизнес-сообщества, от которых я точно так же не успел увернуться...

Но я уже знал, что мне следует сделать. У меня имелась на этот счет спокойная и уверенная ясность, вынесенная из глубин сна. Я не помнил, привиделось мне такое решение или кто-то его мне внушил — но я понимал, что это единственный оставшийся выход.

Мне надо было совсем отбросить сопротивление и позволить миру полностью заполнить мой ум. Следовало не отталкивать протыкающие мое сознание смысловые лезвия, а пустить их в себя — все сразу. Я знал, какого рода усилие потребуется. Это было примерно как выйти из-под протекающего навеса под дождь. Или как прыгнуть из ледяной стужи в чернеющую на льду прорубь.

Выбора у меня на самом деле не было — иначе моя жизнь стала бы невыносимой. Любое перышко в поле моего зрения могло разорвать мне череп. Я не смог бы всю жизнь фехтовать с этими крадущимися ко мне со всех сторон откровениями — они превратили бы меня в подушечку для булавок.

Надо было решаться. И все-таки я провел в сомнениях всю первую половину дня.

Мне дал пинка холодильник, куда я полез за едой (я не знал, что корейский сборочный конвейер так похож на ленту выдачи багажа в провинциальном аэропорту, а работающие на сборке люди так фундаментально несчастны).

Душ окатил меня страшной правдой о состоянии районного водопровода (после чего у меня возникло желание вымыться еще раз какой-нибудь другой водой).

Даже дверь в ванную успела сообщить мне о пьянстве, которому предаются усатые и краснорожие инженеры испанских мебельных фабрик, из-за чего неправильно просушенный лак трескается потом мелкой сеткой.

Творог и итальянское оливковое масло (не вполне оливковое и не очень итальянское — итальянской на сто процентов была только мафия, подогнавшая из Туниса левый танкер с канолой^[2]) проделали такой мучительный и не всегда гигиеничный путь к моей тарелке, что я не знал, как буду их есть дальше. А чай... Нет, лучше бы я не видел, кто и как сгребает его в кучи.

В общем, выглядело это так, словно мир перестал меня стесняться — и показал мне свой срам. Даже не срам, а все свои бесчисленные срамы: разложил перед моим лицом тот самый многочлен, который так ужасал, помнится, заинтересовавшихся математикой красных кавалеристов. Но с ними это происходило в анекдоте, а со мной — в реальности. Мало того, многочлен бил меня своими отростками со всех сторон, стоило мне лишь чуть-чуть потерять бдительность.

Ясновидение было адом. Следовало сдаваться.

Я догадывался, что пути назад не будет. Последние секунды перед моим прыжком в неизвестное были по-настоящему страшными — они походили на ступени, по которым я поднимался на эшафот. Как любого смертника, меня тянуло оглянуться — и последним приветом из покидаемого мною мира, помню, оказался лежащий на углу стола айпэд. Пропитанный такой американо-китайской потогонной безысходностью, что я даже как-то перестал переживать за себя лично.

И я шагнул прямо в точку невозврата: отбросил свой невидимый щит и позволил миру заполнить меня целиком, со всех сторон и сразу.

Пророк

Поэты тоже обладают подобием всезнания и ясновидения. Но они не смотрят на мир из окна своей башни, а валяются на поэтической кушетке, глядя в потолок, куда падают отблески столь милых им закатов. По этой причине они отражают происходящее за окном очень своеобразно. Они в курсе, что по небу плывут тучи, но их форму и направление движения представляют не вполне.

И тем не менее.

У Пушкина есть стихотворение «Пророк».

В детстве, надо сказать, я не относился к этому произведению серьезно, поскольку оно присутствовало в школьной программе — куда входит, как всем известно, только рыбий жир, полезный, но совершенно невкусный. Но с этим стихотворением у меня была отчетливая кармическая связь.

В восьмом классе, цитируя его в сочинении, я написал «игорный ангелов полет», вместо «и горний». Учительница литературы, зачитав это место хохочущему классу, язвительно заметила, что сочинение было не по Достоевскому, а по Пушкину — но вряд ли многие поняли ее сарказм.

А я, принеся домой двойку с минусом, выслушал от мамы утешительную историю из ее собственного детства, когда за пушкиниану вообще можно было уехать на лесоповал, и надолго: мамин одноклассник, еврейский мальчик Миша, декламируя это стихотворение на школьном утреннике, оговорился и произнес «шестиконечный серафим на перепутье мне явился» — вместо «и шестикрылый». После чего беднягу месяц таскали по райкомам и горкомам комсомола, с

фрейдистской проницательностью прозревая в рыжеволосом отличнике будущего рефьюзника и сиониста. Что, возможно, и сделало Мишу здоровым антисоветчиком, победоносным эмигрантом — и, в конечном счете, обгоревшим трупом в танке.

Так вот, в этом стихотворении есть действительно пророческие строки. Герой описывает свое общение с ангелом следующим образом:

Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон...

Здесь верно каждое слово. Причем удивительно точны и последовательность переживаний, и их содержание. Даже непонятно, каким образом поэт обо всем узнал.

Как только я перестал сопротивляться, что-то коснулось моих глаз. Как будто мне безболезненно отрезали веки — и я уже не мог закрыть глаза и перестать видеть. То, что я видел, не поддавалось никакому нормальному человеческому пониманию. Это было похоже на мерцание, наводящееся в зрительном нерве, если зажмуриться, но усиленное во много раз.

Так могла бы выглядеть абстрактная мультипликация на ускоренной перемотке. Я не видел никаких «ужасов» — ужасное заключалось в том, что от этого зрелища

нельзя было спрятаться. Я не мог забыться в темноте. Словно бы с меня сорвали толстое ватное одеяло, под которым я когда-то был зачат, родился и вырос — и разбудили навсегда.

Затем давление переместилось на уши. И здесь Пушкин высказался до того точно, что к его словам почти нечего добавить. Шум и звон, да.

Шум походил на рокот, раздающийся в морской раковине, когда прикладываешь ее к уху. Только он был намного громче и басовитей, как если бы в раковине действительно ревело шумящее море. Сквозь этот рокочущий низкий звук пробивался другой, нежный и мелодичный: будто бы звон крохотных шестеренок и шатунов, какой-то тонкой бронзовой механики — причем механизмов в этом пространстве было много-много, и очень непохожих друг на друга: все они тикали с разной скоростью. Звон казался удивительно осмысленным — я почти понимал его, словно это был древний язык.

А потом случилось еще одно событие, о котором Пушкин не упомянул. Давление с моих глаз и ушей переместилось на затылок и как бы продавило его, мягко вмяв мой череп до самого центра головы — и какие-то разъятые части моего мозга (я до этого не знал, что они разъяты) выгнулись, соединились между собой и даже как бы защелкнулись, прочно зацепившись друг за друга.

Я понимаю, как это странно звучит, но так оно и было. И мне понятно, почему Пушкин молчит: попробуй найди для такого внутреннего щелчка удачное сравнение (мне приходит на ум только английский замок — но не ставить же его, право, в голову нашему русскому пророку, заключают конспирологи). Так что претензий к Пушкину у меня нет. Но все же, по-моему, не следует использовать стихи в качестве

«зеркала эпохи» — поэты часто недоговаривают.

И вот после этого засекреченного Пушкиным щелчка и случилось самое интересное. То невообразимое, яркое, быстрое и пестрое, что мельтешило перед моими глазами, вдруг вошло в синхрон со звенящим гулом в моих ушах — и, став одним целым, совершило несколько невообразимых пульсаций, каждая из которых заставила меня умереть и возродиться в свете и грохоте (я даже не пытаюсь все это описывать подробнее, обычный человек отключится гораздо раньше, чем такое восприятие сделается возможным).

А потом, через миллиарды лет, когда я уже успел забыть, кто я такой (или, вернее, когда я успел вспомнить, что никогда этого и не знал), все снова стало одним целым.

Первым, что я ощутил, было облегчение.

Мой план сработал — вызванная принудительным ясновидением мука ушла. Ворвавшись внутрь, знание всего обо всем как бы свело себя почти до нуля, уравновесив приложенное ко мне снаружи давление таким же внутренним. Лодка приняла в себя балласт и больше не рисковала перевернуться. Теперь я мог спокойно смотреть по сторонам, не опасаясь нацеленных на меня информационных стрел и стилетов.

Но вместо одной проблемы появилась другая.

Бывают такие визуальные шарады: лист, густо замалеванный зигзагами и пятнами, с подписью вроде «найдите на рисунке молодую женщину с веером». Когда находишь эту молодую женщину, делается непонятно, почему она не была видна с самого начала — и уже невозможно перестать ее видеть. Вот и со мной произошло

нечто похожее, только вместо женщины с веером в мой ум ворвалась вся вселенная — качнулась несколько раз и застыла.

При этом она каким-то образом опиралась... на меня самого. Словно бы весь мир был огромным разрисованным блюдом, дно которого балансировало на вершине конуса — и этим конусом был мой ум.

Как там дальше у Пушкина?

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье...

Снова все верно.

Только надо расшифровать, что поэт имел в виду.

Я ощутил вселенную как огромное неустойчивое равновесие. К ней были приложены как бы две разные воли, два разных смысловых знака — и приложены с таким усилием и мощью, что «небо» содрогалось на самом деле. В действительности, конечно, воля в мире существовало невообразимое число, и были они всех возможных направлений и видов. И каждая из них знать ничего не хотела об остальных. Но вместе они складывались в два расшибающихся друг о друга потока.

Один из них хотел быть. Другой — не хотел быть. Или, может быть, правильнее — хотел не быть. Они вступали друг с другом в смертный бой, смешивались,

сжигали и вымораживали друг друга — и снова возникали друг из дружки, стоило лишь одной из этих сил достаточно сгуститься. В общем, если вы видели китайский знак «Инь-Ян», то на космическом блюде был начертан именно он.

И уже сверху были добавлены моря и горы, небо со звездами, леса и реки — и мириады живущих в них существ. Дальше начинался космос, он уходил во все стороны и устроен был именно так, как учат в школе — но я сразу ощутил некоторую его, что ли, необязательность.

Мир, который на меня свалился, оказался на самом деле совершенно библейским. Он состоял из воды и тверди, и, хоть они действительно хитро загибались в земной шар, Земля, в полном соответствии с учением церковных мракобесов, была плоской, потому что сознание, опиравшееся на эту твердь, переживало ее именно как плоскость, а круглым шаром она могла стать только тогда, когда переставала быть твердью под ногами и становилась синим бликом в иллюминаторе космической станции. Но в иллюминаторе синела уже не сама земная твердь, а просто ее визуализированная концепция.

Центром Вселенной оказалась действительно Земля. А все солнца, звезды, галактики, квазары и прочие черные дыры были только существующей в мире возможностью, и чем дальше от меня располагалась эта возможность, тем менее реальной она выглядела.

Наверно, я говорю не совсем научно — или совсем ненаучно — но я просто пытаюсь описать реальность так, как я ее ощутил, когда стал Киклопом. Так же ее, видимо, ощущали и все предыдущие Киклопы, отчего человеческое ясновидение никогда не вступало в конфликт с самой обскурантистской картиной мира.

Мой мир состоял не из предметов, а из зыбких, постоянно меняющихся вероятностей. И если вероятность пола под моими ногами была стопроцентной (минус какая-то исчезающе малая величина, которую можно было забыть), то вероятность бесконечных катастроф пространства, чудовищными водопадами рвущихся назад к началу времени (так я ощутил самые древние и далекие космические объекты), была нулевой (плюс какая-то исчезающе малая величина, про которую тоже можно забыть).

Вероятность, про которую я здесь говорю — чисто бытовая, житейская и практическая. Не было способа ощутить любую из этих космических ламп не как точечный светильник в небе и элемент божественного дизайна (пусть даже с длинным техпаспортом), а как нечто иное. Такой объект существовал не в моем мире, а в его гипотетическом прошлом, откуда прилетал свет — то есть он был чем-то вроде скелета динозавра, намалеванного в небе для красоты.

Все это было на самом деле совершенно нереально — хотя элементы нереальности соотносились друг с другом безошибочно и точно, и разобраться в этих световых окаменелостях не хватило бы и жизни. То, что я понял про космос, можно было сформулировать примерно так: реальность ископаемых космических объектов обратно пропорциональна кубу расстояния до них.

Можно и квадрату. Просто куб мне больше нравится, потому что от него больше пользы в быту. Ибо реальность, как знает любой обыватель, это то, с чем вы можете когда-нибудь столкнуться.

Все, больше никаких уступок научному мировоззрению. Я сразу понял: религиозные мракобесы были правы, и Бог сначала увидел перед собой черное

зеркало со своим отражением, потом по нему прошла рябь и оно стало водой, затем возникла твердь — а потом уже Он нарисовал над этим миром всю небесную сферу с ее законами, историей, скоростью света, красным смещением, синим свечением и мумиями нобелевских лауреатов, вечно летящими в туманность Альцхаймера сквозь сворачивающееся пространство угасающего ума. Причем нарисовал так, что Земля стала просто пылинкой в этом потоке.

Наш Бог, (если Он есть), не физик.

Бог скорее художник — и большой шутник. Чтобы не сказать — хулиган из группы «Война», создавший Вселенную, чтобы написать на ней неприличное слово.

Причем каждая из его шуток становится непреодолимо серьезной для тех, кто хочет познать Его через физику — и в этом, я бы сказал, заключен особо жестокий сарказм. Потому что пройти к Нему можно и через двери физики, вот только лететь до дверной ручки нужно будет пятнадцать миллиардов лет, и то — если удастся разогнаться до скорости света.

Мало того, Бог не только шутник, он и сам шутка. Ибо в реальности — не той, что светится в этом черном планетарии над нашими головами, а в настоящей, по отношению к которой весь видимый мир есть лишь зыбкая тень, пузырится огромное число возникающих и исчезающих миров, и у каждого есть свой Бог, и над каждым поднят черный балдахин своего космоса с удивительной древней вышивкой, и среди этих вышивок нет двух одинаковых.

И дело не в том, как устроен космос и всевластен ли Бог, а в том, что любой такой всевластный и всемогущий Бог — это, если я позволю себе поэтически воспользоваться современным научным жаргоном, просто царек микроскопического

одиннадцатимерного вероятностного пузырька, тайно раздутого до размеров трехмерной иллюзорной Вселенной, общая энергия-масса которой равна нулю. Несчетное число таких богов и создаваемых ими вселенных рождается и исчезает в каждом кубическом миллиметре шанса каждую секунду, и в любом пузырьке спрятана своя нелегальная вечность. Бесконечный рой Иегов и порождаемых ими космосов, и каждый Иегова единственный, и каждый оглушительно хохочет. Но стоит только чуть-чуть скосить глаза, и никого из них уже нет.

Все вечности и их владыки идут по одному непостижимому пути — но мне не позволено сфокусировать на нем свой взгляд, и брезжащая на периферии сознания догадка о существовании этого пути и есть тот единственный способ, которым он может быть познан.

Но это просто нарисовано в небе, а важно в мире то, что происходит сейчас и здесь. Остальное — декорации. Вселенная существует в нас, и только в нас. Все галактики и квазары, смещения и дыры, ангелы и боги не где-то там — а вот именно тут. Если не станет человека, не будет и его вселенной. Будут, возможно, другие, но уже не с нами и не для нас.

Все это за долю секунды прошло через мой потрясенный ум — и я засмеялся, потом заплакал, а потом засмеялся опять. Это и было содроганием неба.

И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье...

Да-да. Под совершенно реальным, но декоративным космосом покоилось блюдо мира — огромный Инь-Ян, о котором я уже говорил. Две его противоборствующие силы были живыми: они состояли из множества упертых друг в друга волей, бесконечно могучих и еле ощутимых — начиная с богов и кончая поедающими друг друга инфузориями, и каждая из этих волей, какой бы крохотной она ни казалась, содержала в себе все содрогающееся небо.

Самое поразительное заключалось именно в этом. В том, что прозябание любой «дольней лозы», о которой не задумается и муравей, содержало в себе немыслимую битву величайших ангелов и демонов мира. Оно было как бы вычитанием нижней бездны из верхней — и крохотная разница между ними и становилась этим «прозябаньем». То же относилось ко всему живому.

И когда какая-нибудь одинокая, нищая и забытая всеми старуха плачет в своей конурке, понял я с благоговением, вся огромная неизмеримость содрогается и плачет вместе с ней, и в этом самое удивительное и поистине божественно страшное.

Мне было неясно, зачем эта сила вошла в мою душу, показав мне то, что не следует, скорей всего, знать человеку. А потом баланс мира, который я держал на гвозде своего ума, чуть-чуть сместился, и я понял.

На огромном космическом блюде часто происходило — или, вернее, набухало, грозило произойти (я даже не понимал сперва, что вижу будущее) — какое-то событие, нарушавшее общий порядок мироздания. По непонятной причине всегда только одно.

Сначала эта единичность казалась мне поразительной, но, поразмыслив, я перестал удивляться. Ведь любое равновесие, нарушаясь, смещается куда-то конкретно, в одну сторону — а не во все сразу. Но выглядело это тем не менее странно.

Равновесие, о котором я говорю, не физическое, а баланс тех самых живых волей, составлявших все разнообразие человеческого мира (за другие сферы реальности я, к счастью, не отвечал).

Человеческий мир сохраняется, потому что эгоистические и безрассудные действия людей, преследующих собственные цели, удивительным — и совершенно анекдотичным на первый взгляд образом — нейтрализуют и компенсируют друг друга.

Поток нашей истории состоит не из осмысленных действий «субъектов», движущихся к своей цели, а из переплетения мириад причинно-следственных связей, бесконечно древних, совершенно бессмысленных в своей пестроте — но управляющих ходом жизни. И в этих связях (индусы называют их кармой), несмотря на всю их нелепость, нет ни малейшей случайности, потому что они развивают и продолжают тот импульс, который дал когда-то начало миру.

Но во всякой сложной системе иногда возникают сбои и перекосы. Их, к счастью, почти всегда можно выправить — так же, как мы удерживаем равновесие, катаясь на велосипеде или коньках.

Я чувствовал тонкий баланс человеческого мира примерно как стоящий на канате циркач, держащий на носу трость и жонглирующий кеглями — только на моем носу был весь цирк, и это не зрители глядели на меня (они обо мне даже не подозревали), а я на них. Когда равновесие чуть нарушалось (такое происходило почти каждый день), мое внимание тут же устремлялось к той точке зрительного зала, где это случилось, а остальное исчезало в тени. Я видел, что мне нужно сделать, даже не вникая в суть событий.

Попытаюсь объяснить, что я имею в виду, на условном, но зато всем понятном примере (о реальных случаях своего вмешательства я, увы, не могу говорить по правилам служебного кодекса).

Бывают кинокомедии (и фильмы ужасов тоже), в которых прослеживаются очень длинные причинно-следственные связи. Например, брошенный с киевского балкона окурок попадет на воротник сотнику Гавриле, переходящему дорогу. Имя в данном случае тоже условное: у Ильфа и Петрова, помнится, кто-то из героев писал «Гаврилиаду» — поэму о бесконечном многообразии возможных истоков Первой мировой. Вот и я о том же.

Гаврило останавливается и начинает чистить камуфляж. Его сбивает вылетевший из-за угла грузовик с покрышками, Гаврило в тот вечер не выходит на трибуну майдана, Янукович еще на полгода сохраняет свой золотой батон, Крым остается украинским, Обама не обзывает Россию региональным бастионом реакции,

и все остальные колеса истории, большие и малые, не приходят в движение. Направление, в котором сместится равновесие мира, зависит от того, попадет ли окурок в сотника в нужный момент.

Представим себе, что из-за возникшего в мире дисбаланса стоящему на балконе курильщику, уже дотягивающему свою сигарету на февральском ветру, собирается позвонить ушедшая по революционным делам жена, из-за чего курильщик не затянется в последний раз и окурок полетит вниз слишком рано.

Жена курильщика, готовая сделать роковой звонок, ушла на самом деле не жарить пирожки для воинов света, как наврала мужу — она спустилась на другой этаж, где ее трахает приезжий активист из Тернополя. Этот активист еще может спасти братство славянских народов, если закончит процедуру на полминуты позже и звонок опоздает...

Но для этого жена курильщика должна выглядеть менее привлекательно — у нее под глазом должен быть замазанный тональным кремом синяк... Который ей три дня назад могла поставить вредная гражданка, поспорившая с ней в метро о месте Симона Петлюры в украинской истории... Но для этого у вредной гражданки должен быть с собой тяжелый зонт с синей ручкой, совершенно не нужный нормальному человеку в феврале.

И так далее, без начала и конца — подобные связи уходят в прошлое и будущее бесконечно далеко.

Когда я чувствовал, что хрупкий баланс мира готов нарушиться, главное было обнаружить и исправить сбой как можно раньше. Например, в тот момент, когда собирающаяся на улицу вредная гражданка глядит на зонт и думает: «брать или не

братъ?»

Мне не нужно было знать, зачем ей зонтик в феврале. Мне не следовало разбираться в политических взглядах сотника или вникать в отношения балконного курильщика с женой. Мне ни к чему было выяснять, какие женщины нравятся тернопольскому активисту. Спрессованное до мгновенного инстинкта узнавание сути указывало мне: вредная гражданка в городе Киеве раздумывает, брать ли с собой зонт — и от этого в будущем может случиться много неожиданного. Если она положит зонт в сумочку, мир будет одним. А если нет, он будет другим.

Сбой мог возникнуть именно в этот момент. А исправить его можно было и потом, тысячью разных способов: по линии тернопольского активиста, по линии курильщика, по линии шофера грузовика и по множеству других вплетенных в эту историю траекторий и маршрутов, вплоть до самого сотника Гаврилы. Целые гроздья возможностей возникали в моем наведенном в будущее уме. Я видел их слоями и фракциями — они делились на тяжелые и легкие. Легкие не оставляли за собой ряби — а тяжелые и грубые создавали новые проблемы, которые опять надо было решать — «гасить волну», как я это называл.

Я не знал ничего про связь зонтика с Крымом — хотя мог бы при желании проследить все причинно-следственные переходы. Но я так не делал. Я лишь чувствовал инстинктом, что равновесие мира проще всего уберечь, чуть поработав с этой совершенно незнакомой мне гражданкой и ее зонтом. Я не вглядывался в будущее без нужды, ибо всезнание было мучительным.

До какой степени, понять может только другой Киклоп. Из общеизвестных метафор, дающих об этом представление, мне вспоминается герой старого ужастика

«Восставшие из ада» — демон, голова и лицо которого были утыканы маленькими острыми гвоздями, торчащими из кожи. Они, должно быть, вызывали невероятную боль при любом прикосновении. Если бы эти гвозди торчали не из кожи, а из обнаженного мозга и были подключены к электрическим проводам, вышло бы еще точнее.

Мой дар был избыточен. Я мог залезть в шофера грузовика, в курильщика, в его жену, во вредную гражданку — но это было все равно что начать перебирать соломой бесконечного стога, уже найдя в нем иголку, в то время как мой радар замечал в сене новые иголки, которые следовало вытаскивать.

Поэтому на моем всеведении сразу же натерлась своего рода мозоль. У человеческого глаза есть «слепое пятно» — зона напротив зрительного нерва, не воспринимаемая глазом. У меня развилось подобие такого пятна. Оно закрывало почти всю область возможного — кроме той части, где равновесие мира грозило сместиться. Я мог не обращать внимания на остальное. И если бы не это счастливое обстоятельство, я просто сошел бы с ума.

Я чувствовал будущий дисбаланс как набухающий на мировом блюде прыщик и давил его в зародыше, но прыщ, чуть выждав, норовил вскочить на новом месте. Можно было считать все прыщи разными, но мне отчего-то казалось, что это один и тот же блуждающий нарыв, поочередно пробующий на прочность разные точки мира.

Поэтому, несмотря на всю грандиозность пережитых мною видений, в практическом смысле моя функция была довольно скромна. Мало того, я отвечал не за всю вселенную, и даже не за весь человеческий мир, а только за небольшой его

участок, географически совпадающий с русскоговорящими территориями («глагол», о котором я сейчас расскажу, был как-то связан с языком — здесь мое доброе увещание слышали лучше).

Но иногда мне приходилось исправлять искажения, возникающие и за этими пределами, из чего я заключил, что Киклопов в мире как минимум несколько, и иногда они дублируют друг друга. Увидеть других я не мог, из чего следовало: у моего ясновидения есть границы.

Позже оказалось, что границы действительно существуют — и они значительно уже, чем я предполагал.

«Пророк» Пушкина кончается так:

Исполнишь волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Воля, которой я исполнился, была очень простой — человеческому миру следовало оставаться в равновесии, то есть развиваться по своему исходному плану. Когда на пути этого плана возникали препятствия, я чувствовал их сразу — и мне следовало расчищать дорогу. Но я уже достаточно рассказал о проблеме и ничего не сказал о том, как она решалась.

Мне, конечно, не требовалось обходить моря и земли, как надзирателю свой околоток. Довольно было обводить их мысленным взглядом, не сдвигаясь с места. А вот насчет «жги», да еще и «сердца» — тут Пушкин чуть сгустил краски.

Как я уже сказал, зоной моей ответственности были события в человеческом мире. Инструментом, с помощью которого я влиял на людей, мне действительно служило нечто вроде «глагола» — и другой термин я даже не стану искать.

В голове обычного человека раздается множество голосов, которые он сам не сознает. Можно сказать, что в подвале человеческого ума постоянно происходит воровская сходка, где, собственно, и решается судьба всего дома. Эти голоса

постоянно спорят между собой. Пока они говорят разное, крыше ничего не слышно — она лишь ощущает легкую нервозность. Потом несколько таких голосов соглашаются о чем-то друг с другом и начинают говорить в унисон. Тогда их общая громкость делается достаточной, чтобы их стало слышно наверху — и они становятся командой.

Обычный человек не то чтобы слышит голоса — он им подчиняется. Еще точнее, он и есть эти голоса, поскольку до того, как команды начинают выполняться, никакого человека просто нет: личность возникает именно в процессе их воплощения в жизнь.

Если же человек по какой-то причине слышит эти голоса все время, его или объявляют шизофреником и изолируют от нормальных людей, или назначают пророком и сажают в золотую колесницу. Но это, в общем, известно.

Можно долго спорить о природе таких голосов. Раньше считали, что они принадлежат богам, духам, ангелам и бесам. Потом их стали называть интериоризованными социальными кодами, фрагментами управляющих человеком программ, инвариантами иерархически обусловленной матрицы поведения, и так далее — но сами голоса от этого не изменились ни разу.

Дело, однако, не в том, как я их буду называть.

Дело в том, что я мог зайти в этот подвал к любому человеку — и, совершенно незаметно для него, заговорить на его внутренней воровской сходке не особенно громким, но очень убедительным голосом такого тембра, что все остальные участники сразу же начинали соглашаться, подпевать, подвывать и подблеивать. В результате человек не то чтобы слышал меня — он слышал себя.

Он вовсе не подчинился моей команде, он самым естественным образом спешил выполнить сильнейшее желание, вдруг возникшее в самой сердцевине его существа. Поскольку это было его собственным желанием, ему и в голову не приходило подвергнуть происходящее сомнению. На такое способны только некоторые созерцатели — но с ними, по счастью, я практически не имел дел, ибо их сердца пребывают далеко от путей этого мира.

Так вот, если вернуться к нашему примеру — допустим, мне требовалось, чтобы вредная гражданка взяла зонт. Тогда «глаголом жги сердца людей» заключалось в банальном «женщина, возьми!». Говоря совсем точно, слова «женщина» там не было. Войдя в чужое сердце, я всегда изъяснялся в первом лице: «мне таки нужен зонт» — а вслед за этим и появлялся тот зыбкий голем, которому зонт был нужен. И все.

Никакого дыма, никаких кардиологических ожогов. Женщина вспоминает, что ее тяжелый зонтик с синей ручкой — на самом деле замаскированная дубинка из трех связанных скотчем арматурных прутьев: вещь, крайне необходимая в судьбоносные времена. Она чему-то улыбается, кладет зонт в сумку, выходит из дома — и сквозь морозный туман и растворенную в нем революционную надежду направляется в будущее. Но я за ней уже не слежу.

Я мог бы, наверно, заработать кучу денег, играя на бирже. Но в один из первых сеансов моего общения со Свитой мне было разъяснено, что «глагол» может быть использован только по одному назначению — для устранения мировых дисбалансов. Карой за нарушение этого закона была смерть (мне показали длинную золотую иглу, а потом кивнули на моего воскового двойника).

Мало того, я не мог вмешиваться в самую чудовищную несправедливость, творящуюся на моих глазах. Я не имел права предотвращать преступления, останавливать теракты, тормозить кровавые революции, спасать людей от несчастного случая — подобное даже не обсуждалось. С точки зрения моей работы, реально угрожающие миру дисбалансы возникали вовсе не там, где их видели СМИ и я сам в своей человеческой ипостаси. Все это могло быть частью плана, по которому развивается мир. Мне следовало охранять не свои человеческие представления о должном, а существующий порядок вещей — вернее, не сам этот порядок, а так называемую *связь времен* (позже я объясню, что это). В общем, я мог или принять правила, или уйти. Я их принял.

Вот и все, что касается Киклопа.

Если читатель ждет рассказа о том, как я спасал человечество в живописных битвах со злом, он будет разочарован — я больше не скажу про свою ежедневную работу ни слова, как и предупреждал в предисловии. И вовсе не из скромности.

Во-первых, говорить о конкретном содержании своей деятельности и ее технических аспектах подробнее, чем я уже сделал, я не могу — это часть правил. Думаю, это понятно. Тайны в нашем мире есть даже у компаний, всего-то навсего торгующих психотропной сахарной водой, подцвеченной экстрактом кошенильного червя.

Во-вторых, мое повествование от этого совершенно не пострадает. Хоть моя работа была крайне важна, назвать ее интересной трудно, поскольку я решал возникавшие проблемы самым экономным и неброским способом, чаще всего даже не зная, какие именно будущие дисбалансы я устраняю — как в примере с зонтиком.

Рассказывать о том, как я шпаклевал трещины мироздания, помогая малознакомым людям завязывать шнурки, направлять лифт на нужный этаж или возвращаться домой за забытыми ключами по карнизу второго этажа (самое героическое, что могу припомнить), как-то скучно. Голливудского боевика из этого не выдоишь — приключения районного сантехника и то веселей.

И потом, почти любой человек бывает иногда техническим спасителем мироздания. Нельзя сказать, что в эти минуты он ощущает свою великую роль. Он делает свое дело буднично (поднимает с пола монету, толкает в спину зазевавшегося пешехода, роняет на мостовую бутылку с подсолнечным маслом) и ныряет назад в море неразличимых лиц. Каждый из нас — Лорд-Хранитель этого мира. Я был нужен только для страховки.

Поэтому интересно не то, чем я занимался в качестве Киклопа. Интересно даже не то, что я подглядел в чужих сердцах и душах — повсюду прет довольно однотипный мусор, различается лишь форма куч.

Интересно то, что я увидел и понял, направляя свое служебное зрение на разные аспекты человеческой жизни — и будущего. Здесь мне открылось много любопытного, страшного и неожиданного. Именно об этом я и буду жечь глаголом на всех оставшихся страницах — в меру своих слабых сил.

Я знал, что я не единственный Киклоп на свете — и, конечно, не первый. Много тысяч лет они ходили по блюду этого мира — вернее, держали его на своем вытарашенном глазу. Это был, возможно, один из древнейших земных институтов, и существовали строгие правила, которые мне следовало выполнять. Правила не обсуждались. И еще они были довольно странными.

Я уже сказал, что не мог использовать свои силы в личных целях (или даже в соответствии со своими понятиями о добре и зле). Но это было еще не все.

Та уникальная и ни с чем не сравнимая роль, которую я играл в мироздании, подразумевала, кажется, льготы и преференции. Если любой газенфюрер, любой банкир или римский папа (а эти люди вовсе не решают возникающие во вселенной проблемы, а только создают их) живет в собственном дворце, в окружении личных гвардейцев, придворных поэтов и на все готовых танцовщиц, то я мог, как мне кажется, рассчитывать даже на большее.

Свой остров, пурпурная мантия, функционирующий по строгому и таинственному распорядку двор, лучшие сыны и особенно дочери человечества, ждущие, когда на них падет мой задумчивый взгляд... Скульпторы, состязающиеся за право высечь мой портрет в мраморе... Кантаты в мою честь... Белые голуби, выпускаемые на свободу в мой день рождения... И бесконечные заговоры.

Именно для того, чтобы всего этого не происходило, Киклопу следовало скрывать свою миссию и жить среди людей, затерявшись в одном из крупных городов. Он должен был вести среднестатистический образ жизни. Ему следовало

быть незаметным для любого внешнего наблюдателя, скрупулезно и подозрительно изучающего нашу реальность (а такие наблюдатели существовали — позже я расскажу о них подробнее). Даже одинокая идиллическая жизнь на небольшом острове была слишком большим риском — подобные опыты ставили в прошлом, и кончились они известно как: встречей с изобретательным царем Итаки и другими активистами прогресса.

Впрочем, случай Полифема исключителен. Его несчастье связано с тем, что он был единственным Киклопом, отказавшимся от услуг Свиты. Тех самых людей в масках, которых я видел в своем похожем на сон видении. Я не собирался повторять его ошибку — да мне этого никто и не позволил бы.

Раз уж я упомянул Полифема, добавлю, что Киклопом был еще один из известных персонажей древности — его звали Чжуан-цзы, и именно на этом посту он почерпнул свои выдающиеся познания. Его жизнь после ухода на покой сложилась вполне благополучно. Киклопами были и некоторые пророки — но я не называю имен, чтобы меня не обвинили в святотатстве. А из широко известных современников в их число входил, например, умерший в начале века ученый Джон Лилли (о нем еще будет речь в этой книге).

Именно древние Киклопы и были источником прозрений о будущем человечества — а почему эти прозрения оказались такими противоречивыми и взаимоисключающими, я объясню.

Свита была очень почтенным институтом. Можно сказать, одним из тех тайных орденов, о которых постоянно пишут мастера международного иронического детектива с невысоким масонским градусом. Вот только охранял этот орден не

могилку Иисуса и не томик Платона — а меня.

Про Свиту Киклопу следовало знать лишь то, что она существует. Таково было древнее правило, необходимое как для моей собственной безопасности, так и для безопасности Свиты. Мне не следовало надолго останавливать на ней луч своего всеведения. Я не знал точно, где расположены те комнаты и залы, что я иногда видел, и не старался этого выяснить.

Наше общение происходило незаметно для внешнего мира. Я не звонил никому по телефону, не назначал встреч. Я всего лишь следил за ходом мыслей нескольких сменяющих друг друга служителей, как бы державших передо мной нараспашку свои умы (искусство склоняться в мысленном взоре Киклопа каким-то особым почтительным способом — так, что я действительно ощущал чужое сознание как раскрытую книгу, — передавалось, видимо, из века в век).

Свита решала все возникавшие у меня проблемы. Причем с такой эффективностью, что я почти не чувствовал трения о быт. Мне не надо было никого ни о чем просить.

Эти услужливые умы как бы прокручивали передо мной список различных удобств, новшеств, возможностей и жизненных обстоятельств (все было довольно скромным), откуда я мог выбирать, используя тот самый глагол, которым жег в остальное время сердца гражданских лиц. Затем я точно так же выбирал метод нашей коммуникации из веера возможностей, возникавшего в их мыслях.

Я знал, как выглядит для членов Свиты наше общение — в своем медитативном сосредоточении они предлагали молчащей темноте вариант за вариантом, и темнота рано или поздно делала выбор. Вернее, выбор делали они сами — но в отличие от

всего остального человечества они знали, что за этим стоит.

Для любого внешнего наблюдателя мое взаимодействие со Свитой просто отсутствовало. Но всего через неделю после происшествия у зеркала я собрал в сумку самое необходимое — словно уезжая ненадолго на дачу — и вышел из дома. На улице меня ждала машина, обычное такси. Я сел на заднее сиденье и, даже не глядя в зеркальце, где плавали глаза шофера, сказал:

— Поехали.

И машина повезла меня в новую жизнь.

Этот шофер не имел отношения к Свите. Он был водителем такси, приехавшим на обычный вызов. А я — обычным пассажиром.

Ожидающий меня новый дом мало чем отличался от старого, только квартира теперь была на последнем этаже, и из нее открывался вид на лес, одного взгляда на который мне хватало, чтобы снять постоянно копящуюся в моем сознании усталость. Это была простая городская квартира — тихая, удобная и большая. Кроме нее, на этаже имелась еще одна. Но там никто не жил, и я был избавлен от необходимости обсуждать политику и погоду в ожидании лифта — или открывать дверь соседскому ребенку, которому срочно понадобились ацетон, уксус и марганцовка.

В будние дни я выходил из дома примерно в десять часов, когда основная волна спешащих на службу граждан уже успевала стечь в подземные трубы. Я подходил к своей станции метро, спускался вниз и с двумя пересадками ехал в другой конец города по маршруту, линия которого напоминала мне абрис потухшего вулкана с глубоким кратером Кольцевой.

Добравшись до станции назначения, я поднимался на поверхность и шел на работу. У меня была работа, да, как и у остальных людей, спешащих утром по городу. И для внешнего наблюдателя все выглядело крайне убедительно. Сняв меня на камеру в любой момент моего трудового дня, он увидел бы обычную офисную креветку, занятую каким-то невнятным и, скорей всего, низкооплачиваемым делом.

В кадр попала бы оргтехника, чашка кофе, стол со скоросшивателями, плоский монитор и клавиатура — и сам я, в твидовом пиджаке, глядящий в этот самый монитор (или, к примеру, поливающий фикус на подоконнике). Еще в кадре мог оказаться украшающий стену ретро-календарь (гневные красотишки с заклеенными желтым скотчем ртами — то ли политика, то ли принципиальный феминистический отказ в минете, то ли все это вместе: им запрещают одно, а они в ответ отказывают в другом), какой-то план-сетка со множеством заполненных ручкой граф и портрет Леонардо ди Каприо в роли плантатора, как бы повешенный туда размечтавшейся сотрудницей.

На самом деле моя работа была просто хитрым симулякром — ее не существовало. Я понимаю, что подобное может сказать про себя почти любой представитель креативного класса, но мои слова следует понимать не в переносном смысле, а в прямом. Моя работа была выстроена как симуляция изначально — она не имела отношения к внешнему миру вообще.

Мой маскировочный офис располагался в бывшем сталинском министерстве — просторном послевоенном здании, где сосуществовало огромное число самых разных контор. В мою комнату вела отдельная дверь из длинного коридора с раздолбанным (кажется, еще советским) паркетом.

С обеих сторон от моего кабинета размещались мутные московские конторы, где люди бессмысленно мучались с утра до вечера, испекая входящие и исходящие документы, подсигивая, кидая и динамя друг друга — а в тайном аппендиксе между этими вавилонскими печами, за столом с декоративными папками, возле исправно работающей, но такой же декоративной оргтехники сидел я.

Расстояние от меня до ближайшего офисного пролетария обычно не превышало пяти-десяти метров (самый близкий сидел прямо подо мной этажом ниже — его звали Кеша).

На внешней двери моего убежища, звукоизолированной с обеих сторон, висела выдержанная в общей стилистике этого здания красноватая табличка с желтыми буквами:

**СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОГИПРО
КИКЛОП О.К.
ПРИЕМ СТРОГО ПО ЗАПИСИ**

Ниже был подклеен скотчем какой-то список: слово «сдали» — и под ним длинный перечень фамилий. Этот список иногда меняла моя секретарша, вешая на его место какой-нибудь другой.

У слова «ОГИПРО» не было никакого смысла вообще. А вот фамилию «Киклоп» подобрали гениально — «Сидоров» или «Рабинович» вызывают понятные подозрения, а такая может быть лишь на самом деле.

За входной дверью начинался небольшой предбанник со столом секретарши —

стол этот всегда пустовал. Секретарша приходила в те часы и дни, когда меня на работе не было, и я никогда не встречался с ней лично. Ей объяснили, что она нанята с целью сохранить «вторую инспекторскую ставку» (кто не поверит, услышав такое), а на деле ей надо только убирать офис и симулировать активность, вывешивая на дверь разного рода списки. И еще, конечно, она должна была следить за моей кофейной машиной.

Мой офис был прост и строг — стол с черным кожаным креслом, узкий диван, телевизор, кондиционер, личный туалет (скрытый за неприметной дверью — прямо как в ялтинском кабинете Николая Второго), стеллаж с папками, цветок в горшке. В скоросшивателях, кстати, действительно лежали документы с печатями и подписями, какие-то протоколы и разрешения — подозреваю, что с моей подписью. Секретарша приводила все это в убедительный рабочий беспорядок в те дни, когда меня не было. Ее же невидимые руки наполняли всякой вкусной мелочью небольшой холодильник.

Обед мне приносил в просторной сумке человек в форме курьера DHL. У него был свой ключ от двери. За ней он оставлял свою вместительную форменную сумку с едой — и забирал такую же, принесенную вчера. Соседи по этажу не сомневались, что работа за моей дверью бурлит, кипуче выплескиваясь на международный простор.

Стоявший на моем столе массивный эбонитовый телефон даже не был подключен к линии — и я отчего-то находил в этом особую и высшую привилегию. Таким телефоном не мог похвастаться ни один диктатор, серый кардинал или масонский главарь. Это я знал точно.

Работа Киклопа отнимала у меня всего несколько минут в день. Но я не собирался бездельничать в своем маленьком гнездышке. Я говорил о своем желании стать писателем — и теперь наконец у меня было для этого достаточно досуга. Мало того, у меня появился по-настоящему уникальный сверхчеловеческий опыт, а что еще надо, чтобы ворваться в рейтинги и умы?

Я, конечно, шучу.

Я действительно занимался сочинительством за своим рабочим столом около часа в день — и успел написать не так уж мало: три повести, вошедшие в эту книгу (текст, который вы читаете сейчас, был написан, когда я уже перестал быть Киклопом).

Возможно, в таком длинном предисловии есть элемент неронианства: когда разными посулами и обещаниями заманивают граждан во дворец, а потом запирают двери и вынуждают слушать игру на лире. Впрочем, я оцениваю свои опыты трезво: главное достоинство моей безыскусной прозы в том, что она... Она... В общем, я хотел проявить обезоруживающую скромность, вы это поняли и все мне простили.

Но перед тем, как перейти к моим художественным опытам, мне надо рассказать о Птицах — иначе дальнейшее будет не вполне ясно.

Описанные мной меры маскировки могут показаться странными и чрезмерными — вроде бы я, обладая всеведением и способностью влиять на других, легко мог предотвратить приближающееся ко мне несчастье.

Так оно и было — во всем, что касалось злой воли обычных людей или предсказуемой механики этого мира.

Но в мире присутствовала и другая воля, которой я не видел, и исходила она не от людей. Иногда она действовала через них. Но даже и в этом случае она не делалась мне понятна, потому что подчиненные ей люди каким-то образом исчезали из зоны моего восприятия. Они, собственно, переставали быть людьми и превращались в подобие метеоров, падающих в наш мир, чтобы навлечь беды на меня и таких, как я (однажды мне удалось заглянуть в сознание такому метеору — поэтому я знаю, что сравнение подходит).

Странно, но эта враждебная воля не создавала тех дисбалансов, которые я торопился исправить. Возможно, Враг не обладал тем же видением мирового равновесия, что и я, и не понимал, на какие уязвимые точки следует нажать, чтобы его нарушить. Он всего лишь старался сжить меня со свету. Но я вовсе не был главной целью: его стратегия применительно к нашему миру оказалась куда фундаментальней. Враг был осторожен, умен — и прятался гораздо лучше меня.

Свита предупреждала меня об опасности с самого начала. Своим мысленным взором я часто видел одного из помощников, склонившегося перед древним египетским папирусом на стене пустой каменной комнаты. Его раскрытый передо

мной ум содержал одно бесконечно повторяющееся слово:

УГРОЗА УГРОЗА УГРОЗА УГРОЗА

Служитель сам не знал точно, в чем заключена угроза. Он знал лишь одно — демонстрация папируса Киклопу была единственным способом предупредить его об опасности. Остальное Киклопу следовало увидеть и понять самому. Этому ритуалу было столько же лет, сколько папирусу. Но я пока что не видел ничего, кроме рисунка на свитке.

Рисунок был малоинформативен. Он изображал бога Джихаути — человека с птичьей головой, повернутой в профиль. Его голова была непропорционально маленькой, с длинным изогнутым клювом, а над ней высился сложный и хрупкий головной убор, похожий на поднятый парус. В каждой руке Джихаути держал по маленькому человечку, покорно закрывшему лицо руками — одним он замахивался для броска, а другого держал перед грудью, как бы для противовеса.

Под рисунком был текст, который я неожиданно для себя смог понять (единственный раз, когда мне удалось прочесть что-то по-древнеегипетски — этот язык показался мне подобием комикса, загруженного тысячелетними хозяйственными смыслами). Смысл надписи был примерно таким:

«Придет могучий Враг, сильный и мощный, оружием которому будут люди. Будь настороже в одиноком месте! Воздев руки, увидишь Врага».

Египтолог, возможно, перевел бы текст иначе — но я напрямую видел смысл,

заложенный в него его авторами. То, что я перевел как «оружие», в оригинале имело смысл «камень для пращи», но было употреблено, как я понял, метафорически. А «воздев руки» могло так же означать «возложив, подняв, употребив» — вообще сделав что-то руками. «Одинокое место» означало в первую очередь пустыню. Гулять там следовало с осторожностью.

Джихаути, или Тот. Тот самый, хочется мне сострить. Бог магии, письменности и вообще всякой эзотерики. В двух разных написаниях его имени так или иначе присутствовала птица.

Надпись казалась шифром — она явно пыталась сообщить мне нечто важное в обход непосвященных. Но единственное тайное знание, которое я приобрел после этого ритуала, заключалось в том, что мне следует опасаться птиц. Я попытался донести до служителя, замершего перед свитком в поклоне, что того же результата можно было добиться гораздо проще — изобразив на пергаменте, например, гадающего с высоты воробушка. Его тело тут же стало сокращаться в приступах тихого смеха. Киклоп изрядно пошутил...

Мне, однако, было не до шуток. Надо мной нависла опасность, а я не понимал ее природы и не видел источника. Но предупреждение помогло: именно оно — или, вернее, вызванная им бытовая осторожность, чтобы не сказать пугливостью, и спасли мне жизнь при атаке.

Был вечер. Я шел к метро по дороге домой с работы. Стоял один из тех прекрасных летних вечеров, что так обидно проводить в городе — хотя, если задуматься, в любом другом месте они угаснут так же быстро и бестолково. Но грустно мне было все равно.

Помню, я размышлял о том, что назначение красоты — терзать и мучить, поскольку по своей природе она просто обещание невозможного, и никакой другой сути у нее нет. Но если еще можно смириться с этой очевидностью применительно к человеческой красоте, отнести ту же простую мысль, например, к закату (небо сверкало пурпурными императорскими огнями) уже сложнее.

С размножением все понятно, думал я, но зачем материальному миру мучить и обманывать нас надеждой на то, чего в нем не бывает? Да чтобы мы продолжали здесь оставаться — и на что-то такое надеяться... Увы, во многих мудрости много печали, и тот, кто видел изнутри столько сердец, сколько я...

Я шел по тротуару, услаждал себя этими закатными размышлизмами и одновременно чувствовал, как в моем сердце нарастает странная тревога. У нее не было понятных мне причин — я не видел в сгущениях и узлах реальности никаких направленных в мою сторону шипов.

Вокруг все было довольно ordinarily: в башне через дорогу отставной судья расчленил в ванной пожилую родственницу в видах на ее деревенский дом, дети во дворе, мимо которого я шел, убивали уже смирившегося с судьбой рыжего кота, да еще в пятиэтажке неподалеку три рязанских бандита проверяли оружие перед намеченным на ночь налетом (последние русские пассионарии, ценнейшие в генетическом отношении — а ведь сгниют в тюрьме). Обычный городской ноктюрн, в иные дни вокруг бывало и мрачнее. Ни один из этих бытовых выплесков танатоса не угрожал ни стабильности мироздания, ни лично мне.

Тем не менее моя тревога все усиливалась, и я не мог понять ее причины. Я снова увидел служителя, простирающегося в тайной комнате перед папирусом Тота

— он послал мне мысленную просьбу быть настороже. И вдруг во мне сработал какой-то совершенно даже не человеческий, а просто звериный инстинкт. Я остановился — и отпрыгнул назад.

И в ту же секунду прямо передо мной в асфальт врезался человек.

Я успел увидеть его еще живым, сосредоточенным и целеустремленным (именно такое ощущение вызвало промелькнувшее передо мной лицо с вдохновенно поднятыми над головой волосами — он словно бы куда-то очень спешил, или, может быть, скакал на невидимом коне) — а потом, после отвратительно тяжелого удара, от звука которого у меня внутри все оборвалось, он повернул ко мне лицо, захрипел, несколько раз моргнул и закрыл глаза.

Удар человека об асфальт был страшным в своей фантазмагоричности — бедняга как бы попытался пройти сквозь стену, и это почти получилось, но оказалось, что не совсем и за попытку колдовства придется дорого заплатить...

Самым странным было то, что за секунду до удара я не видел надвигающейся катастрофы. Ум разбившегося передо мной человека (он уже умирал, тут сомнений не оставалось) был полностью от меня скрыт. Чувство опасности, в самом прямом смысле нависшей надо мной, остановило меня в метре от гибели — если бы я не прыгнул назад, бедняга убил бы меня своим телом.

Подчиняясь тому же инстинкту, который только что заставил меня отпрыгнуть, я шагнул к умирающему, присел рядом на корточки и взял его за руку. В эту секунду я думал только о том, чтобы помочь ему. Но когда мои пальцы коснулись его ладони, я ощутил контакт с его уже сворачивающимся и исчезающим сознанием, и это было как разряд тока.

Его ум показался мне чем-то вроде колодца, на дне которого был я. А сверху, издалека-издалека, на меня смотрели два или три лица, склонившихся над краем этого колодца...

Или, вернее, не лица.

Там были птичьи головы — каждая глядела на меня одним глазом, повернувшись в профиль и показывая мне выгнутый клюв.

Видение держалось перед моим мысленным взором очень недолго, две или три секунды, но за это время мой ум успел увидеть Врага — и понять его, проникнув во все хитросплетения его тайн, как вода входит в сеть подземных капилляров. Я знал теперь, как Птицы видят меня и кем считают...

И еще я понял, почему я не заметил человека, упавшего передо мной на дорогу. После того как он был захвачен Птицами и превращен ими в оружие, он как бы заснул и начал видеть сон. Его тело оставалось на последнем этаже дома (он там жил), а сознание исчезло из нашего мира, превратившись в подобие оптического прицела, через который Птицы пытались меня найти. Я просто успел заглянуть в прицел с другой стороны и увидел их. Для этого мне надо было взять умирающего за руку — в точности как советовал древний папирус. Я не уверен, что последовал совету сознательно. Скорее это оказалось совпадением.

Кем были Птицы?

Я попытаюсь объяснить — но здесь передо мной возникает серьезная проблема. Дело в том, что тот способ, которым я увидел и понял их, сильно отличается от прямого и почти без усилий переводимого в слова опыта моих проникновений в человеческие души. Это было больше похоже на скоростную

съемку ночного кошмара, длившуюся в реальном времени лишь секунду или две, но в своем собственном измерении оказавшуюся достаточно протяженной. И вот я понемногу вспоминал и проявлял увиденное, поражаясь его зыбкой страшной логике и точным, иногда жутко смешным соответствиям с известной мне дневной реальностью.

Я уже говорил про Инь-Ян, главный рисунок на гигантском блюде нашего мира. Одна из его половинок была всем живым, бешено рвущимся из земли к небу: сила, которая хотела быть. А вот та сила, которая хотела не быть... В разные мгновения в мире людей (и даже животных) существует очень много слагаемых, действующих вдоль ее вектора. Они, в общем, известны — им обыкновенно посвящены первые минуты в каждом выпуске новостей. Но вот сердцевина этой силы, ее источник, ее главное сгущение — находятся не здесь.

Эту силу я и увидел. Именно от нее мне и следовало скрываться, прячась среди людей, сливаясь с их толпой — потому что я делался ей заметен, оказываясь в одиночестве. Она была могучей, всесильной в своем собственном измерении, но среди людей она различала меня так же неясно и зыбко, как я ее.

Это было как бы альтернативное творение, оживляющее наш нанопузырек — первое порождение Творца, желавшее навсегда прекратить всякую прочую жизнь или хотя бы нанести ей максимальный вред. Птицы жили в ином измерении, и искать их в космосе не имело смысла. У них был свой космос, где действовали другие законы. Но они могли проецировать свою волю в другие миры.

Птицы хотели меня убить, поскольку принимали меня за Бога — или, точнее, за одного из богов (они верили, что творение поддерживается целой армией

создателей). Они не понимали, что я мелкий функционер, маска, за которой прячется сила, неясная мне самому.

За одну секунду я постиг, кем были Птицы, чего они хотели и что происходило с людьми, захваченными удавкой их воли. Самое главное, я увидел, каков их главный и неостановимый в сущности план по окончательному решению «человеческого вопроса».

Но я не буду больше громоздить здесь эти драматические словосочетания. Пока впечатление от встречи было еще свежим, старший инспектор Киклоп О. К. написал свою первую повесть — она называется «Добрые Люди». Там я изложил единственным доступным мне способом то, что я увидел во время своих столкновений с Птицами (о нескольких следующих я не буду рассказывать в этой книге — они тоже не причинили мне вреда).

Просьба не принимать мой рассказ слишком буквально. Как я уже объяснил, природа Птиц такова, что запротоколировать встречу с ними невозможно. Это именно «художественное произведение» — метафора, позволяющая скрыть сновидческие нестыковки и перевести смутные постижения в понятные образы.

Герои рассказа — условности, они не имеют отношения к реальным людям. Я всего лишь хотел показать, что происходило с погруженными в принудительный сон беднягами, которых Птицы превратили в свое оружие. Исключением является герой последней главки: он уже немного нам знаком — и будет оставаться с нами до самых последних страниц.

Я попытался изобразить всю темную метафизику борьбы Птиц с тем, что они принимали за Бога, в максимально простой и даже карикатурной форме. Если

формулировать сложнее, получится теологический трактат. Но это карикатура только отчасти. Анекдотичная на первый взгляд история про кармический компенсатор — чистая правда: именно из таких анекдотов и соткана окружающая нас реальность.

Правильнее всего назвать эту повесть реконструкцией (или, если вам больше нравится, выдумкой) с вкрапленными в нее кусочками правды. Как иногда размещают на глиняном шаре сохранившиеся фрагменты древней вазы, так и здесь мои точные прозрения наклеены на общий (и общеизвестный) сюжет, нужный для того, чтобы удержать их вместе.

Часть 2. Добрые люди

Цель человечества — найти Создателя, победить его, выпытать у него страшную тайну тайн нашего предназначения и затем, может быть, убить его.

Лимонов

Щелкнул замок, раскрылись двери, и в Колесницу Смерти ворвался морозный ветер. Николай обернулся, увидел хмурое серое небо, собравшуюся на морозе толпу, эшафот — и Птиц.

Страшнее всего, конечно, были Птицы. Они, собственно, не особо походили на птиц — это были огромные человекоподобные фигуры в масках с птичьими клювами.

Николай, однако, уже понял, что это не маски, а настоящие птичьи головы. Маску невозможно было оживить с такой достоверностью. Маленькие яростные глаза Птиц плавали в желтых глазницах, за которыми начиналась бахрома мелких перьев. Клювы тоже были настоящими — когда они открывались, становилась видна бледно-розовая плоть, живая и влажная, приросшая к темной острой кости. Если все это и было подделкой, то очень высокого качества.

Птицы казались древними воинами-завоевателями, возвышающимися над низкорослой толпой покоренного народа.

Две Птицы, ждавшие у дверей Колесницы, сверкали трехцветной металлической чешуей — сталью, золотом и бронзой. Они схватили Николая под руки и поволокли к высокому помосту, над которым возвышался Крест Безголовых, похожий на огромную черную «Y».

Толпа, только что галдевшая и улюлюкавшая, стихла — и внимательно глядела на жертву, перемещающуюся по живому коридору. Люди плотно облепили проход с обеих сторон, но страх пересиливал: ни одна нога не заступала за ленту ограждения. Николай откуда-то знал, что толпа состоит из спящих, согнанных сюда Птицами прямо во сне. Он знал, что спит и сам, но не помнил, как начался сон и что было прежде.

У Птиц, стоящих на эшафоте, были другие головы. Их клювы блестели ярко-желтыми гранями, а вокруг глаз чернел ободок, из-за чего казалось, будто они в очках. Одна из птиц держала в когтистых пальцах прозрачные таблицы со слабо светящимися письменами.

Возможно, птицы на эшафоте были выше рангом и выполняли функции офицеров — их вид казался более мирным, и в нем даже присутствовала какая-то расслабленная вольность. На них были длинные халаты из плотного материала, отливавшего голографической глубиной. Эта ткань давала иногда странный и неуместный в пасмурный день отблеск — словно от невидимого солнца. С птичьих затылков свисали короткие косицы, качающиеся на ветру — или что-то очень похожее.

Однако их мирный вид был обманом. Когда Николай дошел примерно до середины своего скорбного пути, толпа справа от него стала напирать, и несколько поддерживающих ленту колышков повалились на землю.

Тотчас одна из стоявших на помосте Птиц взвилась в воздух. Она перемещалась рваными зигзагами, как будто взбираясь по невидимой лестнице. Это выглядело уродливо и страшно, словно она летела обманом, от последствий которого ей тут же приходилось уворачиваться с помощью другого обмана, и так без конца — но в результате она поднималась все выше и выше.

Площадь замерла от страха и тоски.

В этом полете был задействован какой-то беспощадный принцип, непостижимый для человека, но, без сомнений, настолько могущественный, что противостоять ему было нельзя. Это почувствовали все.

Толпа с длинными «ах» отхлынула от прохода.

Трудно сказать, где именно летела Птица и как долго — промерцав в разных секторах неба, иногда весьма далеких друг от друга, она опустилась на эшафот, и только после этого время вернулось в свою колею. Николай подумал, что, сделай она над площадью еще один круг, все зрители умерли бы прямо во сне.

Но его уже вели вверх по ступеням.

Когда Николай вступил на эшафот, старшие Птицы повернули к нему клювы очень человеческим движением, и в первый момент ему показалось, будто это переодетые актеры вроде тех, что раздают рекламные листовки возле торговых центров, наряжаясь веселыми зверюшками, чтобы отключить у прохожих критическое восприятие действительности вместе с защищающими от людской подлости инстинктами.

Но потом одна из Птиц вдруг отклонилась назад и поехала к нему по поверхности эшафота как по ледяной горке — словно изменив наклон земной тверди под ногами. Или даже не наклон, а само направление силы тяжести.

Это было страшно — и сразу уничтожило всякое сходство с человеком. Николаю захотелось упасть на колени, и он удержался только потому, что не знал, понравится это Птицам или нет.

Птица указала на подзорную трубу, установленную на краю эшафота. Николай обратил на нее внимание, когда взошел на помост — труба была немного похожа на коммерческий телескоп на мощной подставке, в который можно несколько минут смотреть на окрестности, бросив в щель монету. Телескоп не был созданием человеческих рук — но Николай понял, что Птицы сделали его именно для людей.

Видимо, в трубу следовало поглядеть.

Николай приблизил глаз к окуляру. Перед ним мелькнуло красное пятно с отчетливейшими инфузориями пылинок. Николаю показалось, что трубу куда-то уводит. Он взялся за нее обеими руками и почувствовал, как она балансирует вокруг трудноуловимой точки равновесия. Когда удалось наконец поймать ее, раздался тонкий писк. Картинка в окуляре стала отчетливой и застыла.

Николай увидел пустыню с торчащими из земли красноватыми скалами. В самом центре его поля зрения оказалось возвышение из камня, где было устроено что-то вроде помоста с пюпитром, похожим на рабочее место дирижера. Только на пюпитре лежали не ноты, а стопка прозрачных листов со светящимися знаками — Николай уже видел похожие таблицы у одной из Птиц.

Перед пюпитром стояла невысокая округлая фигура — какой-то толстячок, закутанный в мантию из странно поблескивающей ткани, точь-в-точь как на Птицах. На его голове была сделанная из того же материала круглая шляпа с длинными полями, лежащими на покатые плечи.

Толстяк был почти незаметен среди окружающих камней — его мантия и шапка повторяли их цвет. Он напоминал попику перед аналогом — и занимался похожим промыслом: начитывал по своим светящимся листам не то молитву, не то проповедь, звуки которой ворвались в сознание Николая в тот самый момент, когда он различил чтеца среди каменных выступов. У толстяка был характерный, чтобы не сказать смешной, голос — хрюкающий шепот, иногда срывающийся в тихий взволнованный визг.

Николай понял, что видит свою цель.

Когтистая лапа одной из Птиц оторвала Николая от телескопа. Тут же на него накинули подобие халата (или каких-то риз) из того же странного мерцающего материала, что и на Птицах. Ткань походила на переливающуюся и меняющую цвет парчу — коснувшись Николая, она пожелтела и покрылась маленькими черными треугольниками. Николай хотел поправить свисающие с плеч широкие ленты, чтобы они легли удобнее — но ткань вдруг пришла в движение.

Это было жутко. Николаю показалось, будто его душит огромный питон. Сопротивляться не имело смысла, и он сразу же сдался. Однако ничего страшного не произошло. Полосы ткани обвили его ноги, обтянули грудь и спину и заставили его принять неудобную позу: присесть на корточки и плотно прижать грудь к коленям, откинув голову далеко назад. Получилось что-то вроде позы зародыша, наблюдающего за визитом папы. Но эта мысль не развеселила Николая ни капли.

Теперь прямо на линии его взгляда была развилка Креста Безголовых, разрезавшая небо натрое огромной черной «Y». Николай почувствовал, как вибрирует его тело, и понял, что между концами креста и спеленавшей его желтой тканью возникло какое-то напряжение. По кресту прошла волна гудящей дрожи — а потом неодолимая сила подхватила Николая и яростным махом швырнула в просвет между рогами. Раздался электрический треск, и он потерял сознание от перегрузки.

Когда шок прошел, небо было уже не вверху, а вокруг — из серого оно стало темно-красным.

Внизу простиралась бесконечная красная пустыня, увиденная Николаем в телескоп. Было ясно — она состарилась так давно, что для ее древности даже нет подходящего слова. Над пустыней, поднимая красные шлейфы, дул ветер, тоже

усталый и старый. Из пыльной мглы кое-где торчали выступы, похожие на стволы окаменевших деревьев — или на сточенные ветром колонны исчезнувших храмов.

Николай заметил в пустыне какой-то круг с темной точкой в центре. Круг был очень далеко — но, когда Николай обратил на него внимание, словно бы сработала система наведения, соединенная с его сознанием. Круг начал расти и скоро превратился в развалины круглой колоннады, от которой остались только оплывшие красные пеньки колонн.

Все это непонятным образом было видно в мельчайших деталях — словно в глаз Николаю вживили ту самую подзорную трубу, через которую он смотрел с помоста в небо. Одновременно он опять услышал тихое бормотание и различил того же самого толстяка перед пюпитром. Толстяк обернулся, поглядел вверх — и Николай увидел его лицо.

Это было не лицо, а зеленое свиное рыло.

Сквозь сознание Николая прошла волна посланных Птицами смыслов, и он понял, кто перед ним. Древний Вепрь. Так Птицы называли и изображали в человеческих умах Творца.

Самым поразительным было то, каким образом понимание ворвалось в мозг Николая: система наведения, через которую Птицы управляли его полетом, могла транслировать не только изображения, но и смыслы, обходя речевой интерфейс.

Николай сразу догадался, что перед ним не настоящий Творец, а муляж. Создатель космоса, конечно, не был таким. У него не было рыла, поскольку ему не нужно было разрывать землю, чтобы поедать корневища. И мир, где он пребывал, тоже не имел ничего общего с красной пустыней. Все это было мультфильмом,

позволяющим перевести непостижимое в доступные человеку образы — и позволить Николаю захватить цель.

Николай подумал, что близкую природу имели и человеческие иконы — они тоже были переложением абстрактного и бесплотного на язык смыслов, понятных телесному уму... Но люди воображали Творца похожим на себя. А Птицы увидели его как нечто полностью противоположное себе и даже людям: они придали Создателю облик зеленой усатой свиньи с широким мокрым пяточком вместо носа.

Николай понял, что, с точки зрения Птиц, Древний Вепрь — это не благой и всевидящий дух, вольготно раскинувшийся на облаке всемогущества. Скорее, Творец напоминал им циркового эксцентрика, разъезжающего по канату на одноколесном велосипеде, жонглируя набором тарелок. С того момента, как он въехал на канат и бросил первую тарелку вверх, свободы выбора у него уже не оставалось. Вернее, выбор был лишь один: с грохотом обрушиться в тартарары вместе со всем хозяйством — или сохранять равновесие и дальше.

В космосе не было более несчастного и загруженного существа. Творец не мог никому помочь, даже себе: он был прикован к своему творению, как штрафбатовский смертник к кипящему от непрерывной стрельбы «максиму».

То, как боевая графика Птиц отражала реальность, открывало многое — не столько про Творца, сколько про них самих. Они ненавидят Творца, понял Николай. Ненавидят, потому что тот был их причиной. И мечтают они об одном: не иметь больше никакой причины и стать самим как боги — чтобы Творение кончилось. И для этого они планомерно уничтожают одно измерение за другим...

Птичья оптика позволяла Николаю все время видеть Древнего Вепря перед

собой.

У Птиц, надо признать, было мрачное чувство юмора. Над рылом Творца блестели черные бусины встревоженных глаз. В его густых пшеничных усах чудилось нечто сталинское. Рот Творца быстро шевелился. Николай понял, что Творец безостановочно повторяет заклинания, обновляющие мир. Начитывая свою каббалу, он ремонтировал постоянно распадающуюся вселенную. Николай не понимал значения отдельных слов, но каким-то образом воспринимал общий смысл речетатива — и тот был устрашающ.

Хрюкающий шепот Вепря создавал пространство, время и материю. Он создавал законы связи между парящими в пустоте телами — от мельчайших до огромнейших. И еще — микрокосмос внутри физических тел, подобный космосу внешнему. Эти законы, однако, не были вечными: они действовали некоторое время после произнесения Слогов Могущества, но постепенно их вибрации затухали, сила сходила на нет, и заклинания надо было повторять.

Глаза Николая встретились с глазами Древнего Вепря. Николай понял, что Вепрь знает про план Птиц, но ничего не может — или не хочет — поделаться. Вепрь был обречен. Но он по-прежнему выполнял свою работу.

Все эти смыслы располагались как бы на периферии пришедшего от Птиц информационного сгустка. Птицы не собирались объяснять тонкости своей метафизики — знание, доводимое ими до Николая, было строго функциональным. У него было единственное назначение: показать уязвимость цели.

Николай понял, что начитываемые Вепрем заклинания возводят вокруг него стену, сквозь которую не может пробиться не то что чья-то атака, но даже луч

чужого внимания. Древний Вепрь был невидим и неосягаем для Птиц. Несмотря на свое могущество, они не могли оказаться там, где находился Николай — это пространство было для них запретным. Все, что они умели — это уничтожать мир за миром, проникая туда через их обитателей.

Приблизиться к Творцу способно было лишь одно оружие во Вселенной — он сам, Николай... Он мог, подобно узкому стилету, проходящему сквозь щель в доспехе, дотянуться до сердца мира... И заглянуть Вепрю в глаза перед ударом... Как инструмент атаки он был совершенен.

Выбирая момент для последнего рывка, Птицы удерживали Николая высоко в красном небе. Он парил над равниной, не отводя глаз от цели, и вбирал в себя все новые и новые открывающиеся ему смыслы. А потом он понял, что с ним говорят не только Птицы — но и сам Древний Вепрь.

Вернее, не говорит. Показывает.

Его зеленый лик, остававшийся величественным даже в надетой на него Птицами издевательской маске, был покрыт множеством шрамов. Это были следы покушений, которыми с начала творения развлекали себя его дети — созданные им сущности. Ни одно из этих покушений не достигло цели. Но каждое причинило Вепрю боль. Николай поглядел в карикатурно намалеванные глаза Творца, и по его груди прошла щемящая волна сострадания.

Вепрь был добрым, бесконечно добрым, и полным любви к каждой парящей в пространстве былинке. Он создал мир, чтобы любить его — чтобы все твари в мире любили друг друга и своего Творца и жили одной большой дружной семьей. Но мир был несовершенным. Не потому, что Древний Вепрь был зол или глуп, а потому, что

иначе мир просто не смог бы существовать. Совершенство нельзя было совместить с бытием. Николай попытался понять почему — и в глазах Вепря промерцал ответ.

Это было так просто.

Мир существовал во времени. Время подразумевало изменения. А изменения подразумевали «лучше» и «хуже». Так появлялось хорошее и плохое, и чем сложнее становился мир, тем труднее было предсказать их чередование. Но никто не хотел этого понимать. И все созданные Вепрем твари — от высших ангелов до простых зверей — мстили ему за это несовершенство, не понимая, что без несовершенства не было бы их самих.

Даже в несовершенном мире можно было бы жить почти счастливо, соблюдая несколько простых правил, которым Вепрь подчинил мироздание. Но следовать правилам живые существа должны были сами. Вепрь не мог сделать этого за них.

В глазах Древнего Вепря застыла бесконечная любовь — и бесконечная печаль. Николаю показалось, что тот похож на старого доброго сапожника, наплодившего много неблагодарных детей, которые ежедневно попрекают его своей бедностью и неустройством — а сапожник только втягивает голову в плечи, стирает попадающие в него плевочки и старается работать шибче, зная, что дети никогда не поймут, какой крест несет их отец, ибо они и есть этот крест...

Крест Безголовых, усмехнулся Николай.

Теперь смысл происходящего сделался ясен окончательно.

Птицы были самым совершенным созданием Вепря. В них он попытался приблизиться к абсолютному идеалу — насколько это возможно. Он попытался сделать свое творение лучше себя самого. И Птицы, ощутив свое совершенство,

поняли несовершенство Творца. Они устыдились его и решили убить, чтобы у них больше не осталось никакой причины. Они захотели уничтожить все созданное им, кроме себя.

Древний Вепрь, с ужасом понял Николай, не особо даже возражал — он устал и впитал в себя слишком много неблагодарной злобы. Его печалило только то, что Птицам и другим тварям тоже придется исчезнуть. Птицы не понимали главного — они тоже были Вепрем. Убив Создателя, они убили бы и себя. Или, может быть, это понимали некоторые из Птиц, самые высшие, но они считали окончательным совершенством именно небытие.

Вепря вели на алтарь. А Николай был жертвенным кинжалом — и Вепрь теперь косил на него мудрым старым глазом, хорошо зная, зачем к нему приближается этот перепуганный визитер.

Паря в небе, Николай постепенно замечал следы прежних ударов по чертогу Творца — зазубрины, оставленные на таинственной субстанции пространства-времени. Он не знал, чем все это было на самом деле: его сознание расшифровывало увиденное в привычных человеку образах.

Он был не первым живым снарядом, посланным Птицами в Вепря. Вокруг того, что представлялось Николаю развалинами круглой колоннады, валялось множество присыпанных красной пылью трупов — раньше он принимал их за выступы почвы.

Это была inferнальная свалка уродцев, гарпий и химер. Перепонки, крылья, когтистые хвосты, многозубые челюсти, иглы, жала... Словно бы чья-то злая воля пробовала форму за формой, подбирая отмычку к последним вратам, скрещивая ангелов со свиньями... Самым жутким, конечно, были мелкие детали — крашенные

завитки шерсти, сережки в раздваивающихся ушах, драгоценные кольца, продетые сквозь веки и губы... Одежда и украшения на некоторых уродцах предполагали, что Птицы погубили целые цивилизации и культуры, чтобы испытать новое острие для своего копья — а эти живые наконечники, должно быть, размышляли при свете древних звезд, какая сила и с какой целью вызвала их к бытию...

Но самым современным оружием был Николай — и миллионы таких, как он, уже шагнувшие в пучину революций и мировых войн... Николаю вспомнились строки его великого тезки Гумилева:

Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть...

«А в чем, собственно, великая мысль? — подумал он. — Наверно, как и все великие мысли, в себе самой. В том, что я, как носитель великой мысли, не могу умереть. И пока я ее думаю, все о'кей. А если на пять минут перестану? Тогда, выходит, уже могу умереть? Как-то безрадостно... Однако хорошо сказано — носитель. Птицы используют человека, чтобы добросить что-то очень жуткое до этой зеленой свиньи. А что будет с нами потом, им просто неважно...»

Николай понял это так ясно, что сомнений не осталось. Он мог точно навестись на Творца, найдя и увидя его у себя внутри. Длиннейшая эволюция, венцом которой он был, с точки зрения Птиц, имела один-единственный смысл:

изготовить зеркало, способное надежно отразить и удержать в себе образ Создателя. Все человеческие религии со времен первых версий единобожия были долгой и кропотливой настройкой этого локатора, способного найти Древнего Вепря в прячущей его пустоте... И теперь это совершенное оружие наконец было брошено в бой.

В незримой стене, окружавшей Вепря, появилась прореха, достаточная для атаки. Окно возможности было очень узким, но оно существовало. И тотчас в пространстве рядом с Николаем возникла одна из Птиц.

Ее было видно только по пояс: она свесилась из пустоты, как из скрытой бархатным занавесом театральной ложи. В нее тотчас ударили со всех сторон лучи ярчайшего света, и ее мерцающие голографические покровы стали сворачиваться от нестерпимого жара. Почернел и задымился клюв, белой яичницей запеклись в небесном огне глаза, и Николаю померещилось, что он чувствует запах горелых перьев. Но Птица успела коснуться его спины коротким красно-золотым жезлом — и исчезла.

Касание жезла было совсем легким, однако оно с невероятной силой швырнуло Николая к цели сквозь пространство, ставшее вдруг многослойным и плотным. Спеленавшая его ткань пришла в движение, придав телу новую позу — его туловище выпрямилось в одну линию с бедрами, а ноги еще сильнее согнулись в коленях. Николаю показалось, что он превратился в стальной гарпун.

Но долететь до Древнего Вепря было не так-то просто. Николай несся к красной колоннаде с невозможной скоростью, но, хоть Вепрь был отчетливо виден, он не делался ближе — словно Николаю снился один из тех снов, где самый

яростный бег не помогает сдвинуться с места.

Николай понял, в чем дело. Птицы опоздали. Окно возможности закрылось: Вепрь уже привел мир в равновесие. Теперь он мог защитить себя. Нахмутив карикатурные пшеничные брови, он начитывал заклинание, которое должно было отбросить Николая прочь.

Но за спиной Николая (он не видел этого, но ясно ощутил) раздался многоголосый хор Птиц, произносящих те же самые заклятья: Птицы изо всех сил направляли живой снаряд в Древнего Вепря — волей самого Вепря. Ибо тот так любил Птиц, что наделил их почти всеми силами, какими обладал сам.

Это была равная схватка.

Нет, почти равная. В ней побеждали Птицы, потому что они не любили Вепря. А Вепрь любил Птиц, и в этом была его слабость.

Две могучие воли, каждая из которых могла, даже не заметив, распылить Николая на атомы, соприкоснулись и нейтрализовали друг друга — но их крошечной равнодействующей оказалось достаточно, чтобы подтолкнуть живой снаряд к цели.

Николай пытался как-то остановить свое падение. Но его усилия ничего не значили на этих космических весах. Колоннада стала приближаться. А потом он понял, что Птицы промахнулись. Совсем чуть-чуть.

Вепрь шагнул назад и тут же исчез, а его пустые одежды упали на каменное возвышение в центре колоннады. Пюпитр со светящимися каббалистическими листами повалился в пыль. А Николай врезался в землю.

Боль была страшной. Николай беззвучно закричал — и ушел в этот крик весь, сделавшись просто собственным затихающим эхом, меркнувшим огоньком сознания.

Он догадался, что оружием Птиц была именно эта мука, пережить которую они заставляли не только его самого, но и Создателя. Тот не мог помочь Николаю, не нарушив собственных законов. Он мог лишь исчезнуть, уйти из ополчившегося против него мироздания — что он и сделал.

Николай понял, что произошло между расой Птиц и Вепрем, когда Птицы в первый раз покусились на Творца. Это было похоже на старейший из всех мифов вселенной.

Самого покушения Николай не увидел. Он лишь почувствовал холодное ликование Птиц, уверенных в своем успехе. Но оно длилось недолго. Птицы увидели, что Творец жив, и поняли свой просчет. Они надеялись одолеть его, поскольку он сам оставил им такую возможность — но это был просто соблазн, жестокое испытание, которому он решил подвергнуть их души.

Птицы его не прошли.

Угасающим разумом Николай увидел странный, холодный и полудикий быт Птиц — они жили в неприветливом мире, среди высоких скал, висящих над темным ледяным морем, в древних расщелинах, чуть измененных вкраплениями непостижимых технологий. Их яйца — расписанные тонким узором желтоватые сферы — покоились в огромных сияющих гнездах. Оберегать их было самым важным для Птиц делом: этими семенами они собирались засеять Вселенную, свергнув Вепря.

И Вепрь забрал у них семена.

Он внезапно появился из своего тайного убежища — и возник в ослепительной короне своей славы сразу во множестве мест. Птицы не успели еще ничего понять, а

Древний Вепрь уже оставил их гордую расу без будущего. Словно царственный зеленый зверь в золотом обруче на голове, он пронесся одновременно мимо тысяч гнезд, и они опустели навсегда.

Николай ощутил гнев Птиц и постигшую их скорбь. Но он знал, что Птицы не сдались. Они лишь ожесточились — и поклялись вечно мстить, уничтожая все доступные им миры.

Николай чувствовал, что Птицы не отпускают его в смерть. Им нужна была его память. Одна из Птиц достала его из небытия — и он понял, что новая атака будет другой.

Теперь Птицам нужна была женщина. Они уже нашли ее, и Николай, словно покорная глина, сжатая в когтистой лапе, сделался просто частью ее сознания.

Перед этой женщиной открылась дверь Колесницы. Она шагнула навстречу сумрачной площади, гудящей толпе — и высящемся над ней эшафоту.

ДАША

Птицы вели себя с Дашей деликатно и даже виновато. Ей казалось, будто они отводят глаза — хотя она понимала, что это ничего не меняет, поскольку они ясно видят все в 360-градусной зоне.

В огромной толпе вокруг помоста почти не слышно было криков ненависти. Доносилось только невнятное гудение, похожее на ропот моря или подземный гул. Даша с обычной женской заносчивостью подумала, что собравшиеся на площади тронуты ее юностью и чистотой. И тут же поняла: Птицы услышали ее мысль.

На эшафоте их было две — в переливающихся халатах, с длинными косицами за спиной (Даша откуда-то знала, что так выглядят Птицы старшего ранга). Птицы замерли, словно их обесточило — но тут же пришли в себя и продолжили свое дело.

Они были заняты настройкой Креста Безголовых. Сверяясь со светящимися таблицами, загоравшимися время от времени до ослепительной яркости, они поворачивали медные кольца с письменами на его опорном столбе. Письмена эти казались Даше похожими на следы птичьих лап.

Из-за креста вдруг вышла третья Птица, которой прежде не было на помосте. Она не могла раньше прятаться за крестом из-за его недостаточной ширины — и тем не менее ее появление выглядело именно так.

Она носила поблескивающий комбинезон из той же странной голографической ткани, что и на остальных Птицах. Ткань казалась серой, но кое-где дрожала и переливалась красным — словно на Птице был невидимый плащ, который окрашивал ее в тех местах, где соприкасался с комбинезоном. На груди Птицы был знак, похожий на звезду с косыми лучами, а голову увенчивал короткий красный плюмаж. Она выглядела величественно, но ее портил страшный ожог: клюв и перья будто обуглились от невыразимо яркого света, а один глаз запекся в мутную белую глазунью.

Одноглазая Птица держала блестящий металлический диск. Она повернула его к Даше — но Даша не успела увидеть свое отражение. Диск в когтях Птицы свернулся, превратившись в металлический цветок. Птица шагнула к Даше, прикрепила этот цветок к ее груди (он зацепился сам — как ящерица когтистыми лапками), а потом исчезла за Крестом Безголовых так же просто, как появилась,

словно его столб был углом дома.

Даша решила, что металлический цветок — какая-то антенна. Манипуляции с вращающимися кольцами, совершаемые Птицами у Креста Безголовых, стали отдаваться в ее животе, в самых интимных и сокровенных глубинах. Каждый поворот кольца менял что-то у нее внутри — и, хоть Даша не знала, что именно происходит, живот понимал доходящие до него инструкции без слов. Даше не было страшно. Возможно, древний животный ум, к которому обращались Птицы, еще не умел бояться.

Птицы завершали настройку. Даша догадывалась, что ничего хорошего эта операция не сулит. Ей захотелось, чтобы все завершилось как можно быстрее. И — странное дело — тут же ей стало казаться, будто время действительно ускорилося.

Ее подвели к подзорной трубе, и она увидела в окуляре красные пески и стоящую среди них круглую колоннаду. В центре круга зияла черная дыра в земле, а рядом лежал человек. Вернее, остатки человека — он был расплюсчен страшным ударом. Лицо его с закрытыми глазами, однако, осталось целым и спокойным, словно перед смертью он понял нечто, сделавшее физическое страдание несущественным...

Даша знала это лицо. Она видела его много раз... Но где?

Она вспомнила — в зеркале! Она была этим человеком сама, она чуть не поразила Древнего Вепря, а тот... Исчез? Растворился в воздухе?

Но откуда здесь дыра? Раньше ее не было.

Подзорная труба будто слышала вопрос. Дыра в земле оказалась в центре поля зрения — и Даша каким-то образом заглянула в провал.

Перед ней был тоннель, выжженный лучом невероятной силы. Тоннель выглядел идеально круглым и бесконечно длинным — внимание погружалось в него все глубже и глубже, но он не менялся. А потом Даша увидела тень, мелькнувшую впереди. Зеленое пятнышко с золотой искрой.

Это мог быть только Древний Вепрь.

Даша вспомнила пережитое во время прошлого полета Николаем — и догадалась, что навигационная система Птиц показывает ей вход в пространство, где скрылся Вепрь после неудачной атаки.

Следующим живым снарядом была она.

Странно, но ее не покинуло веселое юное бесстрашие. Она понимала, что специально выбрана Птицами для этого полета и судьбу уже не изменить. Другой цели в ее жизни не было. Так стоило ли бояться своего предназначения? Это как если бы гвоздь боялся молотка...

Даша отпустила трубу.

На нее надели тускло переливающуюся упряжь, потянувшую ее к земле — и ей пришлось сжаться в позе зародыша, как в прошлый раз. Когда она подняла лицо, перед ней было небо в развилке Креста Безголовых.

Придя в себя после рывка, она увидела вокруг то же красноватое лимбо, по которому недавно кружил Николай.

Она решила, что ей предстоит стать чем-то вроде мортирного ядра — и, вертикально взлетев ввысь, по крутой параболе обрушиться в черный колодец, где спрятался Древний Вепрь.

Однако Птицы, похоже, не собирались превращать ее в живую минометную

мину. Они замыслили что-то другое: полет Даши был неспешным и пологим. Она медленно взбиралась в небо, чувствуя себя воздушным змеем.

Было ясно, что Птицы не просто так раскрыли Николаю, а потом и ей грозные тайны Космоса. Живое оружие обретало силу, только осознав свое предназначение — и Даша уже поняла почему. Иначе запускаемый Птицами снаряд потерял бы свое главное свойство — одушевленность. Он превратился бы в брошенную в Творца глину. Ничего не соображающий кусок мяса совершенно точно не долетел бы до трансцендентного чертога, где пребывал Древний Вепрь. А вот живая душа, понимающая свою задачу — могла до него добраться...

Даша заметила, что развалины круглой колоннады уже недалеко — и скоро она пролетит над черной дырой в ее центре. Что-то должно было произойти. Что-то назревало...

Вдруг ее живот пронзила острая боль, и ей показалось, будто она видит когтистые лапы Птиц, поворачивающие кольца со светящимися знаками на Кресте Безголовых. Птицы заново устанавливали с ней связь. А потом произошло неожиданное.

Безошибочным женским инстинктом она ощутила, что в ее животе завязался узелок новой жизни. Это было волнующе — все биологические механизмы ее существа разом пришли в движение — и жутко, потому что Даша понимала: целью этого таинства была не жизнь, а смерть.

В самом ее центре росло нечто новое, округлое и тяжелое. Оно увеличивалось очень быстро, словно его накачивали холодной ртутью через шланг. Самым жутким был именно холод. Росшее в ней яйцо казалось бомбой, которую отливали Птицы,

заполняя ее жидким металлом.

Даша вспомнила, что увидел Николай в последние мгновения жизни — Древнего Вепря в короне силы и славы, прячущегося в неприступном тайном пространстве... На самом деле, поняла она, это измерение было недоступным лишь для Николая, но не для нее: существовал закон воздаяния, настолько универсальный, что ему подчинялся даже сам Древний Вепрь — по собственному выбору и воле.

Да, Вепрь скрылся в измерении, непроницаемом для живого оружия Птиц. Но из-за того, что он похитил их яйца, Птицы могли каким-то непостижимым образом послать ему вслед еще одно яйцо — атакуя как бы вдоль оставленного им кармического следа... Именно поэтому Даша сумела увидеть тайный чертог Вепря, представившийся ей оплавленным черным тоннелем в толще земли. В ней уже был крохотный зародыш яйца, сделавший это возможным...

Даша поняла, что не сможет вместить тайну во всей ее полноте. Но главное было ясно, и дальнейшая последовательность событий сделалась очевидной и простой.

Инородное тело в ней раздувалось все быстрее. Снаряд походил на огромный металлический зародыш, растянувший ее живот, словно она была на девятом месяце. Оружие Птиц обладало немыслимой разрушительной силой — Бомба Большого Взрыва могла переформатировать целую Вселенную, прогнав ее через игольное ушко сингулярности. Смертельное яйцо вызрело в ней неестественно быстро, нарушая все законы биологии и физики — но было ясно, что Птицы не считают себя связанными этими формальностями.

Даша подлетала к цели. Следовало действовать, но она не знала, как выпустить

из себя смертельную тяжесть, направив ее вниз. Сведенные полетной судорогой мышцы были на это не способны. Но, когда она уже решила, что так и пролетит мимо цели, не выполнив своего предназначения, стальной цветок на ее груди вдруг ожил. Как застежка молнии, он скользнул вниз и мгновенно распорол ее тело от солнечного сплетения до самого копчика.

— Пуа! — произвольно крикнула Даша.

Острая боль в распоротом животе слилась с моральным торжеством в одно пронзительное чувство, которое из всех земных творцов смог адекватно выразить лишь японский писатель Мисима. Даша успела увидеть окровавленный металлический овоид, когда тот выходил из ее тела. Тот действительно выглядел как тусклое яйцо, на котором светились загадочными письменами несколько подвижных медных колец. На них, как догадалась Даша, были те же знаки, что и на Кресте Безголовых.

Яйцо прощально качнулось и уменьшающимся мячиком пошло вниз. Даша стала пустой и легкой — и полетела прямо в зенит. Она поняла, что так и забудется навсегда в восходящем полете, и это устраивало ее вполне...

Но тут произошло жуткое.

Дашу рывком дернуло вниз — металлическое яйцо, поднырнув снизу, вернулось в ее тело, а стальной цветок мгновенно зашил ее без всякого шва. Ее длинно и криво проволокло по небу назад, и она упала на эшафот, снова увидев перед собой Крест Безголовых.

Даша поняла, в чем дело. Она неправильно разделилась с яйцом, и теперь Птицы отсчитывали время назад. Полет должен был повториться...

Ничего ужаснее этого рывка сквозь время она не испытывала никогда. Боль при реверсивном беге секунд была той же самой болью — но вот пережить свои эмоции в обратной перемотке оказалось гораздо труднее. Существование при этом представлялось чем-то настолько страшным, что хотелось одного — скорее перестать быть. Но самым чудовищным и беспросветным было видение, настигшее, когда ей пришлось передумывать все мысли в обратном порядке (она даже не знала, что такое возможно). При обратном ходе времени она увидела будущее.

Птицы только начинали свою работу на Земле.

В ее судьбе не было ничего особенного — в будущем каждая человеческая жизнь станет таким выстрелом в Творца, поняла она. Придет день, когда Птицы перенесут реальность в свои квантовые вычислители: они будут взламывать последнюю небесную дверь, перебирая варианты шифра, а варианты шифра станут принимать это за свое существование — и будут верить, что вокруг лица, смех, цветы и деревья, закаты и рассветы, галактики и туманности. И хоть по-прежнему будет казаться, будто людей бесконечно много, а их судьбы сильно различаются, на деле все сведется к работе титанической программы, подбирающей живой код к божественному замку. И каждая версия кода станет думать, что она расцветает в лучах глядящего на нее солнца... Правда, солнц там почему-то будет целых три... Три фальшивых солнца. И это главное, самое страшное и окончательное оружие Птиц. Люди будут видеть и любить три солнца — но в реальности над ними останутся лишь закованные в свою голографическую броню Птицы и холодные лучи их глаз...

Таким выглядело одно из будущих — то, к которому направляли мир Птицы

(разных версий грядущего оказалось очень много, но как такое возможно, Даша не успела понять — перемотка времени кончилась). Эти постижения промелькнули в ее сознании слишком быстро, а боль была чересчур сильной, и, когда Крест Безголовых вновь швырнул ее в красное небо, она забыла обо всем только что понятом. Она теперь знала одно — нового промаха быть не должно.

Было уже ясно, в чем ее ошибка. Когда в прошлый раз она разделилась на бомбу-яйцо и тело, сознание осталось с телом — а ему следовало переместиться в яйцо.

Черная дыра в земле приближалась, и Дашин живот за несколько секунд набух опять. Она закусил губу от испуга. Она все еще не понимала, каким образом перенести сознание в яйцо — и Птицы, кажется, не собирались ей помогать. Она не боялась небытия, но новой перемотки времени не должно было случиться. Что угодно, но не это...

Потом она вдруг успокоилась — так же внезапно, как перед этим разволновалась. Ей вспомнился старый фильм про атомную войну. Она совершенно не помнила, где и когда она его видела (возможно, там же, где читала Мисиму, о котором подумала во время первого запуска). В ее памяти мелькнул лишь один смазанный фрагмент: летчик в ковбойской шляпе спускается из кабины во внутренний отсек бомбардировщика, проходит по узкому коридору и оказывается в маленькой комнатке, где висят две сигарообразные бомбы.

Этот же отрывок мелькнул в ее памяти еще раз, уже отчетливей — и Даша догадалась, что с ней говорят Птицы. Они объясняли задачу, пользуясь сравнениями и уподоблениями, понятными слабому человеческому уму.

Она попыталась последовать их совету самым простым образом — представила себе, что ее тело стало самолетом. Голова была кабиной пилота, а она сама сделалась маленьким человечком в этой кабине. Потом человечек вылез из мозга, весело прошагал по каким-то горловым трубкам, попетлял немного среди красно-синих содрогающихся внутренностей и бодро слез в темную капсулу яйца. Такой был хороший и послушный маленький веселый человечек, жить бы ему и жить...

Даша сразу стала другой — округлой и тяжелой. Она поняла, что больше не видит человеческими глазами. Теперь она воспринимала мир новым способом. Она ощущала приближающуюся дыру в земле и скрытое в ней присутствие.

Еще маневр, и дыра в земле оказалась прямо впереди. Даша испугалась, что пропустит нужный момент — и тут до нее долетело приглушенное «Пуя!».

Она ощутила невесомость и поняла, что летит.

Она не представляла направления своего полета. У нее не осталось никаких ориентиров вообще — она больше не чувствовала своей скорости и не знала, на какой она высоте.

Но Птицы пришли ей на помощь еще раз. Они повернули несколько иероглифических колец на Кресте Безголовых, и Даше вдруг привиделась большая зеленая свинья с мешком украденных яиц. Когда эта карикатура исчезла, она ощутила впереди и внизу оплавленную шахту — и почувствовала свою собственную траекторию, безошибочно ведущую к черному провалу в земле.

В этот раз ошибки быть не могло.

«Все дело в яйцах, — подумала она. — Птицы могут найти Вепря, потому что с ними поступили плохо и они имеют право на симметричную месть. Древний Вепрь

не может ничего с этим поделать — так он создал мир... Но непонятно другое... Почему Птицы могут безнаказанно мучить нас, людей? Если они используют нас для того, чтобы швыряться нами в стены небесной крепости, у нас ведь тоже есть право на месть? Значит, должен быть какой-то космический компенсационный механизм, который позволит и нам убивать их, причиняя такую же боль... Он должен быть! Мы еще отомстим! И за Гумилева, и за всех-всех! Мы увидим их страдание, услышим их предсмертные стоны, и они ничего, ничего не смогут сделать. Они будут бессильны, как бессилён сейчас Древний Вепрь...»

А в следующий миг яйцо, которым стала Даша, влетело в дыру в земле и понеслось по тоннелю. Оно падало все глубже и глубже, к самому центру мироздания, ускоряясь с каждой секундой. Древний Вепрь теперь был везде — он бесплотно окружал несущийся в пустоте поток металла, которым сделалась Даша. А потом она ощутила, как кольца со светящимися знаками, ставшие ее собственными боками, пришли в движение, и знаки на них сложились в последний, окончательный и ослепительный шифр.

Но за миг до того, как все исчезло во вспышке невозможной силы, Даша успела понять, что Древний Вепрь и в этот раз оказался хитрее и сильнее Птиц. Уничтожение скрытой Вселенной, с которой они только что расправились, ничего для него не значило.

Это не он создал бесконечный черный тоннель, чтобы скрыться там от Птиц. Птицы сами нарисовали эти условности в своих боевых прицелах, чтобы хоть как-то увидеть Вепря. Даже после того, как все декорации превратились в поток элементарных частиц, Вепрь по-прежнему был жив.

И Даша уже знала, где он пребывает.

Он ушел в самое недостижимое из измерений — в платоновский космос, пространство чистых идей. Вернее, он не отступал в этот космос, он просто остался в нем той своей частью, которая никогда оттуда не уходила. А все прочие его аспекты, нарисованные безжалостной волей Птиц, были миражом. В него можно кидаться какими угодно бомбами...

Но Птицы не собирались отступать.

Их мудрые и страшные инженеры смерти, полусожженные небесным огнем, предвидели такой поворот событий. Созданное ими оружие было универсальным — оно могло настичь Творца даже в пространстве Платона. Просто его человеческому острию следовало стать другим, совсем другим...

Красная пелена перед глазами постепенно рассеивалась. Рудольф Сергеевич вновь начал видеть свою комнату: книжные шкафы со строгими рядами черно-золотых философских томов, письменный стол с бюстами Шопенгауэра и Канта и массивный старомодный компьютер с недописанной страницей на мерцающем экране.

Припадок прошел.

Рудольф Сергеевич помнил только страшной силы рывок, чуть не сбросивший его со стула. И еще у него были какие-то жутковатые галлюцинации. Египетские боги? Нет... Похожие на них Птицы. Много Птиц. И они что-то от него хотели. Совершенно точно.

«Надо бы к врачу, — подумал Рудольф Сергеевич озабоченно. — Вот так повалюсь однажды на пол, и все...»

Он опустил взгляд на стол. Легче всего было успокоиться, продолжив работу над Прологоменами к Критике Пространства и Времени. Этот труд должен был золотыми буквами вписать его имя в историю мировой философии, поэтому Рудольф Сергеевич шлифовал в нем каждое слово.

Подняв глаза на экран, он перечитал написанное перед припадком.

«Тайна нашего предназначения, возможно, такова — мы нужны нашему Творцу и Создателю, чтобы он мог БЫТЬ, потому что он существует только относительно нас, своих созданий. Как луч фонаря

становится виден лишь тогда, когда попадает на освещаемый предмет, так же и мое сознание, то есть я сам, возникает только вместе с осознаваемыми объектами — и исчезает вместе с последним из них (что знает любой человек, которому снился сон без сновидений). Не таков ли и высший принцип Творения?

Мы есть видения Создателя, делающие реальным Видящего. Как сказано в Изумрудной Скрижали Гермеса Трисмегиста (он же — египетский бог Тот) — „Есть все, которое спит, и видит сон — и этот сон все...“»

Рудольф Сергеевич задумался. Продолжение не рождалось в душе.

Ход мысли, недавно такой четкий и прямой, был безнадежно нарушен припадком. В потрясенном сознании до сих пор расходились волны испуга. Столько перечудилось за несколько удушливых секунд...

Страшнее всего были даже не эти смутно увиденные Птицы, а странная уверенность, что самая суть существования только что проявилась, как она есть, и прежде ему просто мерещилось, будто у жизни имеется какое-то иное содержание, украшенное завитками ложных ретроспектив...

И ведь логически такое не опровергнешь... Можно будет вставить попозже куда-нибудь в Прологомены. Но пока надо прийти в себя.

Рудольф Сергеевич взял в руку лежавший на зеленом сукне телефон и запустил «Angry Birds» — игру, которая всегда помогала успокоиться и собраться с мыслями.

На этом уровне надо было разрушить большую деревянную пирамиду, стоящую

на фундаменте из белых — не то облачных, не то ватных — кирпичей. Египетский цикл, самый конец. Зеленая усатая свинья в высокой золотой тиаре, сжимая в руках регалии фараона, сидела в тайном центре пирамиды — видимо, в погребальной камере — и скорбными глазами смотрела Рудольфу Сергеевичу в душу.

Рудольф Сергеевич прицелился и стрельнул первой птицей, похожей на большой и тяжелый коричневый шар. Птица надломилась несколько верхних досок, скатилась вниз и с достойным кряком умерла в пыли... Рудольф Сергеевич стал ждать, когда она исчезнет — из какого-то осторожного целомудрия он никогда не запускал следующую птицу, не дождавшись распада предыдущей.

«И ведь какая жестокая игра, — думал он, закладывая в рогатку маленькую синюю птичку, — ведь суть ее в том, что мы убиваем птичек и смотрим, как они умирают. А созерцание нарисованного убийства ничем по сути не отличается от лицемерия настоящего. Как говорят на Востоке, портим карму. И ведь ни за что ни про что!»

Синюю птичку было особенно жалко. Наверно, из-за габаритов: совсем крохотулечка.

«Игра эта, — думал Рудольф Сергеевич, меняя угол наводки, — несомненно, апеллирует к самым низким и жестоким инстинктам из живущих в человеческом подсознании. И вместе с тем она фундаментально лицемерна, как весь западный дискурс. Она позволяет убивать живых существ, сохраняя при этом цивилизованное лицо. Ужасно, однако, что даже в наших деток, которых мы считаем такими вот белокурыми ангелочками, инстинкт убийства уже вшит, присутствует прямо с рождения... А как мяско-то жрут... Ангелочки, да... Надо будет вставить в

Прологомены».

Он запустил птичку в небо и шлепнул по экрану пальцем. Синяя птичка разделилась натрое. Три синих живых шарика отважно и безнадежно врезались в косую стену, повредили несколько планок и скатились вниз — умирать.

Зеленый свинтус-фараон глядел на Рудольфа Сергеевича исподлобья с мрачным фатализмом. Его рот под рыжей щеткой усов чуть заметно шевелился, словно начитывая непонятную каббалу. У Рудольфа Сергеевича мелькнула конспирологическая догадка, что этот зеленый свиной фараон сам устроил птичье покушение на себя, чтобы тут же назидательно покарать виновных...

«Наверно, — подумал Рудольф Сергеевич, — мне потому Птицы примерещились, что постоянно играю в эту дурь. Слишком уж часто... Как ребенок, право. Даже неловко...»

Мысль, нарушенная припадком, вернулась наконец в творческую колею: стало ясно, как философема должна развиваться дальше.

Рудольф Сергеевич положил телефон на стол и застучал по клавишам:

«Итак, есть всё, которое спит и видит сон — и этот сон всё... Основной вопрос философии и теогонии тогда прозвучит так — Lucid Dream or Nightmare? Осознает ли ВСЁ, что ему снится сон? Или это просто кошмар, над которым ОНО властно не более, чем мы над своими дурными снами?

Наблюдая за окружающим, логично предположить, что наш Творец видит кошмар, но не может в него вмешаться — так как не знает, что спит

и видит кошмар. Возможно, он все-таки благ, несмотря на зло, постоянно причиняемое им миру — ибо просто спит и видит сон. Зло перестает быть его выбором и предопределением. И, last but not least, в этом случае объяснимым становится древний парадокс, заволаживавший еще Ницше и Борхеса — самоубийство Бога, лежащее в основе множества легенд и религий...»

Рудольф Сергеевич почувствовал между лопатками дрожь благоговения, словно бы сладчайшую чесотку духа, намекающую на то, что у него пробиваются крылья. Так всегда бывало перед тем, как ему удавалось на несколько мгновений заглянуть в сверкающий мир Идей — платоновский Космос.

Он ясно увидел тот духовный механизм, который тщился описать, и понял, что почти разгадал его сокровенное устройство.

Перед ним возникли два ослепительных шара, соединенные линиями, проходящими через расположенный точно между ними фокус. Это было подобие объемного знака бесконечности — переливающаяся и сверкающая всеми цветами радуги трехмерная восьмерка.

Платоновская природа этого объекта проявлялась в том, что его форма являлась одновременно и его смыслом, который делался ясен при первом же взгляде. Эти два духовных солнца были связаны таинственнейшим из взаимодействий.

Первый шар своими лучами создавал второй. А второй — своими лучами создавал первый. Они как бы взаимно порождали друг друга. Здесь не было творца и творимого — шары не могли существовать по отдельности. Не имел смысла вопрос,

какой из них первый и главный. Это были два проектора, каждый из которых возникал из луча другого. Две руки с карандашами, рисующие друг друга на листе бумаги.

Рудольф Сергеевич понял, что видит космический Инь-Ян — простейшее из лиц Божества.

«Да, — подумал он, — это я не сообразил. Мы — просто кошмар, снящийся Богу. Но Бог — просто кошмар, снящийся нам. Надо дописать...»

А ведь была еще и Троица... Рудольф Сергеевич уже собирался устремить к ней свои духовные очи, как вдруг с неудовольствием заметил, что чистоту переживания нарушил пошлейший отпечаток профанного мира.

Сверкающая восьмерка потеряла свой радужный блеск, и Рудольф Сергеевич увидел в одной ее половинке зеленое свиное рыло в золотой короне. Это, без сомнения, был свин из «Angry Birds» — он выглядел так же карикатурно. Зато в другом шаре...

В нем появилась жуткая голова Птицы, как бы полусожженная неземным огнем. И ничего карикатурного в ней уже не было.

Рудольф Сергеевич видел прежде эту страшную обожженную Птицу... Он вспомнил свой припадок и сопровождавшие его галлюцинации... Галлюцинации?

Увы, с содроганием понял он, нет.

Галлюцинациями было все остальное.

Он ясно осознал теперь, что он, сменивший Николая, Дашу и еще Бог весть кого до них — просто парящее в пустоте оружие Птиц. Меняющий форму ключ, как никогда близкий к тому, чтобы открыть тайную дверь Вселенной.

Древний Вепрь был пойман и не мог уйти из силка, куда его уловили Птицы. Этим силком стал ум Рудольфа Сергеевича. Он дотянулся до Вепря, скрывшегося в платоновском космосе, и набросил на него сеть из безупречных силлогизмов.

Рудольф Сергеевич ощутил ужас и гордость. Все-таки в его Прологоменах был смысл — о, еще какой! Хоть и не тот, о котором он думал, конечно... У него мелькнула мысль, что, успеет ли он увидеть Троицу, он нашел бы в ней и себя самого — создаваемого и создающего, сознаваемого и сознающего — но времени на эти экзерсисы уже не осталось.

Он опять увидел объемную восьмерку с запертыми в ней Вепрем и Птицей. Обожженная Птица высунулась из своей половинки и коснулась Рудольфа Сергеевича чем-то вроде короткого маршальского жезла.

Рудольфу Сергеевичу показалось, что его конечности стянуло тугими невидимыми лентами. Эти ленты подняли его с места и поволокли по красному пятну, прежде бывшему его комнатой, к светлой прорехе выхода — двери на балкон.

Уже переваливаясь через его ограждение, Рудольф Сергеевич понял наконец безжалостно простой план Птиц. Прочно зафиксировав Древнего Вепря в платоновском космосе идей, следовало уничтожить весь этот космос вместе с сознанием, где тот возникал. Его сознанием.

Но что тогда случится с обожженной Птицей?

Рудольф Сергеевич толком не успел задать себе этот вопрос, а из реальности уже пришел ответ.

Обожженная Птица сделала невозможное. Сверкнув красной голографической юбкой, похожей на фартук с египетской фрески, она непонятным образом

высунулась за пределы восьмерки, вылезла из нее — и, нарушая все соответствия и масштабы, одним движением клюва подхватила Рудольфа Сергеевича и бросила на свое место.

Рудольф Сергеевич стал одним из полюсов мироздания. Он создавал Древнего Вепря по доставшимся ему от Птиц чертежам — в виде карикатурной зеленой свиньи. А Вепрю, видимо, приходилось создавать Рудольфа Сергеевича, чтобы тот мог и дальше создавать его самого. Теперь для них это был единственный способ продолжаться из мига в миг — и в карих с поволокой глазах Вепря застыла покорная грусть...

Но исчезновение стало неминуемым, ибо их двухполюсный эйдос неся, разгоняясь, навстречу идее грязного асфальта, и в месте столкновения неминуемо должна была проявиться идея страшного удара.

Рудольф Сергеевич замер в свистящей невесомости, зажмурился — и понял, что птицы опять промахнулись.

Они не уничтожат платоновский космос вместе с ним, догадался он. Вернее, уничтожат, но таких космосов в мире столько же, сколько есть в нем умов, оперирующих абстрактными понятиями. И в каждом из них — каждом! — останется убежище для Древнего Вепря, если этот ум хоть изредка станет думать о том, каков его источник, и в той или иной форме вспомнит Творца...

Его смерть будет не самоубийством Бога, а просто надругательством Птиц над ими же созданной издевательской иконой. Древнего Вепря нельзя было настичь в его последнем и высшем убежище.

Или...

Падение вдруг затормозилось — словно Птицы услышали эту мысль и она показалась им настолько важной, что ради нее они замедлили время.

Единственный способ победить Вепря — вообще отказать ему в существовании, понял Рудольф Сергеевич. Сделать так, чтобы в сознании не осталось идеи Творца. Для этого нужно отобрать у людей избыточную энергию, прежде позволявшую им догадываться о Боге. Когда ни в одной из божественных Двоиц и Троиц, которые он созерцал, не найдется места для Создателя, того просто не станет... Бога можно умертвить лишь одним способом — забыть его полностью... Это будет долгая и трудная битва. Но победу в ней можно одержать. Вот только самым совершенным и последним мечом Птиц, понял Рудольф Сергеевич, будет уже не он.

Рудольф Сергеевич испытал одновременно ужас и упоение от масштаба открывшейся ему тайны. Время замедлилось почти до полной остановки, все вокруг почернело, и в одном миллиметре от асфальта он постиг, что Птицы нашли нужный код. Именно так теперь будут перепрограммированы их могучие квантовые вычислители.

Все клинки, наведенные Птицами на Вепря, будут выкованы по одному и тому же лекалу.

Не в мелочах, конечно.

В главном. И в самом страшном.

Поняв это, Рудольф Сергеевич захохотал — и рассыпался серебряными искрами в пустоте.

Сон уплывал все дальше, и к моменту окончательного пробуждения Кеша уже забыл, что ему снилось: помнил только вихрь серебряных искр, похожих на бенгальский огонь. И еще, кажется, во сне его звали Рудольфом. Наверно, снился какой-то маскарад...

Кеша сунул ноги в тапочки и пошел в ванную опорожнить мочевого пузыря. Суббота. Но на душе после вчерашнего было скверно, очень скверно. Правильно ведь пишут на уличных плакатах, что *пятница* — враг субботы. Но не пишут почему-то, что понедельник — враг воскресенья. Иначе человек поймет, как мало у него друзей и много врагов...

Кеша отрыгнул и почувствовал рвотный спазм, поднимающийся из глубин живота. Хорошо, что он уже добрался до унитаза — и рвота попала в чашку.

Все было не так уж страшно. В холодильнике оставался «Гиннесс», и много. А в шкафу имелась аварийная бутылка «Блэк Лейбла».

Облегчившись, Кеша прошел на кухню, открыл сразу несколько «Гиннессов» и налил темную жидкость в пинтовую колбу классической формы. Ухаживая за первой колбой, он совсем ни о чем не думал. Он как бы заколачивал черную сосущую дыру в солнечном сплетении.

Вторая колба была уже косметической: она шпаклевала и лакировала наложенную на дыру заплату. В результате появилось что-то вроде фундамента, на котором можно было строить новый день — и Кеша позволил себе пару осторожных мыслей.

Он снова вспомнил про бутылку «Блэк Лейбла», и в мозг впорхнуло обещание немедленного счастья. Но открывать виски с утра Кеша не стал — он знал, насколько это обещание зыбко и обманчиво. И потом, он ведь не алкоголик. Первый раз за месяц так нарезался. А все родная «Контра».

Кстати, подумал он, почему наш сайт так называют — Contra.ru? Шеф говорил, это от «контраст», и еще в честь белого движения. Противостоим потоку мутного мэйнстрима. Противостоим, да. Но бухаем точно так же... Анतिकорпоратив, как выражаются коллеги. Тогда и принимать по идее надо было через задницу — клизмой.

После второй колбы Кеша ощутил слабое подобие аппетита. Поев доширака со вчерашней котлетой, он захватил последний открытый «Гиннес» и сел за компьютер.

Сначала он проглядел френдленту. Там опять была одна политика. Белочервие ядовито угрызало быдломассу, а быдломасса тупо топтала белочервие. Нашли друг друга. Ну что же, даем мастер-класс...

Кеша перелогинился на левый ник, закрыл глаза и представил себе, как превращается в огромного, каменного, обросшего мхом и ракушками тролля. Эта визуализация всегда удавалась ему на славу — словно он много лет занимался похожими формами тибетской медитации.

Открыв глаза, он положил ладони на клавиатуру. Выходной начался.

Сперва, конечно, Украина.

Забравшись на ветку под названием «Общество Рагульско-Кацапской Дружбы», где шел перманентный срач с бандерлогами, Кеша оглядел поле боя.

Третья мировая была в самом разгаре. Высоколобые филологи и интеллектуалы до сих пор делали вид, что способны взяться за руки и среди всеобщего безумия вести уважительный и сбалансированный межкультурный диалог, вырабатывая понемногу дорожную карту будущего примирения:

— Ах, Тенерифе... Помните, как у Ярослава Могутина? Сначала я ***[3] рагуля, потом рагуль ***[4] меня...

— Та тьфу на вас, вечно все опошлите. Там не «рагуль» а «Рауль»...

Но боевые муравьи и пчелы с обеих сторон были суровы, беспощадны и малосентиментальны — инстинкт гнал их в бой.

Войско рагулей вывесило свежий постер: Янукович, согнувшийся под тяжестью шапки Мономаха, сорванной с изумленного Путина. Лучше всего неведомому художнику удалась гримаса на лице Януковича, в которой слились торжество, страх и мучительная неспособность противостоять давней страсти — просто какие-то достоевские подробности и глубины. Твердая четверка, подумал Кеша, тема шапок раскрыта.

Сегодня он сражался против бандерлогов. Подав для виду пару тусклых реплик, он дождался нужного поворота дискуссии и выложил заготовленный на прошлой неделе продукт. Это была фотожаба с голыми братьями Кличко — говорили, откуда-то из гей-журнала. Боксеры были не особенно перспективны политически, но остальные вожди укров не вдохновляли совсем.

Жаба выглядела роскошно: над загорелыми братанами — слово «УДАР», а под ними — предлагаемый электоральный слоган:

ЯКЩО ТОБІ БОЛЯЧЕ, У ТЕБЕ ГЕМОРОЙ!

Для тех, кто не в теме, Кеша оставил под фотожабой линк на криптопорнуху, снятую прежней украинской беспекой, где какой-то прогрессивный журналист говорил то же самое своему партнеру, только по-русски. Кеша добавил от себя короткий комментарий — мол, непонятно, отчего сексуальное поведение, достойное римского полководца, считается на Украине компроматом. Или дело в том, что журналист, долбясь в сраку, говорит по-русски?

Погрузив врага в тяжелое раздумье, Кеша задумался и сам — почему, интересно, любой хохлодискурс с какого-то момента вырождается в гомосрач? А вот наоборот случается редко. Что говорит психоанализ? Психоанализ в таких случаях помалкивает, опасаясь, что бойцы некстати вспомнят про его еврейское происхождение... Впрочем, у Кеши был заготовлен еще один продукт, никак не связанный с однополой любовью: здоровая смесь традиционного эроса с не менее традиционным танатосом.

Перелогинившись еще раз, Кеша выплюнул в ту же ветку вторую заготовленную фотожабу — рекламу шампанского «Вдова Кличко». В этом, правда, была уже какая-то некромантия.

Кеша покосился на пробковую доску над компьютером. По ее верху проходила веселая надпись разноцветными буквами:

FUCK THE SYSTEM!

Нижe были пришпилены булавками разные картинкИ — «приколы» в прямом смысле: пара юных японочек в школьных матросках, гулаговский плакат с «каналoармейцем» (от такой хари вздрогнул бы и Шариков), портрет Марка Цукерберга в виде осьминога, непристойный рисунок под названием «Куприянов и Наташа» (30-е годы, что-то связанное с ОБЭРИУ), хан Бату, съедающий живого хомьяка для устрашения послов, писатель Борхес на фоне книжных полок и так далее.

На почетном месте в центре доски висела обложка пропагандистской брошюры ельцинских времен с фотографией припухшего президента и гордым названием:

Я ОТВЕЧУ ЗА ВСЕ!

Говорят, умные люди заметили и сразу изъяли из продажи. Но книга, как говорится, не воробей. Для Кeши эта обложка была надежным моральным противовесом ко всем возникавшим сомнениям и тревогам: каждый раз, когда у него появлялось квазирелигиозное чувство, что он создает себе что-то вроде кармы, он поднимал глаза на картинку — и успокаивался.

Contra.ru, конечно, таких шуток не одобрила бы. Но сегодня выходной. Отработав всю неделю на чешский бренд «Kozel», с полным правом пьем в выходные «Гиннесс». Ну или наоборот. Чисто для равновесия. За нашу и вашу свободу.

Плечо уже разуделось.

Кеша опять перелогинился, перепрыгнул на другую ветку и с удовольствием потроллил сперва ватных («тех, кто носит „адидаc“, завтра родина продаст» ... «на

майдане плитку с улиц пустили на снаряды — информация к размышлению: не агент ли ЦРУ жена Собянина?»), потом рукопожатников («Сегодня слово „рукопожатный“ означает, что по вашему адресу уже выехал вежливый каменный гость»), а потом вступил в бодрый говносрач с известным блогером, для затравки обозвав того «звездой медиахолдинга „Ж2“»:

Приветствую революционную матрасню! ... Я не мартышка, я в служебной шапке-невидимке!.. Ща представляюсь. Заслуженный блогер РФ, майор сетевого спецназа, создатель мемов «Еуропа це Україна» и «Идите ***[\[5\]](#) фейсбучане»... Требуем закрыть холдинг ^{///}2 нах!

Бан. Жаль, прошлый раз у дяди пукан нехило так бомбанул. Тогда Кеша объяснил, что секс с матрасом — это единственная форма pledge of obedience [\[6\]](#) американскому флагу, доступная публичному интеллектуалу в эпоху гонений на свободное слово... И вот они, гонения.

Кеша еще раз поглядел на только что составленный иероглиф «^{///}2». Полоски, полоски... Тоже, выходит, адидас носят? Вот это я понимаю продакт плэйсмент. Что называется, 360-градусный маркетинг.

Вздохнув, Кеша перелез на другую ветку, поучаствовал немного в многолетней, как пушкинский дуб, дискуссии на тему «сколько пидарасы заплатили Охлобыстину и в какой уже раз» — и, перевалившись через пару топики, оказался на ЛГБТ-поляне (народная замета — если день начался с хохлосрача, то завершится здесь).

Там было раздолье — леса, полные дичи, и все нужное для доброй охоты. Кеша

завинтился в одну из дискуссий и долгое время развивал мысль, что российская тюремная мораль перекрашивает в свои цвета даже святыни ЛГБТ: ежедневно сообщают про гей-активистов, которые выходят на подмости и прислоняются к дверному косяку, а вот гей-пассивисты, считающиеся в русских тюрьмах париями, молчат в своих клозетах, как ягнята. И бороться в первую жопу следует именно с этим.

На ветке была пара американцев, которые ничего не поняли — но Кеша и не стал объяснять, а вместо этого набросился на них с упреками, что лидеры свободного мира ничего на самом деле не делают для защиты gay&pussy rights in Russia, а только лицемерят. Например, можно было бы заставить американского президента и британского премьера хотя бы раз в неделю надевать розовый пиджак. А еще лучше не раз, а все семь...

Перелогинившись, Кеша увенчал свое выступление кратким:

ГЕЙСЕКСУАЛИЗМ ИЗЛЕЧИМ!

И оставил бедных гейсексуалов в покое. Вокруг было много новых целей. С ветки на ветку, с ветки на ветку. И каждому кокосом по балде.

Кеша не испытывал злых чувств ни к кому из затролленных — он просто использовал энергию общественного возбуждения как серфингист волну. Против гейсексуалистов и либеральных блогеров он точно ничего не имел. Но он любил кидаться в граждан, трещащих от внутреннего электричества, словами с зарядом противоположного знака — и наблюдать атмосферные эффекты.

Политика, однако, уже наскучила — хотелось чего-то светлого и позитивного. Кеша переключился на порно.

Через минуту классная японочка в школьной матроске уже делала на экране мультикультурный минет бритому наголо негру (называлось, ясное дело, «случай на уроке» — а вот в политизированном рунете такой клип обязательно назвали бы «уроком толерантности»). Негр был самый устрашающий, с огромной золотой цепью на груди. Джанго снял, а этот еще нет. Наверно, не встретил пока своего Тарантино... Ну очень красивая японочка, просто очень. Такую в Москве не сыщешь. Тут можно развернуться только по линии самого Джанго — вызвать бюджетную негритянку, стоит четыре тыщи в час. Но боязно. Соседи пробьют из глазков, скажут потом матери. Они такие. Ехать же к негритянке в падлу. Будет грязно, холодно и неромантично.

Кеша подумал, что можно было бы позвонить Машке и попробовать помириться. Но сегодня ничего не срастется. И завтра, видимо, тоже... Да и энтузиазма особого не было — даже когда все срасталось, обнимая полноватую и не слишком красивую Машу, Кеша все равно воображал на ее месте субличную японочку в гетрах. А японочка — вот она, на экране. И конкретно сегодня Машка уже проиграла ей тендер...

С этой мстительной мыслью Кеша достал, начал — и закончил как раз за две секунды до конца ролика. Уже не столько на японскую школьницу, сколько на три размытых огня, вдруг выскочивших на экран. Наверно, софиты на порностудии. Они же в порнобизнесе все великие режиссеры, с подтекстом и метафорами...

Кеша отдышался. И сразу вспомнилась хохма с «башорга» — как чувак поглядел

под свой компьютерный стол в свете ультрафиолетовой лампы и понял, что пора заводить девушку. Смешно-с. Только в жизни все сложнее — и девушка вроде есть, во всяком случае в теории, и ультрафиолетовую лампу лучше не включать...

Теперь можно было посмотреть кино. Что-нибудь из старого, скачанного про запас. Вот например, «Обливион»... Лукнем-ка на ускоренной...

Что это значит — «Обливион»? Как будто кто-то съел салат оливье, а потом сблевал назад в тарелку. Кино, кстати, примерно такое и есть, на ускоренной правду не спрячешь. Все где-то уже было, причем много раз. Пиндосы отовсюду воруют понемногу. Но по-умному, с адвокатом. Не докопаешься.

Ну вот как они такие фильмы смотрят? Чего, хоть на минуту можно забыть, что это Том Круз? Нельзя. Вот и думаешь весь фильм то про сайентологию, то про пластическую хирургию. То про телку, которой привалило покривляться рядом с богатым буратино. По типуaju такая пять тыщ в час. Спасибо хоть взяли в бизнес славянскую душу. А то у них в кино наших постоянно какими-то идиотами изображают. Не узнали Сильвестра Сталлоне, который пришел к русским в лагерь, натершись пулеметным маслом. Он опять пришел, специально разделся до трусиков, а его опять не узнали. И даже хотели убить.

Ну его, этот «Обливион». Лучше поиграем. Не зря ведь консолька у нас. Все-таки могут пиндосы, когда хотят, ой могут... Пятая «GTA» — вещь... За нее можно и Ирак простить, и в принципе Ливию. Но не Украину.

Кеша загрузил последний сэйв — и пошел, бородатый и патлатый (каким сделал своего любимого бандита Тренора), по улице чуть прикрытого фиговым листком Лос-Анджелеса. Какой-то встречный анимационный негр, которого Кеша толкнул,

начал, жестикулируя, качать права. Глядя на титры, Кеша с наслаждением заряжался мультикультуризмом в потоке отборного негритянского мата.

Вряд ли создатели имели это в виду, думал Кеша, но если Тревору приклеить в парикмахерской длинную бороду, сделать длинный хайр, а потом еще надеть черные очки, получался вылитый Радуев в расцвете сил. Диверсионно-штурмовой батальон чеченских шахидов в змеином сердце Пиндостана. Можно нормально так отдохнуть, снять стресс.

— Ты как говоришь с полковником Радуевым, пиндосская собака? — грозно спросил Кеша, нажал «LB», чтобы открылась оружейная распушкалочка, и выбрал свой любимый автоматический шотган с глушителем и дисковым магазином.

Негр сразу стух и врубил заднего. Зато заматерился другой, с массивной голдой на груди — и вынул ствол.

Трах. Трах. Не будешь, сука, наших японочек трахать. Вот чем шотган хорош, убирает говно с одного раза. Жаль, кстати, что так быстро. Уж больно хорошо эти черные пиндосы матерятся.

У них только негры так говорить умеют, белые нет. Только негры слишком быстро тараторят — не разберешь даже с титрами. А Обама, интересно, мог в юности? Fuck you, nigga, don't be such a phoney fucking fuck, dog. Может, он так со своими советниками и общается... Хотя нет, он же мусульманин, а им ругаться запрещено... Общество равных возможностей, угу. Подумаешь, негр-президент. Вот когда поставят негров на федеральную резервную систему... Система...

Ведь какие идиоты вокруг. Они полагают, что система — это Путин. Или Обама. А если очень умные, уверены, будто система — это ФРС и Йеллен-шмеллен.

А система — это светящийся экран на расстоянии шестидесяти сантиметров от глаз. С которым мы трахаемся, советуемся и интересуемся, какие для нас сегодня будут новости. Путин, Обама, Йеллен — это на нем просто разные картинки. А экран один и тот же... Мы думаем, что экраном управляем наполовину мы, а на другую половину спецслужбы, но на самом деле сам экран уже давно управляет и нами, и спецслужбами. Вот что такое система. И как, спрашивается, с ней бороться, если про борьбу с ней мы читаем на том же экране?

К Кеше со всех сторон уже ехала полиция — наверно, засекли враждебный ход мыслей. Но Кеша был к этому вполне готов.

Полковник Радугин забаррикадировался в углу двора — спрятался за капотом малолитражки, и теперь к нему нельзя было подобраться ни сбоку, ни сзади. Идите, мусора, возьмите меня... Ну?

Сначала РПГ. Потому что из него можно одной гранатой убрать и мусоровоз, и всех мусоров. И так до двадцати раз... Ага... Ага...

Так, вертолеты. Их уже гранатой не достанешь. Зато из пулемета самый раз. Сперва стрелок выпадет, потом пилот... И вертолет куда-то за дома...

Теперь второй вертолет...

Третий...

Fuck. Fucking fuck. Завалили. У них там, похоже, алгоритм, нельзя подряд больше пяти вертолетов сбить. Вся игра такое же палево, как и этот их рынок с демократией. Проверено. Если угнать вертолет, сесть на небоскреб, куда мусора залезть не могут, и гандошить из тяжелого снайпера по машинам, где тогда весь их хваленый реализм? Одного водилу грохнешь, другого грохнешь — вроде две тачки

остановились на дороге, все как положено. Потом вертолет подлетит, на пять секунд отвлечешься, глядь вниз — и где эти машины? Растворились в воздухе. Словно не было их. Вот как после такого верить в доллар?

Кстати, за окном уже темно. Можно накатить «Блэк Лейбл».

Кеша прошел на кухню и достал бутылку. Чтобы не пить одному, он чокнулся с отражением в оконном стекле, и на миг ему показалось, что вместе с ним выпивает синий московский вечер.

Из головы никак не шли исчезающие машины из пятой «GTA». Что-то в этом было экзистенциально тревожное, страшное. Даже дырки от пуль — уж чего, кажется, бывает надежнее — исчезают, если отвернуться.

Но ведь и в жизни все так. Только чуть дольше держится. Где сейчас Вавилон? Где Александрия? Где, я вас спрашиваю, Мемфис? Просто в реальности есть дополнительные подпрограммы, следящие, не раскапываешь ли ты, к примеру, Александрию — и если убеждаются, что да, рисуют тебе какой-нибудь глиняный кирпич с профилем Александра Македонского...

А что, вполне может быть. Может, и мы сами — такая же компьютерная симуляция, которая есть только до тех пор, пока какой-то компьютерный хулиган держит нас в кадре. А когда кадр передвинут, мы просто исчезнем, как машины из «GTA» или Александр Македонский. Какой следует вывод? А такой, что надо срочно еще выпить, пока бутылка у этих сук в фокусе...

На столе тренькнул айфончик. Кто-то прислал СМС. Интересно, что хочет сказать человечество Кеше в этот непростой час внутренней смуты? Так...

Кулизар, осталось четыре дня суперакции 2X2. Купите две игрушки и 2 других получите в подарок! Мы добавили в акцию...

Понятно. Можно было не сомневаться, Кулизар. Чего ты ждал, Кулизар, забыл, что ли, где живешь? Вот интересно, можно этих сук засудить, что целыми днями в мобилу срут? В Америке, наверно, можно. А у нас только грипп подхватишь в приемных...

Раз уж взялись за айфончик. Накатим-ка еще сто черной и поиграем в «Candy Crush»... Не, лучше в птичек... Так, что тут у нас? Space. Красота... Планета в кратерах... Синие космические облака... Птички, злые-злые, на черном мертвом астероиде. В летных очках, гомонят. А на другой планете — храпит зеленая свинья. Злая она или добрая, нам не сообщили. Сказали только, что у нас война. Так... Мимо... Мимо... Есть.

Чего ж это они так крикают, когда в цель попадают. Небось больно помирать, а? Если вдуматься, мы в двадцать первом веке даже римлян обогнали по жестокости. У них Колизей был один на всех, и ходили туда раз в неделю. А у нас колизей в каждом доме, работает двадцать четыре часа, и все чисто, сука. Никакой ответственности, никакой моральной вины. И птички, чик-чирик, уходят в последний бой за наше электронное счастье. Верные тамагочи режима. Как написали бы твитерасты, #мрутнадобряке.

Кеша вдруг почувствовал какой-то мутный спазм в животе. Сперло дыхание. Так бывало, если выпить крепкого алкоголя, не съев ничего существенного. Надо было немного подышать свежим воздухом.

Кеша положил пискнувший очередной смертью айфончик на стол, встал и открыл окно.

На кухню ворвался странно холодный воздух. В нем была свежесть, таинственный аромат непонятной природы — словно бы на стеклах домов в темноте действительно цвели белые ледяные цветы, наполняя своей пылью промерзший воздух. Или, может быть, запах прилетал из далекой Гипербореи, откуда по старой привычке дул иногда ветер...

Еле уловимый ледяной аромат напоминал о чем-то древнем, высоком, строгом и простом. С Кеша на секунду сдуло весь кайф. Почудилось сказочное — и страшное. Будто открылось не окно, а дверь Колесницы Смерти, и в нее ворвался морозный ветер.

Он поглядел вниз.

В свете фонаря на земле лежало что-то круглое и темное, с зеленоватым отливом, плохо различимое с двенадцатого этажа: то ли черный пакет с мусором, то ли свернувшаяся калачиком собака... И еще на этой круглой фигне были два выступа, словно ручки или... Ну да.

Уши.

Как у свина из «Angry Birds».

У Кеша закружилась голова, и он даже ухватился пальцами за подоконник. На миг ему показалось, что далекий фонарь светит не внизу, а впереди, и он сейчас шагнет из Колесницы Смерти, и помчится навстречу этой свиной голове, еле видной в синем сумраке — как летал сквозь черную вечность уже не раз и не два. Полетит, чтобы выполнить свое единственное предназначение. А сзади, за его спиной,

останется Крест Безголовых и какие-то очень страшные, очень умные Птицы, безжалостные в своей холодной космической красоте — которые направят его полет...

Но через миг головокружение прошло.

Кеша несколько раз глубоко вздохнул, закрыл окно и сел за стол. Вот так люди из окон и падают... Надо же такое придумать. Колесница Смерти. Крест Безголовых.

Ну и что это было?

От свежего воздуха? От «Блэк Лейбла»? Или от всего вместе?

Или бухло паленое? Может, даже не паленое, а какое-нибудь психотропное, по новой секретной программе... Кто его знает, что они туда мешают. Вон, раздали на майдане спецпеченье, до сих пор у людей психоз...

Ну раз вискарь психотропный, значит, надо его полностью уничтожить. Как химоружие в Сирии. Сирия, Сирия, вся залупа синяя. Щас допьем, потусим в фейсбуке и спать. Завтра, слава те господи, опять выходной.

Не забыть только зарядить айфончик.

Часть 3. Киклоп

Явление героя

Хочу отметить, что за вычетом ряда наклепленных на мой образ оскорбительных деталей (их так и тянет назвать военной пропагандой), Птицы воспринимали происходящее довольно точно. Но им, похоже, действительно казалось, что я помогаю создавать мир, работая то ли божественным ретранслятором, то ли одним из армии Создателей. В остальном все было верно: я действительно начитывал колдовские мантры, удерживая мир в равновесии — и Птицы начинали видеть меня, когда я на некоторое время оказывался в одиночестве, которое они (очень уместно) изобразили как окружающую меня красную пустыню.

Скажу еще, что для Птиц человек — как бы древнее здание. В его высокие окна видно небо, и Птицы пытаются или выстрелить в небо сквозь эти окна, или хотя бы закрыть их в человеке. Это для них так же естественно, как для обычных птиц летать.

И последнее — о том, как они выглядят. Я уже говорил, что поэты часто прозревают будущее с удивительной, просто пугающей точностью. Вот еще пример. Одно из лучших русских стихотворений двадцатого века, «Элегия» Введенского, содержит такие — странные, должно быть, для современников поэта — строки:

Летят божественные птицы,
Их развиваются косицы,
Халаты их блестят как спицы,
В полете нет пощады.

Они отсчитывают время,
Они испытывают бремя,
Пускай бренчит пустое стремя,
Сходить с ума не надо.

Я никак не комментирую эти слова. Как говорят, *sapienti sat*.

Кеша, конечно, не знал, что он и есть главное оружие Птиц. Он и не должен был знать. Это оружие как бы наводилось само на себя — и именно поэтому было непобедимым. Кеша сам служил и стрелой, и мишенью.

Вскоре он надолго станет нашим главным героем, и нужно чуть подробнее рассказать про его способ существования во вселенной.

Как уже ясно из моего рассказа, прямо под моим кабинетом размещался офис одного средневестребованного (чтобы не сказать малобюджетного) электронного СМИ под названием «Contra.ru». Денег «Контра» не приносила, на умы тоже не особо влияла — и существовала просто по инерции. Какие-то неустановленные лица (мне все лень было посмотреть кто) прежде держали ее на запасном пути в качестве тактического бронепоезда, который во время «Ч» мог понадобиться для прикрытия взлетно-посадочной полосы. Ну а в новую эпоху смысла в ней особо не было.

Штаб-квартирой сайта служила большая стильная комната с десятком компьютеров, за которыми сидели... Очень, очень трудно обойтись без слова «хипстер». Кеша тоже, в общем, был из них (хотя в те дни, когда он много пил, я

начинал опасаться, что его с позором извергнут из сана на первом же фейс-контроле).

«Contra.ru» занималась в основном тем, что сканировала выхлопы мировых агентств, выуживала оттуда совпадающие с повесткой события и клеила их на свою электронную ленту попеременно с собственной мелкой выпечкой. Все это я иногда по-соседски почитывал.

Характер «Контры» нравился не всем. Как написал в комментариях один возмущенный «ветеран труда, войны и опять труда» (на самом деле просто тролль, а еще конкретнее — придуривающийся Кеша), «раздражает, что в качестве мировых новостей в претендующем на массовый статус СМИ мне регулярно предлагают отчеты о пластической операции какой-нибудь голливудской сучки или об очередном альбоме какого-нибудь покрытого бриллиантами негра, исполняющего криминальный пиндосошансон (или, как иногда говорят, рэп). Что это, как не сознательный заговор, направленный на культурную дебилизацию и колонизацию России? Не надо делать из нас шкурных тупаков!».

Кеша имел в виду Тупака Шакура, о котором узнал за два часа до этого из статьи родной «Контры» (новое поколение, ничего не поделать). Кеша, понятно, валял дурака, но многие думают так всерьез. Конспирология — чрезвычайно уютная норка для ума. Но когда я получил возможность заглядывать в чужие головы, выяснилось, что реальность совершенно не нуждается в заговорах и заклинаниях, чтобы выглядеть так, как выглядит.

Средний российский хипстер — это бесхозный блютусно-вайфайный голем с очень ограниченным умственным ресурсом. Многие его ненавидят, в то время как

стоило бы пожалеть: чаще всего это сборщик хлопка, из последних сил делающий вид, что он анфан террибль золотого миллиарда. Он не столько даже рассчитывает, сколько мечтает, что все вокруг рухнет — и его пустят пошустрить в дымящихся руинах, как это случилось с поколением отцов. Но никто не станет ломать ради него свежую корку над магмой. Непуганых строителей коммунизма давно съели, и все оставшееся от них железо уже записано на живущих в магме чертей. Хипстеру будет трудно убедить их поделиться — черти не боятся фотожаб.

Управляют хипстером главным образом информационные запахи и ветры. Голем разворачивается туда, откуда прилетает самый соблазнительный запах. Наше суровое Отечество, увы, здесь неконкурентоспособно — оно не производит ни красивых двусмысленностей, ни терпких ароматов. На государственном информационном предприятии такого не выпилить. А голем думает носом.

Голем устроен так, что не понимает тождественности Тупака Шакура и Михаила Круга (Кеша, кстати, ее видел). Поэтому источник энергии русского хипстера — непримиримый конфликт между «hip» и «гоп», в которых он не может распознать полюса одной и той же вставленной в него батарейки. У русского полюса этой батарейки знак «минус». Но глупо обвинять в этом голема. Виноваты национальные маги, до сих пор делающие вид (и иногда даже сами верящие), что умеют чертить волшебные знаки у големов на лбу. На самом деле все заклинания за них пишет ветер.

Но я отвлекся.

Кеша обожал компьютерные игры. Его любимой игрой была не «GTA», как может показаться из моего отчета, а «World of Tanks». Обычно он подолгу ждал

гостей под Прохоровкой, в специально созданной тренировочной комнате, на загруженной «золотыми» снарядами «Пантере». Иногда к нему в гости заезжал один видный русский интернет-философ на маленьком юрком танчике девятого уровня. Кеша не знал, кого он вдохновляет своей высокой и плохо защищенной кормой — иначе, наверно, задохнулся бы от гордости.

Кеша работал в «Контре» чем-то вроде сисадмина, но подрабатывал и журналистикой. Его узкой специализацией были гаджеты. Он делал длинные и подробные обзоры новинок, перемежая технический анализ игривыми намеками, что именно из этих небольших электронных коробочек бьют синие стрелы прогресса, разрушая красно-коричневую бастилию отживающего тоталитарного мракобесия: Гаджет + Интернет = Свобода (Выбора). Этого от него в редакции никто не требовал прямо — как и все низкооплачиваемые провайдеры ментальных услуг, Кеша сам чувствовал, какой надо взять тон, чтобы прижиться.

Формально от Кеши требовалась только техническая грамотность и веселая прозрачность изложения, остальное было просто верно понятым социальным заказом — и никто, конечно, не опознал бы в сдержанном, корректном, ироничном и прогрессивном авторе-яппи зловещее чудище, которое час назад завывало в комментах, требуя от российского правительства снять с финансирования либеральную интеллигенцию, а на освободившиеся средства организовать экспедицию к спутникам Юпитера.

Помимо гаджетов, Кешу иногда подключали к теме террора: он с удовольствием отыскивал в Сети самые жуткие из доступных снимков и собирал из них длинные подборки. Их обычно сильно редактировали в сторону смягчения.

Кеша был средним техническим журналистом, но одаренным троллем. Некоторые из его тро-ло-ло (кажется, так называют издаваемые этим классом существ трели) были глубоки и заставляли задуматься о вечном. Особенно мне запомнился один из его комментов в украинской ветке, где Кеша иногда просиживал днями:

«В Киеве были замечены неизвестные в форме украинских милиционеров, которые меняли рубли на гривны. Поистине, таков и ты, человек, и все твои дела под солнцем...»

Безжалостные, но точные слова.

Но главным изгибом Кешиногo кармического трамплина было совсем иное, на первый взгляд довольно неожиданное обстоятельство.

Великий Hamster

Кеша был высоким и уже лысеющим (несмотря на молодость) блондином. Он был худ, чуточку курнос и имел уникальную смешную особенность — на его лбу темнела немного похожая на звездочку родинка, из-за которой ему то и дело советовали пойти служить (можно сэкономить на кокарде). Кеша не обижался.

Его нельзя было назвать красавцем, но и уродом тоже. Какая-нибудь девушка вполне могла бы его полюбить. Однако в личной жизни он был очень неустроенным молодым человеком.

Чаще всего у него не имелось подруги, и он грешил в одиночестве перед монитором (в чем был не одинок — в сегодняшнем мире это скорее правило, чем исключение).

Ему больше всего нравилось порно про японских школьниц в матросках — он называл его про себя «нахимовским букакке». Нахимовское училище здесь было ни при чем: у культурно и эротически продвинутых японцев действительно такая школьная форма, которая с самого начала вводилась в обиход в качестве национального секс-фетиша. У Кеша была серьезная коллекция нахимовских фильмов. И, наблюдая за его скромными домашними радостями, я заметил одну странную вещь.

Я никогда не задумывался прежде, с кем, собственно, вступает в любовную связь пользователь интернет-порнографии.

С далекой актрисой? Это вряд ли, она осталась в прошлом.

Со своим воображением? Тоже вроде бы нет — пользователь смотрит на экран,

где все уже нарисовано.

С картинкой на экране? Но в сознании бедняги происходит самое настоящее соитие, и он, так сказать, торжествует над увиденным, иногда по три-четыре раза в день.

Мне поначалу даже не приходило в голову направить в эту сторону свое служебное зрение — но однажды, глядя на упражняющегося в одиночестве Иннокентия, перед которым елозила на мониторе очередная связанная колбаской тьян, я заметил вокруг него какую-то тень.

Не то чтобы возле Кеши порхало черное привидение, нет. То, о чем я говорю, было сперва скорее ощущением.

Вокруг Иннокентия сгущалась засасывающая чернота, которая становилась тем гуще и холоднее, чем ближе он подбирался к моменту своего бывшего таза (очень верное переложение слова «экстаз» применительно к пользователям фотографических отчетов о былой любви).

А потом... он слился с темнотой как с женщиной. Словно бы из монитора выскользнул черный лохматый цветок, сложился вокруг вздрагивающего Кеши, вобрал в себя пламя его радости, сжал на секунду, как бы взвешивая — и, найдя его слишком легким, уполз обратно в монитор, оставив чуть похудевшего и постаревшего беднягу на месте.

И сразу же я увидел тысячи, миллионы, сотни миллионов других мониторов — и ту же самую черную засасывающую тьму, питающуюся скудными городскими радостями закатанных в бетон людей. Я попытался понять, что такое эта тьма, и увидел подобие огромного черного полипа, какое-то прилепившееся к миру зияние.

В него и улетала неразделенная человеческая страсть, бьющая по ложным целям. Говоря научно, это был огромный мировой паразит, опирающийся на кремниевую информационную инфраструктуру. И я заметил, что он затягивает своих регулярных партнеров, в том числе и Кешу, в очень неприятные и однотипные формы будущего.

Поверьте мне на слово, невозможно понять новое поколение, всех этих креаклов, хипстеров и прочих мерчандайзеров, не принимая в расчет того, что все они с раннего отрочества — супруги заэкранной тьмы (выражение «экранный дрочила», более точно передающее суть вещей, кажется мне слишком вульгарным).

Нет ничего трогательнее предположения пожилых литературоведов, что кто-то из наших современников однажды напишет про этих бедняг «Бесы-2». Тут нужно совсем другое название. Например, «Veliky Hamster» (непременно по-английски, чтобы подчеркнуть сдвиг, произошедший в нашей культурной парадигме со времен «Бесов-1» и Великого Хама).

Постоянное сожительство с экранной иллюзией острым крюком цепляет слабый хипстерский ум и тащит его в будущее по очень странным маршрутам. Это главное. А то, что русскому хипстеру нередко бывает свойственна мелкобуржуазная психология — чисто эстетический эпифеномен, не имеющий никакого отношения к сути вопроса.

Чтобы понять, зачем существует интернет, надо поглядеть на то, чем он занят. А занят он в основном тем, что прокачивает сквозь себя порнуху — она составляет по меньшей мере треть трафика.

Этот пульсирующий черный полип, разросшийся над кремниевой инфраструктурой, и был главным оружием Птиц. Он был подобен тяжкому грузу,

который постепенно налипал на мировое блюдо — и необратимо выводил его из баланса, смещая древнее равновесие. Он затягивал в свою воронку Кешу и огромное число его товарищей по несчастью — медленно и непреодолимо, так что предотвратить будущую катастрофу было нельзя уже никакими усилиями грядущих Киклопов.

Братьев по разуму человек встретил давным-давно — вернее, они встретили человека. Но предпочли не слишком показываться ему на глаза. Сперва они держали себя скромно, но потом все изменилось. Кремниевая революция была прибытием в наш мир сначала десанта с чертежами плацдарма, а затем и сил вторжения. Впрочем, об этом еще расскажет один из героев моего повествования.

Но черный кремниевый полип не был единственным бичом Земли. Я тут же увидел и других паразитов, которые облепили многострадальное человечество, показавшееся мне в этот момент чем-то вроде питательной культуры в огромной лабораторной тарелке, где разрослось не меньше ста видов разной плесени. Там ползали крысы, тараканы — и носились летучие мыши.

Это походило на ожившую картину Босха, где каждый элемент был одной из паразитирующих на человеке сущностей. Как в идеальном концлагере, утилизировался всякий человеческий чих, сопля и волос.

Приведу только один пример, чтобы вы поняли, о чем я. Все, наверно, знают о такой неприятной особенности человеческой психики — мы вдруг начинаем испытывать отвращение к какому-то мелкому раздражителю, регулярно вторгающемуся в сферу нашего внимания. Например, к какому-нибудь звуку, который мы назначаем неприятным — лязгу посуды, кашлю за стеной и так далее.

Этот звук может быть очень тихим, даже трудноразличимым по сравнению со всем остальным, что мы слышим. И тем не менее мы со снайперской точностью выделяем его на общем фоне — и тут же испытываем дрожь омерзения. Кроме звука, это может быть запах (например, готовящегося тремя этажами ниже борща), вид родного подъезда, навязчивая мысль о начальнике, что угодно.

Так проявляют себя особые психические насекомые, своего рода ментальные вши, паразитирующие исключительно на человеке. Они создают в нашем сознании эти узелки отвращения к каким-нибудь случайным проявлениям мироздания — а потом, когда мы начинаем выбрасывать в пространство горячие протуберанцы ненависти, слетаются на нас как голодные мухи.

Многие наши современники, по двадцать часов в сутки изображающие продвинутых, счастливых и успешных людей, на самом деле так загнижены этими неприятными сущностями, что еле находят силы выполнять свои обязанности перед паразитами более высоких классов. Вонючие запаршивевшие мужики, сказал бы помещик прошлого — и был бы технически прав.

Забавно, что, за исключением высших нахлебников человечества, большинство кормящихся на нашем разуме мелких сущностей сами таковым не обладают. Тем не менее они могут самым причудливым образом на него влиять. Многие странности нашей жизни, которые люди объясняют особенностями своей культуры, были введены в наш обиход именно для того, чтобы дать кормовую базу какому-нибудь специальному классу примитивных психических существ. Таковы, например, обрезание и пирсинг.

В общем, как всегда: есть хорошая новость и плохая. Хорошая в том, что

человек играет в духовном балансе мира важнейшую и центральную роль. Плохая в том, что эта роль — примерно как у кобылы в монгольской коннице: в юности она служит воинам невестой, потом дает жеребят и молоко, потом на ней долго скачут по делам, затем съедают и делают из ее шкуры юрту.

Вот только лошадь во время своего страшного пути не думает, что, уезжая из холодных степей в Европу, она хитро и немного нечестно обустроивает свою жизнь — а человек на полном серьезе так считает. И еще лошадь не молится Чингисхану.

Но базовая механика Мировой Энергетической Империи уже достаточно подробно описана в соответствующей литературе. Я отсылаю интересующихся к ней. Рассказать обо всех происходящих на Земле ужасах в одной-единственной книге вряд ли возможно, поэтому вернемся к Кеше. Вернее, к его далекому будущему — речь у нас пойдет именно о нем.

Если честно, я боюсь, что меня упрекнут в очернительстве. Поэтому, во избежание недоразумений и разночтений со множеством более канонических откровений, мне придется сказать несколько слов о том, как я видел будущее — и что это вообще такое.

Поезд судьбы

Есть известный анекдот про Моллу Насреддина, выводящего на чистую воду ясновидца-шарлатана. Этот шарлатан без труда рассказывает о происходящем на дне моря, на седьмом небе, в гареме у падишаха Индии и так далее. Но когда Молла задает ему простейший вопрос — «что я прячу в кулаке у себя за спиной?» — шарлатан замирает с открытым ртом и ничего не может сказать.

Логика анекдота понятна. Но дело в том, что этот шарлатан на самом деле мог быть вовсе не шарлатаном, а просто человеком, которого попросили поглядеть в телескоп на собственный пупок. Ясновидение устроено так, что у него есть определенный фокус резкости. Это дырочка в стене, и сквозь нее видно не все-все, а только то, что через нее видно.

И в первую очередь мои слова относятся к способности прозревать будущее — во всяком случае той, что была у меня.

Увы, увидеть собственное будущее я не мог почти никогда — вероятно, его знание несовместимо со свободой воли. Это, в общем, понятно: не знать своего завтра означает по сути, что сегодня ты волен поступать как угодно. Я мог лишь проследить наиболее вероятные последствия своих поступков, и то не всегда.

Применительно к чужому будущему мое ясновидение походило на телескоп, направленный в облачное небо — чаще всего он показывал серую пленку облаков. Но иногда в окуляре мелькало что-то голубое, и сверкало солнце, или можно было увидеть месяц и звезды. Правильнее сказать, это не я видел будущее, а оно в некоторые моменты становилось заметно — как будто в мутной пелене появлялась

прореха. Но в моих видениях было много странного и взаимоисключающего.

И — как ни дико звучат такие слова в устах Киклопа — я понял после долгих наблюдений, что люди практически не могут повлиять на судьбу окружающего нас мира. Я был в этом смысле исключением, потому что видел те редкие точки уязвимости, где влияние было возможным.

У Рэя Брэдбери есть рассказ про охоту на динозавров: охотники отправляются в прошлое на машине времени, отстреливают обреченного ящера за миг до того, как тот утонет в болоте или потоке лавы — и возвращаются назад, практически не нарушив мирового баланса. Но потом один из охотников случайно сходит с подвешенной над джунглями дорожки и наступает на бабочку. Когда путешественники возвращаются в свою эпоху, оказывается, что эта прилипшая к подошве мертвая бабочка так сильно нарушила взаимосвязь мировых событий, что изменились даже правила языка, на котором говорят американцы, и президент у них тоже другой.

Идея очень красивая и понятная. Интуитивно она сразу кажется верной. Но это как раз тот случай, когда интуиция обманывает. Да, конечно, мы посылаем в будущее волны последствий от наших поступков. Все в мире переплетено, и вроде бы мы можем влиять на завтра тем, что мы делаем сегодня. Потому что как же иначе?

Однако мое прямое знание о мире расходилось с этой догмой. Я видел, что люди в огромном большинстве случаев не могут ничего изменить в мироздании. Попытки влиять на реальность методом Рэя Брэдбери не вели ни к каким серьезным переменам в будущем. Мир был эластичен — совершив несколько колебаний, он возвращался к своему генеральному чертежу. Раны зарастали, вмятины

выпрямлялись, ошибки прощались.

Это может показаться странным, но большинство человеческих действий и усилий влияют только на характер белого шума, мерцающего по краям экрана бытия — и никак, ну совсем никак не меняют возникающую на нем картинку. Обо всем этом, как выразился христианский мистик, петух не пропоет.

Проще всего объяснить мирное сосуществование свободной воли и предопределения на примере консольной игры: весь ее сюжет, все катсцены и заключительная анимация уже прописаны на установочном диске. Но Кеша может как угодно упражняться в неполиткорректном насилии на пути от одного чекпойнта до другого — здесь у него полная свобода воли. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы.

Но как же быть с потомством той птички, которая умерла от голода, не съев бабочки... и т. д., и т. п.?

Да никак. Вселенная устроена таким образом, что мелкие флуктуации очень редко способны поменять общий ход вещей.

Дело в том, что история, и космическая, и личная — это не столько тиканье заведенного однажды и накапливающего ошибки хронометра, чей ход зависит от попадающих в его шестеренки бабочек и муравьев, сколько грохот поезда, замеченного сначала в пункте «А», а потом в пункте «Б», помноженный на веру наблюдателя в то, что это один и тот же поезд, увиденный одним и тем же наблюдателем.

Если говорить на бытовом языке, наши жизни состоят из сцепленных друг с другом ситуаций и положений. Была такая песенка из мультфильма: каждому,

каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон... Мир сделан из нас, а мы (я имею в виду наши растянутые во времени судьбы) сделаны из таких вагонов. Пассажир — это как бы моментальное внимание, плывущее из вагона в вагон (если совсем точно, пассажир никуда не плывет — это на него вагон за вагоном накатывается поезд).

Чтобы пассажиры прибывали в пункт своего назначения по расписанию, должна сохраняться связь времен. Следует соблюдать определенные приличия — в мире не должно происходить критических событий, нарушающих расписание. Мир должен двигаться от одного чекпойнта к другому.

Расписание известно заранее, и его не так легко поменять. В истории очень много случайного и неинтересного, неважного — и даже неопределенного, про что вообще никто никогда не узнает, так что нет смысла обсуждать, было оно или нет. Траектории, по которым разлетится салют, маршруты планктона в океане, точное количество сгоревших колосков на подожженном кулаками колхозном поле — чаще всего не играют никакой роли в мироздании. Никаких ужасов из-за этого в отдаленном будущем не произойдет.

Просто потому, что об этом никто никогда не узнает.

Большинство бабочек, да и людей тоже значат на мировых весах не больше, чем неприличное слово, нацарапанное в тамбуре поезда в таком месте, где его никто никогда не увидит.

Именно это «никто не увидит» и является ключевым моментом во всех вопросах, связанных с бабочками и их следами во времени. Отклонения от мирового плана и их следствия чаще всего уходят в ту зону, где у них исчезает наблюдатель —

и самоликвидируются. Это как-то связано, наверно, с той тонкой областью физики, где учитывается роль наблюдающего сознания. Но я здесь не специалист.

Мир не обязан бесконечно продолжать все начавшиеся в нем истории. Главное, чтобы никто из наблюдателей не заметил нестыковки. А для этого стараться обычно не надо. Надо сильно постараться, чтобы кто-то что-то заметил.

Я долго рылся в книгах, пытаюсь найти этому хоть какое-то объяснение, и обнаружил вот какую интересную цитату у физика Дэвида Дойча (он тронул мое сердце тем, что тоже заговорил о бабочке):

«...говорят, что в принципе бабочка, находящаяся в одном полушарии, взмахом своих крылышек может вызвать ураган в другом полушарии. Неспособность дать прогноз погоды и тому подобное приписывают невозможности учесть каждую бабочку на планете. Однако реальные ураганы и реальные бабочки подчиняются не классической механике, а квантовой теории. Неустойчивость, быстро увеличивающая небольшие неточности... просто не является признаком квантово-механических систем. В квантовой механике небольшие отклонения от точно определенного начального состояния стремятся вызвать всего лишь небольшие отклонения от предсказанного конечного состояния...»

Надеюсь, это о том же, о чем говорю я. Ну а если и нет, то очень похоже.

Сперва мне было даже непонятно, зачем в таком самовосстанавливающемся мире нужна каста следящих за порядком Киклопов. Потом я это понял. Опасность для мира представляли только особые критические события — говоря фигурально, ситуации, про которые Гамлет в свое время сказал: «The time is out of joint».

Это обычно переводят как «распалась связь времен», хотя возможны и

растафарические трактовки. Я уже говорил, как верно поэты угадывают суть вещей — вот еще один из таких случаев. Я нужен был именно для предотвращения подобных исключительных событий (они вовсе не обязательно выглядят как-то грандиозно — связь времен может разорвать забытый дома зонтик). Но такие катаклизмы довольно редки.

Вселенная — очень сейсмоустойчивое здание, и связь времен прочна. Никакая бабочка, кроме специально запущенного боевого дрона, не сможет повредить базовую реальность так, чтобы поменять расписание поездов (вернее, расписание пассажиров — разницу я объясню).

Но это может произойти из-за случайных сбоев реальности. Если увидеть зарождение такой нестыковки, реальность можно без труда заштопать — в этом и состоит малоромантичная работа Киклопа.

Но мета— и прочей физикой я себя не грузил, понимая всю ее практическую бесполезность. Это Птицы думали, что я один из творцов, я же работал просто киномехаником, отвечающим за то, чтобы пленка не рвалась. Мировые возмущения и дисбалансы, устранявшиеся мною, были именно угрозами этой гамлетовской связи времен — в масштабах одной региональной, как это ни обидно звучит, проекционной будки.

... o cursed spite

That ever I was born to set it right!

«Ах ты мать твою етить, опять порядок наводить!» — мой вольный перевод

слов Гамлета пропитан личным чувством.

Особенности нашего восприятия заставляют нас видеть поезд собственной жизни как цепь причинно связанных друг с другом переживаний и событий. На самом же деле все вагоны есть сразу — поэтому иногда мы можем видеть будущее. По своей сути вагоны — просто разные кадры уже снятого фильма, между которыми мелькает черная гармошка перехода.

Но мы не всегда переходим из вагона в вагон. Иногда мы переходим из поезда в поезд.

То, чему я посвящу несколько следующих страниц, может показаться кому-то общим местом. Это повторялось в разных формах множеством физиков, лириков и мистиков с древних времен до наших дней — перечислить их всех не хватило бы и страницы (первым, если не ошибаюсь, был Чжуан-цзы). Но прояснить некоторые запутанные моменты не помешает — а у моего рассказа появится хоть какая-то теоретическая база.

Сегодняшние физики (во всяком случае, некоторые) верят в существование бесконечного множества параллельных вселенных. Все вместе они образуют «мультиверс». Это не просто вера. Существование мультиверса доказано физическими опытами, например — с теньвыми фотонами (желающий легко найдет их описание в Сети).

Параллельные вселенные практически не взаимодействуют друг с другом в обычном смысле. Их бесчисленно много, потому что любая окружена своими параллельными вселенными, и так без конца. Из этой множественности следует, что среди вселенных будут отличающиеся от нашей лишь чуть-чуть — и совсем на нас не похожие.

Каждый вагон в поезде судьбы соединен не только с предыдущим и следующим. Он связан и с бесчисленными теньвыми вагонами других поездов, едущих по другим вселенным.

Все эти вагоны и поезда не зависят ни от нас, ни друг от друга. Они уже есть изначально. Их бесконечно много, и они не мешают друг другу — мир, по которому

путешествует Чжуан-цзы, не имеет никакого отношения к бабочкам, летающим в голове у Рэя Брэдбери.

Пространство возможного как бы заполнено постоянно отходящими в бесконечное число разных адресов поездами. Я говорю не про маршруты космических частиц, лучей и прочих физических абстракций, а про возможные траектории того, что мы называем собой. Нет смысла спорить, реальны они или нет. Для нас все поезда судьбы нереальны — до того момента, пока мы не поедem на одном из них лично, поскольку реальность это и есть мы сами.

Мир устроен таким образом, что иногда пассажиры могут не только переходить из вагона в вагон в поезде своей судьбы, но и пересаживаться с поезда на поезд. Им не надо быть для этого каскадерами — просто, проходя через самый обычный тамбур, они покидают одну вселенную и оказываются в другой.

Сложно объяснить механизм такого путешествия — потому что никакого механизма тут нет. Мы не можем перенестись на ракете из одной параллельной вселенной в другую. Но мы можем... ею стать. Это достигается просто — мы перестаем воспринимать прошлую вселенную и начинаем воспринимать новую, обычно очень близкую к нашей.

Как это происходит? Здесь я могу разве что высказать одно научнообразное предположение — и прошу физиков не сердиться.

Известно, что квантовые системы зависят от наблюдателя. Чтобы казнить или помиловать кота, про которого известно, что он жив с пятидесятипроцентной вероятностью, нужно открыть дверцу ящика, куда его запихнул садист Шредингер. Говорят даже, что свойство, обнаруженное при измерении, могло не существовать

прежде.

А если вспомнить, что мера всех вещей — и, значит, главный измерительный прибор — это сам человек, можно смутно догадаться, каким образом каждая из измерительных линеек находит в изначальной безмерности подходящий для себя отрезок. Линейка просто меряет вселенную собой — и получает соответствующий мир. Изменится линейка — изменится и вселенная. Не знаю, как здесь с теоретическим обоснованием, но на интуитивном уровне мы все хорошо это чувствуем.

Строго говоря, это приключение происходит не с «нами». Оно происходит со вселенной и сознанием. Но для простоты можно считать, что сознание, жившее во вселенной номер один, прекращается, а вместо него возникает сознание, живущее во вселенной номер два — как один факел зажигают от гаснущего другого. Это новое сознание помнит не свое прошлое во вселенной номер один, а свое прошлое во вселенной номер два, которое было чуть другим. Поэтому никто не замечает такого перехода. Его по сути нет — потому что никакой материи, энергии и даже информации во вселенной номер два не появилось (если не считать наших снов, но они не входят ни в один бухгалтерский баланс мироздания — а, наоборот, служат как бы буфером между мирами). Не изменилось вообще ничего.

Кроме самого главного. Вчера мы были лиловым негром, а сегодня стали дамой, которой подают мантию. Дама при этом не помнит про свое негротянское прошлое. Она всегда была дамой.

Когда бабочка сделалась мудрецом по имени Чжуан-цзы, тот проснулся в уверенности, что и раньше был китайским мудрецом — которому просто

пришлось, будто он на время стал порхающей между цветами бабочкой. После этого Чжуан-цзы прожил долгую и счастливую жизнь.

Вот древнейшее и кратчайшее изложение этого принципа, который иногда называют «критическим солипсизмом». Здесь содержится все самое существенное, включая даже то, что единственный информационный регистр, связывающий разные точки мультиверса в памяти — это сны.

Каждый раз, когда мы просыпаемся в другом поезде, мы помним не себя прежнего, а себя нового. Поэтому наша настоящая жизнь — совсем не то, что мы за нее принимаем. У некоторых из нас за спиной осталось много невообразимых, часто очень жутких, маршрутов — о них и дают представление наши кошмары.

Когда мы вглядываемся в окружающий нас мир с его космосом и историей, когда мы вспоминаем свою жизнь, мы видим не собственное прошлое, а только геометрию той ступеньки, на которой стоит в этот момент наша нога. Завтра мы будем помнить уже совсем другое прошлое, потому что будем стоять на другой ступени. Лестница бесконечна.

Не спрашивайте меня, как соотносится работа Киклопа с многомерностью мира — и чем заняты Киклопы в параллельных мирах. Мое ясновидение имеет границы. Но я подозреваю, что Киклоп — это просто стационарный смотритель, следящий за тем, чтобы пассажиры, путешествующие между мирами, спокойно проезжали через эту вселенную и делали требуемые пересадки без головной боли.

Кто остается в прошлой вселенной вместо нас? Я думаю, что правильный ответ на этот вопрос звучит так — прошлая вселенная становится для нас тенью. А что там происходит с кем-то другим, пусть он сам и выясняет, когда ему дадут на это

грант.

В таком путешествии нет путешествующего, а есть только маршрут. Реальность каждого шага как бы опирается на нового странника, и всякий из них окружен своим космосом с далекими планетами, на пыльных тропинках которых уже успели наследить местные поэты-песенники.

Поэтому вопрос «что будет в Москве через двести сорок лет» имеет смысл лишь применительно к каждому отдельному будущему москвичу: городов с таким названием будет столько же, сколько будет разных умов, собирающихся вернуться сюда рикошетом через два столетия.

А их, как ни странно, особенно много среди тех, кто не любит этот город. Я вообще заметил — кипучая ненависть к «рашке» — верное свидетельство, что у человека впереди еще много-много хмурых и неустроенных российских жизней, обычно на самом социальном дне, и ни в цитрусовом Средиземноморье, ни среди горячих эстонских парней от этого не спастись: все сбудется в точном соответствии с вокзальным анекдотом про зацепившиеся в другом городе подтяжки.

Версий грядущего неисчислимо много — и все они существуют независимо, хотя некоторые параллельные вселенные очень похожи друг на друга (даже рай и ад, куда направляются люди — это чаще всего просто тюнинг и доводка уже знакомой им базовой реальности). Наша свобода воли состоит в том, что у нас нет никакого заранее предопределенного и окончательного маршрута. Но у любого из поездов, на которых мы едем в данный момент, такой маршрут существует. И он железно ясен. Поезд «Москва-Петушки» никогда не прибудет в Лондон, туда может приехать только добрая память о Венечке.

По каждому из маршрутов мчится свой поезд реальности, везущий одну из наших теневых проекций. Вопрос заключается в том, на каком из поездов окажемся мы сами. Я говорю об этом для того, чтобы объяснить, почему нет смысла спрашивать, каким будет мир через сто, двести или триста лет. Всегда надо переспрашивать: для кого именно? Для какой из бесчисленных линий его развития, проходящих сквозь разные умы?

Комната смеха

Мы уже почти закончили с теорией — осталось два слова для самых стойких (можно пропустить их, перейдя сразу к следующей главе). Я постараюсь объяснить, почему возможные ошибки и неточности в моих рассуждениях — если они есть — ничего на самом деле не меняют.

Своя вселенная есть у креакла, своя у ватника, своя — у математика-педофила, прикованного к России-матушке ненавистью такой силы, что соседи содрогаются от издаваемых им за стеной звуков и вызывают в испуге милицию, своя — у затаившегося за другой стеной некрофила, все еще полагающего, будто его спасет тишина. У всех свои индивидуальные маршруты. И миры, по которым эти маршруты проходят, разные.

Строго говоря, у наших умов нет никакого общего будущего (если допустить, что наше отдаленное эхо — по-прежнему «мы»). Тем не менее всякий из нас способен унести с собой копии всех встреченных и воспроизвести их в новом мире.

Как такое может быть? Ведь получается, что в каждом случае возникает целая отдельная вселенная со своей историей. Не слишком ли жирно — отправлять семь миллиардов статистов улаживать каждого отдельного гражданина?

Это, конечно, звучит неправдоподобно. Но информированные люди говорят: то, что мы принимаем за себя и других — это множественные отражения изначального ума в некой комнате смеха, и сколько есть на земле людей, столько таких комнат. В каждой из них кривые зеркала отражают друг друга — но сами по себе все комнаты безлюдны, хотя посетителю и кажется, что вокруг уйма народа. Это не совсем

обычная комната смеха: посетитель в ней не особо отличается от отражений. А вся человеческая наука — это аналитическая геометрия падения и отражения лучей в том специально выделенном углу, где измерения разрешены администрацией.

Если мы попытаемся записать формулу индивидуальной судьбы (или личной комнаты смеха), она будет выглядеть примерно так:

$$(X \times 0 + X_1 \times 0 + X_2 \times 0 + X_3 \times 0 \dots) \times 0 = 0$$

X — это то, что мы принимаем за себя, а X_1 , X_2 и так далее — те, кого французские философы называют «другими». Формула всей суммы индивидуальных миров, из которых состоит реальность, будет выглядеть так:

$$(X_\Sigma \times 0 + Y_\Sigma \times 0 + Z_\Sigma \times 0 \dots) \times 0 = 0$$

Можно, наверно, нарисовать и дальнейшие уравнения, и немало. Но на самом деле совершенно неважно, что будет происходить внутри скобок, как икс связан с игреком и сколько там разных пузатых членов — потому что все комнаты смеха помножены на ноль. И весь наш нанопузырек тоже. Увы, друзья, увы.

Именно поэтому поезда могут как угодно давить бабочек, и наоборот. Даже если связь времен порвется, ничего страшного не произойдет. Эту тайну не узнает никто за пределами скобок, заранее и избыточно умноженных на ноль.

Нас пытаются успокоить, нашептывая, что мы вовсе не X и не Y , а как раз ноль, на который все умножено. А с нулем плохого не случается. И хорошего тоже. С ним

вообще ничего и никогда не может произойти.

Мало того, перерождается и путешествует по мирам именно ноль (поэтому никакого путешественника с точки зрения физики просто нет — отчего путешествие и делается возможным). Ноль одинаков в любой точке мультиверса, в любом моменте прошлого и будущего. Это и есть та самая нуль-транспортировка, о которой столько говорили шестидесятники, не понимая до конца, в чем дело.

Что ж, может кому-то вся эта мудрость и поможет. А я удовлетворюсь тем, что разложил свой сомнительный теоретический многочлен — и могу теперь продолжить повествование.

По направлению к Кеше

Так что же именно я видел, вглядываясь в будущее?

Думаю, из моего отступления понятно, как непросто это определить — легче рассказать. Та обширная и устойчивая реальность, где я обнаружил Кешин след (или его новую инкарнацию, хотя мне не особо нравится это слово), была, видимо, одной из далеких станций, к которой мчался увозящий его поезд судьбы. Но это вовсе не значило, что Кеша обязан был приехать в увиденное мною будущее. Он просто ехал туда в настоящий момент.

Я не мог просматривать любую из его будущих жизней. Это скорее напоминало настройку приемника: крутишь колесико — и слышишь треск помех, а потом шипение в динамике вдруг сменяется голосом или музыкой.

Узлы, где становилось видно что-то осмысленное, повторялись через серьезные интервалы времени. Глядеть на большинство из них было нелегко — это требовало постоянного напряжения, потому что мое внимание выходило из фокуса. Но один такой узел я видел значительно лучше других. Туда мой взгляд соскальзывал сам, и я мог подолгу следить за разворачивающимися там событиями.

Чаще всего эта станция будущего становилась мне видна, когда я скучал в своем фальшивом офисе. Бывали дни, и даже недели, когда мир надолго приходил в равновесие, и в нем не происходило никаких сбоев, требующих моего вмешательства. Тогда я мог успокоить свой ум, а потом сдвинуть надлежащим образом фокус внимания.

Я как бы вглядывался в мерцание над горизонтом настоящего и различал

картины, совершенно не похожие на то, что окружало меня в действительности — но при этом осмысленные и связанные между собой. Они складывались в длинную историю, которую я понемногу записывал. Возможно, мне было проще наблюдать именно за Кешей потому, что его рабочее место находилось прямо подо мной. Я хорошо его чувствовал.

Скажу сразу, Кешиной смерти от взрыва я не видел, как не видел почти никаких деталей его будущего в этой жизни — возможно, из-за того, что наши судьбы были связаны. Точно так же, как разоблаченный Моллой Насреддином аферист, я гораздо лучше замечал далекое, чем близкое. Но я уже различал эхо Кешиной гибели — хоть и не понимал этого.

Кешина «инкарнация», которую я опишу во всех подробностях, состояла, в сущности, из искаженных и раздутых повторений его умственных привычек. Иногда они отражались в кривых зеркалах будущего довольно смешным образом. Но чаще мне было страшно.

Когда я впервые различил ту Москву, куда прибудет Кешино эхо, мне показалось, что я вижу перед собой огромную свалку. Это были какие-то закопченные руины, заваленные горами мусора — словно сюда много столетий выносил сор Мировой океан. По поверхности свалки ползала разная помоечная фауна, но трудно было поверить, что тут живут люди.

Я их и не обнаружил. А потом я заметил какие-то мощные, похожие на опоры циклопического моста, конструкции — они возвышались среди переносимого ветром мусора, и от них вверх уходили толстые черные тросы. Очень далеко вверх — и исчезали в облаках. По одному из тросов ползла ржавая бусина лифта. Я позволил

своему вниманию скользнуть вслед за ней вверх — и нашел в высоте нового Кешу.

Мой подробный отчет о дальнейшей судьбе его ума представлен в повести «FUCK THE SYSTEM», которая следует ниже. Все там — чистая правда. Но это не значит, что Москва через сто, двести или триста лет будет именно такой. Я уже объяснил, почему это личное будущее одного только Кеши, и то возможное, а не принудительное. Многократно ксерокопированный смертями и рождениями ум другого человека вовсе не обязательно окажется в близком по устройству пространстве.

Но вероятность, если честно, весьма велика. Именно по этой причине я и посвятил столько страниц Кешиной судьбе: он, что называется, репрезентативен. В одну сторону с ним на своих поездах летит очень много граждан — кучно, как очередь из пулемета. И мне кажется, что будет полезно описать ту станцию, куда им предстоит однажды прибыть.

Часть 4. Fuck the system

Кластер 23444–2Ж

Кеша понял, что спит, когда увидел кластер 23444–2Ж. Или (если Анонимус прав) все было в точности наоборот — он увидел кластер 23444–2Ж, когда понял, что спит.

Разница могла показаться ничтожной, но Анонимус утверждал, что дело именно в ней. По его словам, эта панорама настигала всех, выходящих в осознанное сновидение дикими туристами. Вид висящего среди облаков кластера был принудительным роликом, которым система блокировала возможность самостоятельного путешествия в фазе LUCID. Нечто вроде грандиозной росписи на тюремном заборе. Причем фреска изображала не что иное, как саму тюрьму.

Тонко. И экономно.

Анонимус, конечно, профессиональный конспиролог и способен увидеть мажор даже там, где его нет — но подобное решение выглядело таким изящным и поэтичным, что вполне могло быть правдой.

Вот только кластер 23444–2Ж не тюрьма. А просто жилой блок, где живут на вэлфере последние русские кряклы. Живут, надо признать, средне. Но американские, европейские, бразильские и китайские люмпен-консумеры влечут свои дни в точно таких же условиях... Единственная разница в том, что вэлферные русские потребители называют себя «кряклами» — и очень обижаются, когда их так называет кто-то другой. Как со словом «ниггер» у черных, подумал Кеша.

Кластер 23444–2Ж был некрасив. Он походил на огромную многоэтажную инсталляцию из ободранных пивных банок, грязных воздушных шаров, заплатанных

скворечников и посеревших от времени молочных пакетов: так выглядели индивидуальные жилые блоки, изготовленные в разное время и прилепленные к общей антигравитационной базе. Сама база давно уже была неразличима под густыми наростами жилых модулей — видны были только мощные тросы лифтов, уходящие вниз в облака.

Говорящие головы с фейстопа — разумеется, радикально-левых взглядов, других Кеша не слушал, — сравнивали вэлфер-кластеры с кишечником Вавилонской башни, вывернутым наружу. Еще сравнивали с проказой, выросшей на теле человечества — и спрятанной от взора за тучами. С перевернутыми гроздьями гниющего винограда (на взгляд Кеши это было очень точным визуально). Еще уподобляли кошмару монаха Кампанеллы, придумавшего когда-то город Солнца. И слово «кошмар» здесь подходило сразу во многих смыслах.

Хотя бы потому, что увидеть кластер 23444–2Ж так, как сейчас, Кеша мог только во сне: в реальности он не смог бы висеть в небесной высоте, созерцая родной дом. Замерз бы до смерти. И потерял сознание от недостатка кислорода. Поэтому сам факт того, что Кеша был жив, доказывал: он спит.

Еще кластер походил на заоблачное гетто. На фантастическую помойку среди облаков, какую мог бы нарисовать генетический гибрид Босха и Дали. Кластер, собственно, и являлся помойкой — свалкой отходов человеческой жизнедеятельности, самой токсичной частью которых были сами люди.

Нас выкинули в небо как мусор, думал Кеша. При высотах больше пяти километров не надо платить аренду за землю — а только за крепление тросов, по которым лифты поднимают карбопротеиновые смеси и спускают отработавшее

оборудование («Ж» — и есть маркировка места, где прицеплены тросы, какое-то «Жулебино»). Воду фильтруют прямо здесь. А жизненные впечатления... Вот насчет них довольно сложно сказать, где и кто их производит. Если в мозг поступают только электрические импульсы, значит, впечатления производит сам мозг. Так это и было всю историю — просто сейчас чуть изменился интерфейс.

Наше заоблачное гетто почти ничего не стоит остальному человечеству, думал Кеша. И, самое главное, мы живем здесь добровольно. Свободно. Люди столько веков боролись за свою свободу и достоинство — и, говорят, победили. Значит, именно к этому заоблачному раю они и восходили последние десять тысяч лет?

Когда Кешу посещали мысли про СВОБОДУ, он всегда вспоминал свое имя — единственное наследство от неведомой мамочки. Она назвала его «Che» в честь какого-то борца за вашу и нашу, прославившегося в двадцатом веке. Судя по фоткам, это был модный парень в берете со звездочкой, из-под которого падал на плечи длинный психоделический хайр. Против чего этот «Che» боролся, Кеша так и не смог толком понять, хотя посмотрел про него два исторических фильма. С тех пор прошло слишком много времени, чтобы можно было отличить скисшее добро от выдохшегося зла.

Понял Кеша только одно — его официальное имя читалось на самом деле как «Че». Но при локализации сертификата о рождении система превратила его в «Ке». Зато к этому «Ке» в русском языке нашлось ласковое уменьшительное — «Кеша», от иезуитского имени «Иннокентий». Вот так система ловит нас за революционный хайр и возвращает в лоно родной культуры, заботясь о сохранении нашей идентичности даже на высоте в пять километров...

Часть кластера затянуло серым холодным облаком. Оно походило на дым — словно где-то в недрах небесной помойки начался пожар.

Как только Кеша подумал об этом, он сразу стал замечать обгорелые модули, уничтоженные терровирусом. Их было много. Больше, чем в прошлый раз, когда Кеша любовался панорамой родного кластера. И больше всего — двухместных семейных, вроде того, в котором жил он сам: вирус, поразивший одного из партнеров, никогда не оставлял в живых другого. Интересно, кстати — компьютерные вирусы стали наконец оправдывать свое название. Они сегодня убивают как HIV и Эбола в прошлом...

Модули сжег, конечно, не сам вирус — после теракта их подвергали термообработке, чтобы кремировать погибших заодно с пораженной электронной начинкой. Своего рода огненное погребение на дому — мой дом сегодня не только моя крепость, но и мой крематорий. Дешевле, чем транспортировать вниз трупы. Модули полагалось отсоединять и спускать вниз для рециклирования, но утилизация обычно опаздывала на месяц или два, отчего усеянный обгорелыми боксами кластер казался потрепанным небесным дредноутом, вернувшимся из боя с силами тьмы. Ну или наоборот.

Вот зачем они это делают, думал Кеша. Зачем пишут убивающие нас вирусы? Разве мы не умрем все без исключения и так? Если они уважают Аллаха, зачем они ускоряют его скрипты? Говорят, нет ничего страшнее смерти от вирусного теракта. Человека посещают жутчайшие видения. Он даже не понимает, что стал жертвой покушения. Терровирус бьет в самое незащищенное место. В фейстоп. А это фактически открытый мозг...

Кеша увидел несколько выжженных дочерна двухместных модулей, соединенных друг с другом. Сгорела, можно сказать, целая улица. Или переулок? Модули были двухместные — овальные в сечении, похожие на древние футляры от очков. В таком же точно модуле Кеша жил с супружницей и сам. Но где именно его модуль, он совершенно не представлял. Такой информации система не давала. Его домом мог быть, например, вон тот ободранный цилиндр с краю — на своем веку уже раз пять побывавший гробом и крематорием. А мог быть вон тот, поновее...

Возле одного из двухместных модулей суетились сервоботы — подсоединяли к нему транспортный пенал. То ли кто-то разводится, то ли, наоборот, женится... Возможно, и то и другое вместе. А может, медицинская операция или роды... Скорей всего, роды. В двухместный репродукционный модуль помещают тех, кто согласен рожать детей... Люди сейчас хитрые, думал Кеша. Мы с Мэрилин тоже вроде согласны на детей, живем в двухместном семейном. Полный вэлфер, никаких налогов. А детей нет. И вопросов тоже. Мэрилин просто сокровище...

Кстати, панорама хоть в реальном времени? С живой внешней камеры? Или это такая же симуляция как все остальное? Может, кластер на самом деле выглядит как-то иначе... Впрочем, с этим надо к Анонимусу. Он расскажет.

Кеша нахмурился и стал вспоминать, почему он вывалился в фазу LUCID раньше времени. Кажется, он перед этим смотрел какой-то REM-сериал. Да, точно, «Революцию». И там в очередной раз показали такую чушь, что невозможно было не проснуться. Что там было-то... Как всегда, последняя битва со злом. Горящие крыши («MICHELIN! The Smell of Freedom!»). Диктатор, прячущийся внутри собственной статуи — бронзового колосса с простертой вперед рукой. В голове

статуи, понятно, тайная комната, где диктатор одновременно встречается с любовницами и отдает распоряжения охранке. Статую валит восставший народ, и голые наложницы тирана прыгают навстречу верной смерти прямо из бронзового уха...

Но это было еще ничего. А потом прямо на небе вывесили поп-ап с рекламой Яна Гузки: надпись «а он мятежный ищет фурри...» и профиль философа. Вот тут Кеша (он в это время вместе со всеми тянул за веревку) не выдержал и соскочил. И много других русскоязычных зрителей наверняка соскочило вместе с ним, так что на кластер 23444–2Ж сейчас паялился из небесной пустоты не он один.

Диктатор в голове диктатора. Ага, спасибо. Драматизм, чтоб вы знали, работает только тогда, когда зритель забывает, что смотрит драму. Когда он об этом вспоминает, остается одна тошнота. Какие же бездари пишут скрипты для дриммуви... Да и для всей реальности тоже. Хотя кое-что приятное в жизни есть, чего уж там.

В этой фазе сна можно было думать что угодно, не опасаясь случайно расширить свои мысли, и Кеша пользовался последними минутами тайной свободы на все сто, бесстыдно распрямляя и растопырявая свой стиснутый темными тайнами ум — так, как никогда не делал наяву.

А потом панорама кластера исчезла. Стало темно, и во тьме перед Кешей зажглась оранжевая звезда.

Реальность наконец догнала. Начиналась общая фаза LUCID — новости, встречи, социальная жизнь. Но Кеша сегодня не хотел ни с кем общаться. Он чуть напряг веки и отправился из сна в явь. Домой, на фейстоп.

Несколько секунд после пробуждения, когда ночные ориентиры были уже потеряны, а дневные еще не найдены, ум представлялся Кеше чем-то плоским и синим, как бы горизонтальным диском, висящим в неведомой среде. Что это за среда — жидкая, газообразная или вообще никакая, — говорить не имело смысла: там уже не было восприятия, способного заметить окружающее и составить о нем мнение. Так, во всяком случае, говорил системный психотерапевт, с которым Кеша делился многим (но не всем). И эта непостижимость внешнего казалось чудом и тайной.

Была, впрочем, и другая школа мысли, считавшая еще большим чудом и тайной непостижимость внутреннего — способность литрового человеческого мозга разворачивать у себя внутри бесконечное пространство со звездами и галактиками, как бы пряча огромную матрешку внутри маленькой (так говорил, цитируя кого-то из великих, тот же самый психотерапевт).

Но Кеша в таинство с матрешками не верил, хотя это сравнение часто приходило ему в голову по другим поводам. Он подозревал в нем шулерский обман чувств и даже что-то в высшей степени греховное. Для последнего заключения у него были личные причины.

Кеша в принципе мог разъяснить раз и навсегда все эти загадки и метафоры, проведя пару часов в библиотеке у Борхеса. Но как только фейстоп разворачивался перед ним в своей привычной полноте, ощущение чуда и тайны проходило и никаких вопросов уже не оставалось. Поэтому к Борхесу идти было незачем. Так же

случилось и сегодня.

Синий диск ума вдохнул воздух реальности и превратился в прозрачную линзу. Линза стала огромной как небо. А под небом, как это и положено, появилась земля.

Кеша увидел мощенную булыжником площадь в старом итальянском городке. К ней поднималось несколько кривых улиц. Кеша не помнил, как называется этот город — и не стремился вспомнить. Он знал только, что все воспроизведено абсолютно достоверно. Кирпичные дома вокруг фонтана с амурами построены аж в пятнадцатом веке, а каменная арка над одним из переулков вообще стоит здесь с античности.

В крышу дома рядом с аркой была вмурована даже еще более древняя каменная стелла — с барельефом, изображающим бога с птичьей головой. Наверно, в римские времена привезли из Египта. Может, в этом доме раньше заседали масоны — Анонимус говорил, они любят все старое и таинственное. Птицеголовый бог царил над площадью: рассвет начинался с того, что на его клюве появлялась полоска розового солнца.

Средиземноморская эклектика только добавляла площади очарования. В ней чудилось что-то уменьшительно-ласкательное: ее центр находился точно на вершине холма, и она была выпуклой, будто полюс крохотного земного шара. Одно из мест, где снимали кинокомедии про мафию и любовь...

Лица, иконы и якоря фейстопа уже выходили из прилегающих улиц и занимали свои места на площади — Ксю Баба, Борхес со своим фолиантом, Мутабор со своей кистью, Мэрилин, Анонимус, Игрок и прочие. Никто из них не говорил друг с другом — все внимательно и даже искательно глядели на хозяина, ожидая команды.

Причудливо одетые, непохожие друг на друга, они казались замершей на плацу репетицией итальянского карнавала, на которую вдруг пожаловал сам Дуче.

Но Дуче пока что молчал.

Итальянская площадь входила в набор стандартных обоев. Кешин фейстоп был весьма среднестатистичен — таких, практически неотличимых друг от друга, существовало очень много. Впрочем, Ксю Баба в последней трансмиссии говорила, что каждый фейстоп уникален, поскольку главным из его лиц является сам пользователь: хоть Кеша себя и не видит, он в сущности такая же анимированная икона, только единственная в мире — второй подобной нет нигде.

Кеша почти понимал ее слова.

Фейстоп — это было то же самое, что ум. Ум — то же, что фейстоп. Итальянская площадь была обоями ума-фейстопа, а сам Кеша — его хозяином, жильцом и рисунком на обоях (если не тараканом, думал иногда Кеша). И теперь он загружался вместе с приложениями, постепенно впуская в себя реальность и становясь ею.

Последние подгружающиеся приложения, словно опаздывающие на работу клерки, торопливо выбегали из переулков и становились на свои места вокруг фонтана.

Но главное из всех лиц фейстопа Кеше предстояло создать самому. Он делал это заново каждый день.

Не сам, конечно. Вместе с системой.

По небу над площадью пролетел веселый синий самолетик. Он волочил за собой длинный тэг:

BE WHAT YOU TRULY ARE LITTLE SISTER NOW ON THE WATCH TO HELP![\[7\]](#)

Чуть ниже в небе загорелся красный шрифт:

ENTER SETUP MODE

Кеша кивнул красной строчке. Он ненавидел эту анимацию, потому что она отнимала по минуте у каждого его дня. Но делать было нечего — запускать сестричку в ручном режиме было его личным выбором. Поэтому и приходилось всякий раз смотреть этот глупый ролик.

Кеша знал, что в физическом пространстве над его головой нет никакого самолетика — это просто ментальный мультфильм, транслируемый со вживленных в мозг электродов прямо в его синапсы и косинусы, или куда там еще. Но выглядело все настолько реально, насколько что-то вообще бывает реальным. Большой разницы между этим самолетиком, итальянской площадью и собственным пупком не было. Да и небольшой тоже.

Самолетик скрылся за древними крышами, но за миг до этого из кабины выпрыгнула крохотная фигурка, напомнив Кеше пикирующих наложниц из дрим-муви. Фигурке, однако, повезло больше — над ней раскрылся парашют. Его быстро понесло ветром прямо в сторону Кешы. Пока Little Sister приближалась, Кеша вспоминал, какая она сегодня будет. Это, может быть, звучало не совсем правильно,

но в точности отражало реальность.

Она казалась пока тенью — но воскресала в Кешиной памяти и как бы воплощалась, словно он был богом-творцом. Он притягивал ее своим воображением, предчувствуя ее лодыжки, вспоминая колени и измышляя щеки... Когда сестричка наконец приземлилась у фонтана, отстегнула свой парашют и отдала его ветру, Кеша уже практически завершил свой демиургический акт.

Она была одета японской школьницей — в белую матроску, синюю короткую юбку и традиционные белые гетры с пресыщенным плейбоевским зайцем. Волосы на ее голове, перехваченные красными резинками, разлетались в два иссиня-черных хвоста. Она была тонка, юна и безумно красива — той особой невыносимой красотой, которая, как подмечал не один русский классик, редко бывает доступной легально.

Кеша откуда-то знал, что в старину японские школьницы одевались именно так. Его воображение с удовольствием переносилось в эту двусмысленную культурную среду — и пользовалось историческим наследием в полном объеме. Возраст своего фетиша он на всякий случай не уточнял.

Но затем метафора разворачивалась еще дальше, становясь и вовсе неуправляемой. В Little Sister всегда что-то намекало на недавнее насилие и abuse. То темные круги под глазами, то царапина на щеке, то синяки на запястьях — немного, но вполне достаточно, чтобы послать Кеше дополнительную наживку, которую он, к своему собственному ужасу, послушно заглатывал (он уже давно перестал думать о сестричке как о своей проекции, наделив ее всеми свойствами реального существа).

Сверкнув черным глазом в сторону Кеши, сестричка присела на ограждение фонтана и уставилась на вывеску пиццерии. Сестричка дулась. И для этого у нее, конечно, были все основания. Один белый гетр на ее ноге сполз до щиколотки, так, что плейбоевский заяц превратился просто в черную кляксу. На лодыжке краснела свежайшая длинная царапина.

Несколько секунд Кеша любовался своим бесплотным творением.

Он никогда не ошибался ни с одной деталью, проявляя чудеса визуализационной точности — как древние созерцатели, ежесекундно рисовавшие свое божество в уме до тех пор, пока оно не становилось для них так же реально, как посуда и мебель. Сестричку, впрочем, достаточно было создать один раз с утра, и ее хватало на день.

Кеша однажды наткнулся где-то на четверостишие, где была описана вся его сокровенная технология:

В тот день всю тебя от гребенок до ног,
как трагик в провинции драму шекспирову,
носил я с собою и знал назубок,
шатался по городу и репетировал...

Непонятно даже, как это Пастернак мог сочинить такое в дотехнологическую эпоху... Провидец.

Little Sister была Кешиным проклятием и секретом. Она как бы говорила каждое утро — «у тебя есть мрачная тайна, Ке. Тайна, которую ты боишься случайно

расшэрить. А я про нее знаю...»

На самом деле, конечно, Little Sister ничего не знала — хоть и была этой тайной сама. Она и не могла ничего знать, потому что (с технической, во всяком случае, стороны — Кеша изучил вопрос подробно) являлась просто папкой, где были собраны Кешины предпочтения в сфере влечения.

Функционально она служила так называемым «помощником» — стандартным для фэйстопа приложением, «помогающим пользоваться другими приложениями». Кроме того, она зачитывала сообщения и объявления, которые система (цукербрины, операционная оболочка и все прочее) хотела донести до пользователя (такое случалось, может быть, пару раз в неделю — и всякий раз, когда сестричка брала на себя двусмысленную роль рупора властей, Кеша испытывал озноб).

Из-за этой функции глашатая склонные к конспирологическому видению мира пользователи оформляли своих помощников в виде демонов, грифонов с красными глазами или разлагающихся зомби. Система не возражала. Система не возражала даже тогда, когда сестричку превращали в неясный тройной огонь, как бы сияние цукербринов, которое при каждом взгляде пользователя холуйски прижималось к полу и спрашивало «чего изволите?». Кешин вариант на этом фоне казался вполне пристойным.

Кеша вполне представлял себе происхождение Little Sister и ее эволюцию. Всего двести или триста лет назад она была нарисованной скрепкой с грустными и мудрыми семитскими глазами. Или желтой собачкой, потешно вертящей хвостом. В прогретых доисторическим солнцем болотах Microsoft Windows, где когда-то зародилась эта разновидность жизни, царил удивительное разнообразие смешных и

добрых форм...

Считалось, что вид помощника отражает индивидуальность хозяина фейстопа. И это, конечно, было так. Little Sister, безупречнейшее зеркало души и ума, могла указать внимательному наблюдателю на Кешин тайный грех. Именно поэтому он держал ее только в оперативной памяти — и не шэрил ее внешнего вида ни с кем.

Это было несложно. Мода на конкурсы «лучший помощник» прошла, да и ходить друг к другу на фейстоп люди тоже почти перестали. Правда, каждое утро на Кешин фейстоп прибывала его супруга Мэрилин. Но она не отличалась любознательностью: ее аватарка была функционально слепой. Кеша ценил эту деликатность и отвечал супруге тем же.

Мэрилин такая Мэрилин.

Она стояла на своем обычном месте, в первом ряду между Мутабором и Ксю Бабой. На ней было обычное белое платье, которое она, как всегда по утрам, прижимала ладонями к коленям, борясь с бесстыдно задирающим его виртуальным сквозняком. На ее лице застыла холодная гримаса — однако в воздухе над ее головой призывно горело рубиновое сердце, вокруг которого летали два голубка.

«Однако что это с Мэрилин, — подумал Кеша. — Каждое утро теперь...»

Социальная партнерша хотела — или, во всяком случае, была бы совсем не против, — чтобы он исполнил свой супружеский долг. Ее пыл не угасал вот уже пять лет. Наоборот, только разгорался с каждым днем. Но Кеша не возражал.

Когда над головой Мэрилин появлялось рубиновое сердце и два порхающих вокруг голубка, остальные приложения почтительно уступали первенство, как бы чуть съеживаясь и отползая в зеленоватый туман, которым на несколько секунд затягивало площадь. Рубиновый огонь светил сквозь все слои контента так ярко, что его невозможно было не заметить, где бы ни моталось в это время внимание — хоть на линии Зигфрида, хоть на далеких экзопланетах, хоть в первом ряду идущей на Дария македонской фаланги.

Сердце требовало ответа. Причем кивать ему следовало сразу, иначе оно могло затаить обиду.

Перед тем как откликнуться на зов любви, Кеша встретился взглядом с сестричкой — и они одновременно отвели глаза. Сестричка чуть покраснела. Кеша только вздохнул. Он не видел своего лица, но был уверен, что покраснел тоже.

Вообще-то, если вдуматься, оба раза на самом деле покраснел он — и за нее, и за себя. Но в такие тонкости пусть вникает судебный исполнитель. Если, не дай цукербрины, до такого дойдет...

Кеша решительно кивнул супруге.

Площадь вокруг Мэрилин расплылась. Впереди на миг возникло что-то вроде туннеля из размазанных звезд, словно Кеша со скоростью света летел к своей суженой сквозь Вселенную (самый писк моды — ретро-анимации из «Star Wars» и «Time Tunnel», так, чтоб видны были швы монтажа и царапины на пленке), и через миг он уже держал свою ненаглядную в руках. Вокруг сгустилась их милая спальенка, а площадь фейстоба осталась за окном.

Фигуры приложений выглядели из спальни нечеткими и размытыми, чтобы не мешать семейному уединению, но достаточно было секундного сосредоточения, чтобы фейстоп стал отчетливо различим. Двуспальная кровать с резной дубовой спинкой, две тумбочки с торшерами по бокам — Кеша знал, что Мэрилин видит то же самое. Они обставляли спальню вместе. Но вот что Мэрилин видела в окне спальни, Кеша уже не представлял — там начинался ее фейстоп, терра инкогнита.

Мэрилин была близко, совсем близко. Стали отчетливо видны чешуйки пудры на ее лице и густой слой кармина на губах. И мушка на щеке. Он положил руку на ее плечо.

— А-ааа, — раздался в его ушах нежный и одновременно глубокий женский голос. — Ву-ву-вуууу.

— Эх-х, — вздохнул Кеша с насмешливой снисходительностью утомленного мачо.

По брачному контракту они с Мэрилин никогда не говорили. Но ворковать и постанывать Мэрилин имела полное право. Горе мужчине, который не узнает эту томительную секунду надежды и счастья — и не вцепится в нее зубами и ногтями. Во всяком случае, именно такой шаблон взаимоотношений эти стервы пытаются внедрить нам в подкорку, подумал Кеша. А как сам захочешь, у них голова болит.

У Мэрилин, впрочем, голова не болела почти никогда. А ее готовность всегда молчать была важным достоинством, отличавшим ее от прежних социальных партнерш Кеша. Кроме того, ее формальное согласие на беременность сэкономило уйму налогов и делало их двухместный модуль почти бесплатным — но за все время она ни разу не залетела. Значит, как-то решала вопрос. Потерять супругу с такими достоинствами Кеша не хотел. Поэтому надо было соответствовать.

— Окей, пинис, райз энд шайн, — сказал Кеша.

Видимо, из-за негативного настроения он не сосредоточился, и русский акцент подвел — Google Dick не понял.

Придурки, составлявшие голосовые скрипты управления, выбрали, кажется, самые идиотские комбинации слов, какие было возможно. Почему маркетинг в современном мире почти всегда рассчитан на дебилов? Неужели у них так много денег? Хотя нет, кто-то в новостях науки говорил, что голосовые команды подбирают не по смысловому принципу — у них должна была быть уникальная и легко узнаваемая звуковая сигнатура. Но все равно — «rise and shine...» Придумают же. Непонятно, член это или лампочка на подъемном кране.

Мэрилин хулигански подмигнула — но вместо того, чтобы ободрить Кешу, это его окончательно прибило. Движение напудренного века и соответствующая ему

эмоция относились к категории high executive vibes («отвага, наплевательство, молодой задор, высшая социальная страта, ценовая категория *****»), а такие вайбы были Кеше не по карману. Он купил около трехсот для маскировки — чтобы наблюдатель, анализируя его метадату, пришел к выводу, что он серьезно тюнингует свою Мэрилин. А Мэрилин почти все вайбы растранижила за два месяца. В общем, еще одна маленькая дырочка в бюджете...

— Окей, пинис, райз энд шайн, — повторил Кеша угрожающе.

Google Dick снова не включился. А кобыла Мэрилин, чтоб ей, взяла и хулигански подмигнула во второй раз.

Это ей, впрочем, шло. На верхних ступенях социальной лестницы ужимки напудренной кинозвезды казались бы лучами озаряющего жизнь солнца. Но в индивидуальном пространстве Кеша они превращались в оскорбительно жалящие иглы, напоминающие, что такой контент ему социально недоступен — или, вернее, доступен лишь в качестве мобилизующей дразнилки («вверх, слабак! наверху так всегда!»).

Кеша прокашлялся, мысленно наполнил себя позитивными вибрациями и повторил, старательно артикулируя:

— Okay penis, rise and shine!

На этот раз Google Dick услышал.

Щелкнуло, потом зажужжало, и Кеша почувствовал тепло в паху — его как бы приятно надували через трубочку. Затем он ощутил изменение гормонального фона (понятно, никаких инъекций — просто электрическая щекотка мозга). Мучительно-сладким огнем полыхнуло в сердце, и Мэрилин перестала казаться толстой унылой

дурехой. Она была... Вполне даже ничего.

Мэрилин, конечно, нравилась Кеше — как солидный статусный объект. Но женщину он начинал в ней видеть только после запуска Google Dick. И то, если честно, с трудом.

— Can I kiss you? — спросил он.

Мэрилин молчала. Но Кеша знал, что в современном мире это не обязательно знак согласия.

— Can I kiss you? — повторил он.

Мэрилин ничего не ответила, только воркующе застонала. Но рубиновое сердце над ее головой все еще горело — а по закону это означало «Да». Если, конечно, партнерша не скажет «нет» после третьего запроса.

— Are you sure? — произнес Кеша, завершая юридически обязательную мантру.

Мэрилин, казалось, замерла в сомнении. Выглядело это так, словно Кеша своими повторяющимися вопросами накликать наконец беду, и она больше не уверена в том, что ее можно поцеловать — как не бывает в этом до конца уверена ни одна женщина, кроме секс-работниц, четко прописавших такую услугу в прейскуранте. Но сердце на фейстопе по-прежнему горело. Мэрилин хотела, чтобы он грубо и сильно взял ее молчаливую.

Сейчас, кисо, сейчас. Вот только ЛАВБУК загрузится...

В правой половине Кешино поля зрения зажглась большая синяя «L». А под ней, уже красным, загорелись русские слова — «ЛАВБУК ИУВКЩЦЬ».

Lovebook bedroom

Кеша так и не составил определенного мнения, что это — неграмотная русификация, запредельная ирония или очередной плевок злопамятной цивилизации в прошлое, о котором сегодня напоминал только один из локализационных языков. Таких нестыковок на самом деле не понимал никто. Вот почему словосочетание «LOVEBOOK BEDROOM» было — пусть уродливо — локализовано, а Little Sister — нет?

Ясно было одно — оскорбить русскоговорящих пользователей совершенно точно никто не хотел. Подобных сил в мире просто не осталось — вернее, силы-то, может, и присутствовали, но без бюджета. То есть уже и не силы, а так.

Скорей всего, локализация была результатом машинного перевода. Система провела автоматическую лингвоэкспертизу и выбрала словосочетание в духе сетевого слэнга углеводородного века. Как бы почтительно погладив седины национальной культуры, заодно подмигнув молодой аудитории, любящей грубое, дикое и непонятное. Жаловаться все равно некому...

Испытанная Кешей негативная эмоция оказалась, однако, достаточно сильной. Мало того, он настолько расслабился, что артикулировал слова «жаловаться некому» — и их уловила система.

Она тут же выплеснула на Кешу блок мелкого шрифта, повисший прямо перед глазами. Это было не так навязчиво, как бубнящий в ушах голос. Текст можно было не читать, но совсем игнорировать его столбец не стоило — система, корректировавшая асоциальные мысли, следила за движениями глаз. Ничего,

легчайше и почти бессловесно подумал Кеша, системе мы отомстим — и скоро...

Уже начиная массировать дебелые плечи Мэрилин, он быстренько пробежал послание по диагонали, стараясь, чтобы в мозг воткнулось как можно меньше слов.

Смысл был таков: жаловаться, однако, можно — писать обрабатывающему электронные письма роботу. С русскоязычным названием этого приложения была занятная история: первоначально его называли «ЕБЛОКНОТ^[8] ДАВИМ УХО». А переименовали после потока возмущенных жалоб, что три горящих слова занимают на фейстопе слишком много места.

Кеша усмехнулся. История с переименованием могла быть просто выдумкой, призванной подчеркнуть, что менеджменту вовсе не чужд гуманизм. Еще одна негативная эмоция... Надо себя контролировать.

В окне спальни стала видна Little Sister.

Она расстроено покачала головой, как всегда случалось, когда Кешин эмоциональный фон начинал сползать в цинизм. Но колонка обязательного к прочтению текста все же погасла, и стекло опять сделалось мутным, отрезав сестричку от спальни. Спасибо за заботу. И подожди, милая, подожди...

Кешино поле зрения заполнили разноцветные светящиеся прямоугольники. Каждый изображал окошко чьей-то спальни. Окна с ободранными деревянными рамами и чуть бликующими стеклами были, конечно, просто спецэффектом — а вот лежащие за ними пары уже нет. Вернее, пары тоже — но не до конца. В том смысле, что там действительно кто-то трахался. То есть, конечно, не там, а совсем в другом месте. Но трахался совершенно точно.

«ЛАВБУК ИУВКЩЦЬ» показывал всех окрестных жителей, занимавшихся в

этот момент любовью (и подписанных на неизбежный sharing). Окрестностью в таких случаях становился любой наименьший физический радиус, который позволял полностью заполнить страницу картинками, поэтому lovebook не пустовал никогда, хотя где находятся пары в физическом мире, определить было трудно.

На стеклах горели цифры рейтинга — ненавязчиво, словно блик невидимой луны. Но все делалось ясно и без цифр, просто по положению окон. Высший балл был у левого окна в верхнем ряду, где увитая змеями Клеопатра совокуплялась с Марком Антонием, при каждой фрикции убедительно звякавшим о панцирь золотой рукоятью меча. Следующим был Маркиз де Сад в клюквенном парике, мучивший щипцами для волос пожилую негритянку. Третьим — барон Ротшильд в засаленной желтой буденовке и Свобода Топлес с картины Делакура, решившие отдохнуть прямо на парижской баррикаде. Прыгая на партнере, Свобода постреливала в стороны из двух пистолетиков и детским голосом пела старинную песенку:

— Bang-bang! My baby shot me down...

Кеша пошарил глазами по экрану — нет ли тут случайно его самого?

И вдруг нашел!

Причем не внизу, куда закомплексованно нырнул его взгляд, а во втором ряду сверху.

Второй ряд! Вот так.

Впрочем, сразу же подумал он с грустью, это не у него все так хорошо. Это у других сегодня все так плохо.

Сначала он увидел не себя, а Мэрилин. И только узнав ее ленивое напудренное лицо с мушкой на щеке, обнаружил напротив нее себя самого. Как обычно, он был

Юрием Гагариным — вкусы Мэрилин за последние пять лет не изменились. Впрочем, если честно, он все эти пять лет в глубине души надеялся, что ЛАВБУК оценит икебану. Мэрилин и Юрий — пара что надо...

Св. Юрий был в каноническом наряде — черной рясе, порванной зубами обезьян, в клетке с которыми опричники запустили его в космос. На его груди блеснул золотой крест, а борода была обильно смазана тюленьим жиром. Мир любит экзотику.

Остальные лавбучане, однако, уже вовсю предавались страсти, а Св. Юрий все медлил, словно борясь до последнего с искушением, как и требовал ранг великомученика. Кеша подумал, что вполне можно подняться на один ряд выше или даже — чем черт не шутит — взять и взлететь в топ... Хотя раз. Это sharing points. И много.

Но рисковать не хотелось.

Свой номинальный секс-опыт Кеша не стеснялся шэрить, потому, что не вкладывал в него душу. Вернее, вкладывал — но хитро, как начинку в пирожок. Так, что этой души не видел никто, кроме тех, кто видит все — цукербринов. Но Кеша подозревал, что он им не особо нужен: таких пирожков с дерьмом у них были бессчетные миллионы.

Легчайшим усилием глазных мышц Кеша перевел внимание с окон ЛАВБУКа на Мэрилин. Ее белое платье до сих пор было раздуто в колокол сквозняком. Сейчас этот колокол, конечно, стал багом — Мэрилин не могла лежать на кровати рядом с ним в таком виде. Но «ЛАВБУК ИУВКЩЦЬ» ценил верность культурному канону выше формального правдоподобия — классическую съемку Мэрилин не станут

трогать ради соблюдения каких-то там законов физики.

Кеша взялся за платье Мэрилин. Та не возражала — сердце над ее головой горело по-прежнему ярко. Мэрилин хотела его легально неопровержимым образом.

Ну что ж, подумал Кеша, чувствуя, как волнующе закручивается в его солнечном сплетении спираль страха и похоти, а теперь настало время совершить грех.

Кеша совершал этот грех уже столько раз, что все его действия стали быстрыми, точными и безошибочными — словно из человека он превратился в затвор автомата, без запинки перерабатывающий патроны в дым и смерть. То, что он находился почти в самом лавбучном топе, делало опасную авантюру еще упоительней.

Время пошло.

Отвернувшись от Мэрилин, он скосил глаза — и, как бы раскрыв с усилием еще одну пару век, увидел сквозь окно супружеской спальни свой фейстоп.

Все его иконы были далеко — и одновременно рядом. Сестричка сидела на краю фонтана и по обыкновению делала вид, что скучает в этой глухомани. А вот стоящий неподалеку клетчатый клоун с большим красным носом и кистью в руках смотрел на Кешу с ожиданием и готовностью.

Или Кеше так показалось.

Над клоуном висел красный треугольник с тремя восклицательными знаками. Для Кеши этот знак был пылающим клеймом греха. Но вообще-то он означал, что приложение давно не обновлялось, обновлений к нему нет, и его корректная работа не гарантирована. Клоун давно устарел. Он даже не различал современных 3D и 5S форматов.

За это мы тебя и любим, милый друг с кистью.

Кеша мигнул клоуну.

По фейстопу пробежало, меняя цвет, радужное слово:

MUTABOR

Быстро покрутилась простенькая старомодная заставка с невозможными вариациями знакомых предметов — ананасный рояль, жирафная машина, лягушка-самолет и еще несколько похожих гибридов.

Клоун сделал придурковатый книксен и поднял свою кисть.

— Выбери source object, Ке, — сказал он хрипловатым голосом.

Кеша бесстыдно поглядел на сестричку и кивнул. Сестричка сжала губы и побледнела. Кеша до сих пор не знал, на что она так реагирует. Может быть, на его гормональный фон? Или на то, что он смотрит в ее сторону в таком возбуждении? Порядочный социально ответственный человек должен в подобные минуты смотреть только на социального партнера или партнершу.

— Выбери target object, Ке, — сказал клоун.

Ке глянул на Мэрилин и кивнул. Мэрилин улыбнулась и кивнула в ответ. Толстая дура, понятно, не видела Кешиногo фейстопа — и думала, что он кивает ей.

— Параметры? — спросил веселый добрый клоун.

Кеша ткнул взглядом в кнопку «repeat last morph», возникшую над площадью (медиана 100/0, интервал пятнадцать минут, don't save object).

Мгновенно разросшийся клоун взмахнул своей кистью... А потом вздохнул и развел руками.

— Упс, — сказал он. — Операция отменена. Форматы несовместимы.

Кеша это уже много раз слышал. Он знал это и сам.

А потом сработал баг.

Тот самый, за который он так любил этого давно списанного в утиль и никому больше не нужного парня с красным носом картошкой.

По Мэрилин прошла рябь — и Кеша увидел перед собой совсем другое лицо.

От сестрички пахло вишнями и детством. Она смотрела в сторону. Ее лицо сморщилось в злую гримасу — словно Кеша казался ей зубным врачом, повадившимся лазить своим сверлом в неположенное место, а пожаловаться было некому...

С момента, когда Кеша взялся за подол Мэрилин, прошло меньше минуты. Но теперь в его руках была уже не белая ткань, а край синей гофрированной юбки. А он всего-то качнул несколько раз головой. Удобно иметь в друзьях старину Мутабора, если знаешь пару-тройку секретов...

Кеша бросил контрольный взгляд на ЛАВБУК. На картинке по-прежнему были Гагарин и Мэрилин. Про эту маленькую тайну знал только он сам — и сестричка. То есть, если разобраться, два раза знал он сам. А разве два благородных дона не договаряются друг с другом?

— Поехали! — произнес он любимую фразу Мэрилин — и потянул синий подол вверх.

Сестричка нервно замолотила ногами — это всегда сводило Кешу с ума — но не сказала ничего.

Жизнь на время обрела совершенство.

Было, правда, непонятно, то ли это его собственный энтузиазм, то ли гормональная поддержка, включенная приложением Google Dick, но результат был налицо.

После короткой биокommутационной задержки Кеша вошел в сестричку — быстро и сильно, как Мэрилин любила (не всякий, усмехнулся он, даже поймет такую постановку вопроса). Ей нравится молчать, думал он, распаяясь, ей нравится быть покорной и немой рабыней, ей нравится чувствовать своим хрупким телом сокрушительную мощь своего господина... В ответ на удары его тела Мэрилин уже не стонала, а урчала:

— У-ву-ву-ву... У-ву-ву-ву...

Так стонать могла только совершенно счастливая женщина, не испытывающая никакого стеснения перед партнером. Кеша почувствовал гордость за свою мужскую силу, за свою способность принести другому существу радость, за то, что он может угнаться за чужим капризом — и превратить его в салют наслаждения.

Little Sister, как обычно в подобные минуты, вертела головой, словно стараясь выбрать такой угол зрения, чтобы в него не попадал нависший над ней Кеша. А потом произошло самое трогательное — то, что каждый раз доводило его до иступления.

Сестричка вдруг закрыла ладонями глаза.

Так должны были поступать все приложения фейстопа, когда их вызывают из супружеской спальни (Кеша выбрал такую опцию для смеха, не подозревая, какой дополнительной сердечной мукой это обернется). Сестричка закрывалась не всегда — режим был некорректным, и все зависело от того, как состыкуются программные баги. Поэтому у милого полудетского движения была дополнительная прелесть непредсказуемости. Кеша не мог больше сдерживаться. В нем осталось только шипящее счастье, переполнившее его, как пена — свежеоткупоренную шампанскую

бутыль...

Ох, лучше бы он этого не думал. Или, вернее, не артикулировал мысль (он даже не заметил, как это случилось).

Лицо сестрички закрыл трехмерный поп-ап. Заплескалось море, по которому плыла белая быстрая яхта. На задней палубе в шезлонгах сидели веселые загорелые люди — и пили шампанское. Яхта пронеслась мимо, море стало меркнуть, и перед Кешей зажглась огромная надпись:

LA VEUVE CLICOT!
ДО СЧАСТИЕ НИДАЛИКО!

Вот суки, подумал Кеша горестно. Испортить такой оргазм... И потом, опять с локализацией обосрались.

Поп-ап начал наконец растворяться — на нем остались только слова «La Veuve Clicot» и прайс-тэг с ценами: «разовое администрирование» и «недельный цикл» со скидкой. Теперь главное было случайно не кивнуть, и Кеша замер, как питон в джунглях.

Говорили, по стовору с продавцами техническая служба специально так настраивает датчики шейного клика, что они распознают мельчайшее движение шеи как кивок, достаточный для покупки. Хорошо хоть, много sharing points за один кивок не потратишь. Все дешевое и доступное. Потому что не настоящее.

По трансформации синей гофрированной юбки в белое платье Кеша понял, что закрытая поп-апом сестричка опять превратилась в Мэрилин. Супружеский долг

был исполнен. Стены спальни на миг размазались, превратившись в звездный колодец — и Кеша вынырнул на своем фейстопе.

Мэрилин стояла на прежнем месте. И сердце над ее головой горело по-прежнему: старушка была готова на большее. Однако какая ненасытная...

Кеша поглядел на фонтан. Сестричка уже сидела на его краю и, как всегда, дулась. Кажется, на ее глазах даже набухли слезы. Ничего, ничего, похнычь от счастья. Don't try to break my heart, young miss. The more you cry the less you piss^[9].

Кешино подсознание проявляло себя причудливым образом — на сестричке всегда оставались синяки, ссадины и царапины. Обязательно рвалась какая-нибудь деталь ее матросского костюмчика — то юбка, то блузка с отложным воротником. Но на следующий день костюмчик опять приходил в норму, словно у сестренки где-то была стиснутая нуждой, но не потерявшая представлений о приличиях японская семья, каждый вечер трогательно готовившая ее к новому выходу в большой злой мир. Где ждал Кеша.

Хоть Кеша был уже на фейстопе, реклама шампанского, теперь совсем прозрачная, все еще висела перед глазами. И опять — дословный и до обидного неаккуратный перевод. Ну кому хочется, чтобы шампанское «администрировали»? Его должны наливать в бокал. Или хотя бы делать вид, что наливают...

Впрочем, за отдельную плату устроят. Но это будет такое же точно вранье. Шампанское сегодня — гипнопродукт, кисло-сладкая пузырящаяся щекотка в горле, длящаяся пару-тройку секунд и вновь оставляющая потребителя наедине со своим ужасом. И хоть это гарантированно та самая кислая сладость, которая раньше разносилась официантами в пузатых бутылках, чего-то самого главного в

переживании все равно не хватает. Хотя бы, например, возможности взять бутылку за горлышко и дать ею кому-нибудь по башке.

Нет, такой оргазм испортить...

Кеша горестно уронил голову, и тут же в горле у него сладко запузырилось.

Оказывается, табло с ценами на шампанское еще не успело полностью погаснуть — и значит, по закону могло реагировать на шейный клик. К счастью, этим кивком он купил только одну дозу. Ничего страшного.

Да и можно себе позволить, в конце концов — после такого счастья. Ну или такого облома. Один раз живем. Главное не думать теперь дурного, а то система и вообще подпишет на anger management.

Как всегда после мыслепреступления, на Кешу накатился ледяной вал страха. Но Кеша считал себя опытным пловцом и привык нырять сквозь такие волны. Он понимал, что рискует. Но, с чисто математической точки зрения, риск был не так уж и велик.

Он ни на миг не забывал, что вся его внутренняя жизнь просматривается через целую кучу приложений. Он был открыт для внешнего наблюдения полностью и всегда. Но он умел прятаться в собственной тени. Он знал, какие мысли шьются, а какие нет.

Если бы у ментальных конструкций имелись форма, размер и вес, можно было бы сказать, что шьется только тяжелое, длинное, плотное и медленное. А короткое, полупрозрачное и быстрое — нет. Поэтому все его мысли и переживания, отмеченные печатью греха, были невесомо-точными, прозрачно-легкими и безошибочно-быстрыми — как подрабатывающие киллерами ангелочки. Они

походили на истребители-невидимки, влетающие ненадолго в радарную зону неприятеля, чтобы безнаказно унести из нее после нескольких фигур низшего пилотажа.

Но хоть эти легкие и неуловимые для системы мысли и не шэрились стандартными приложениями, не существовало гарантии, что в системе нет особой секретной программы, незаметно считывающей все-все, ведя на Кешу подробное неумолимое досье. С этим риском приходилось жить — и не одному Кеше, а всем, решавшимся на мыслепреступление.

Другим риском была Мэрилин. Но тут можно было не бояться. У них совпадал только один социальный параметр — оба хотели молчаливого партнера, который не будет лезть в чужую жизнь и душу и не станет приставать с разговорами. Мэрилин отвечала этому требованию на сто процентов.

Она была практически глухонемой.

Кеша не считал, что судьба чем-то его обделила, наоборот. Он был уверен — семейные неурядицы чаще всего связаны с тем, что будущих жен и матерей в детстве перегружают лишней информацией. Человеческая самка, с его точки зрения, была чем-то вроде 3D принтера, на котором печатают новых людей. Поэтому, хоть ее голова и напоминала внешне мужскую, в ней стояла совсем особая операционка и софт, и ни на что другое места уже не оставалось.

Наверно, в тайных глубинах своей души Кеша был шовинистом — он испытывал к женщинам классовую ненависть, перемежающуюся острыми вспышками похоти. Ненависть он, впрочем, научился прятать. Но от жены ее невозможно было бы скрыть при хоть сколько-нибудь долгом разговоре, поэтому глухонемая Мэрилин

была для него ценнейшей находкой.

Ее запихнули в соседний бокс лет пять назад по генетическому соответствию — и единственному совпавшему параметру, запросу на молчаливость: Мэрилин тоже не хотела, чтобы партнер вторглся в ее одиночество. В остальном сходство характеров и интересов было нулевым, поэтому брачный контракт не предусматривал никаких форм общения, кроме чисто полового. За все время совместной жизни они обменивались мыслями раз пять или шесть — и то через фейстоп-почтальона.

Кеша, впрочем, предполагал, что Мэрилин им дорожит. Для этого были основания.

Лет ей, судя по всему, было немало. Если бы не закон «О Достоинстве Человека», запрещающий евгенику и вообще вмешательство в цикл воспроизводства, Мэрилин вряд ли нашла бы себе такого молодого спутника. И, судя по той частоте, с которой на фейстопе вспыхивало рубиновое сердце, как половой партнер он ей вполне подходил.

Закон позволял сожителям скрывать друг от друга реальный внешний облик — что устраивало и склонного к мечтательности Кешу, и Мэрилин. Но самое главное, что у Мэрилин была папка со старыми-престарыми приложениями, лежавшая в общей зоне фейстопа.

Клоун пришел оттуда. Скопировать его было нельзя, потому что он уже не поддерживался программной оболочкой, но Кеша сумел незаметно перетащить его к себе на фейстоп в миграционном коконе. Клоун неплохо прижился. Мэрилин, похоже, ничего не заметила.

В общем, гармония с Мэрилин была полной. Толстая дура всерьез думала, что Кеше нравятся винтажные американские актрисульки — и даже отдаленно не представляла, как обстоят дела. Она могла бы об этом узнать, если бы потребовала на время близости шэрить с ней весь состав Кешиново ума, как делали наиболее одиозные феминистки, наследницы скандинавских фурий, заставлявших когда-то мужчину приседать при мочеиспускании в позу покорности. Но эти грозные и прекрасные валькирии, к счастью, практически все были лесбиянками — и чашу пронесло мимо.

Можно было не бояться.

Тем более что Кеша знал — он не одинок. Ему всего лишь достался по наследству древний человеческий обычай мысленно превращать партнера в тайный объект желания. О том, насколько этот навык укоренен в веках, свидетельствовал анекдот углеводородной эпохи, рассказанный как-то Борхесом: два немолодых любовника, зажмурив глаза, трутся друг о друга долгое время, но так и не могут завершить начатое — пока один наконец не говорит другому: «Что, тоже никого вспомнить не можешь?»

Эти слова описывали всю тайную технологию человеческой страсти. Кеша догадывался, что именно так грешат другие, незнакомые с веселым клоуном Мутабором. Их объекты влечения были бесплотным образами, которыми они мысленно замещали своих партнеров и партнерш, лаская их тела сквозь неощутимую гигиеническую мембрану. И образы эти были, конечно, нелегальными — иначе их выбирали бы в меню настроек. Именно это позорное и тяжело наказуемое движение ума называлось половым мыслепреступлением.

Грешить, в общем-то, было можно. Единственная заповедь, исполнения которой требовала цивилизация, была простой: Thou shalt not get caught. Sin smart^[10].

Главное — всегда сохранять покой и не позволять мыслям скакать как попало. Ксю Баба, кажется, говорила про это в прошлой проповеди. Надо бы, кстати, ее послушать...

Или нет, ну ее.

Лучше Анонимуса.

Анонимус

Анонимус был сторбленным мужчиной в серых ризах (наверно, из-за их цвета он напоминал Кеше испепеленного таракана). Его лицо — если оно у него вообще имелось — скрывала маска с тонкими усиками и бородкой. Говорили, что это лицо Гая Фокса, древнего английского конспиролога, казненного за измену.

На лбу у Гая Фокса было тату — следы птичьих лап, похожие на две косые буквы «F». По одной из версий, это значило «Fuck Freedom», а по другой — «Facebook Free» (фейсбуком называлась старинная социальная сеть, в которую Гай Фокс отказался записаться — за что, после многолетнего заключения, был обезглавлен по приказу короля, чтобы воскреснуть иконой и ведущим «Конспирологического канала АНОНИМУС»). Чуб над его головой был стандартным атрибутом древних политзаключенных — чтобы палачу было удобно поднимать отрубленную голову и показывать толпе.

Анонимус вел себя не просто конспиративно, а именно конспирологически. Обычно он старался встать на фейстопе где-нибудь подальше, за фонтаном — но не так, чтобы действительно спрятаться, а так, чтобы казалось, будто он прячется. Кешу это нервировало, потому что Анонимус оттуда мог видеть не только его, но и сестричку... И хоть Кеша понимал, что на самом деле Анонимус ничего не видит, поскольку мало чем отличается от пятна на обоях, это все равно раздражало.

Кеша недолюбливал древнего страстотерпца. Но сегодня был подходящий момент, чтобы услышать какую-нибудь мрачную правду — и Кеша кивнул усатой маске.

Реальность расплылась в разноцветные нечеткие полосы, и Кеша очутился в каменном каземате — с решеткой на окне и кучей сена на полу.

Скованный цепями Анонимус стоял у стены. Кеша теперь сидел на табурете напротив него — словно вел допрос. Пахло неприятно, мочой и мышами. Но ведь так, наверно, и должно быть в каземате? Да и окончательная конспирологическая истина, видимо, воняет примерно так же... Как всегда бывало в гостях у Анонимуса, Кешины мысли сразу стали какими-то недобрыми.

«На площади-то он отдыхает, — подумал Кеша, удобнее устраиваясь на табурете, — мой фейстоп для него как санаторий...»

Анонимус относился к своей работе добросовестно. Несколько раз лязгнув цепями — так, что получилось подобие короткой мелодии на ксилофоне, он тревожно оглянулся по сторонам и заговорил:

— АНОНИМУС — не «конспирологический канал», как лжет меню на вашей ретине. Слово «конспирология» придумано медийными проститутками менеджмента, которые день за днем промывают ваш мозг ядовитым пойлом для свиней, превращая вас в усталых и покорных рабов. АНОНИМУС — единственный ручеек истины в мутном потоке лжи, где вы родились и умрете! АНОНИМУС. Пять минут правды!

Приличную часть этих пяти минут, подумал Кеша, занимает самопрезентация.

— Люди, как и крысы, смутно предчувствуют будущее, — продолжал Анонимус. — Лучшие фантасты человечества часто угадывают отдельные черты нового века, но так смешно ошибаются с другими... Оруэлл подарил нам слово «мыслепреступление», но совершенно не представлял, что оно станет обозначать в

действительности, поскольку в его время сексом занимались исключительно на физическом плане. Или вспомним, как воображали реальность будущего создатели легенды про Матрицу. Человек был вмонтирован в особую капсулу, а к его голове подключался разъем, соединяющий его с единой информационной сетью, которая, кстати, в те годы уже существовала. Поразительное прозрение! Хотя, с другой стороны, нетрудно было догадаться, что личного пространства у человека будет оставаться все меньше и меньше, а компьютерный интерфейс рано или поздно загонят ему под кожу. Но все равно — «Матрица» была прозорливой и злой сатирой на наше время... На физическом плане разница лишь в том, что вместо жидкости мы плаваем в невесомости, создаваемой антигравитационным полем.

Анонимус растянул угол маски в свою фирменную циничную усмешку — отчего в очередной раз стало ясно, что никакого лица за ней не скрыто.

— Но вот где авторы фильма развели самую настоящую, простите за выражение, конспирологию — так это в вопросе соотношения двух реальностей. В фильме люди не знают, что с ними происходит на самом деле. Они видят себя и других в поддельной реальности, не имеющей ничего общего с действительным положением их физических тел, плавающих как зародыши в своих пузырях. Именно этот грандиозный обман делает освобождение возможным... Потому что из сна можно проснуться в явь, из обмана можно бежать в реальность... Можно пережить ужас пробуждения и стать избранным — тем, кто все понял...

Анонимус сделал одну из своих коронных гримас — сначала изобразил неподдельное благоговение, а потом каким-то крохотным движением лицевых черт превратил его в цинизм такого запредельного градуса, что Кеша не удержался от

смеха.

— В те годы цивилизация задыхалась под гнетом разросшегося финансового сектора. Степень неравенства в тогдашнем обществе труднопредставима для современного человека. Медиа были лживыми и лицемерными, социум — иерархичным. Поэтому тогдашние фантасты и предположить не могли, что избранными, как Нео, в будущем станут все без исключения. Вот только подпольщиков среди них будет, хе-хе, маловато. Да, друзья, можно сказать и так — мы подключены к матрице. Но мы отлично это знаем. Мало того, мы за подключение платим. И у нас даже есть профессиональные юмористы, зарабатывающие себе на жизнь скетчами по этому поводу — причем от их унылой самодовольной тупости нас всех давно тошнит...

Анонимус сперва ухмыльнулся собственной шутке — а потом, словно испугавшись, что его могут принять за одного из таких юмористов, помрачнел.

— Мы просто не думаем больше на эту тему, — продолжал он. — И поэтому, в отличие от Нео и Магнуса, не можем убежать. Убегать некуда. Реальность не скрыта от нас вселенским обманом. Зачем? Это слишком неэкономно. Реальность не запрещена. Она всего лишь не видна. Она скучна, и мы прячем ее под обои фейстопа. Физический мир скрыт за ворохом электронных симуляций и поп-апов. Нас не надо вводить в принудительный транс уколами наркотиков или настроенными на ритмы мозга вспышками. Мы зомбируем себя сами — и больше всего боимся, что это прекратится. Мы способны в любой момент увидеть реальность, отвлекшись от наложенной на нее лжи, но мы этого не делаем. Зачем? Мы и так все знаем про этот скучный и всегда одинаковый бэкграунд... Ре-аль-

ность. Ну и что? Зачем, Нео? Не интересно...

Кеша подумал, что Анонимус — такой же примерно враг системы, как Little Sister. «Оппа-Зишн Стайл», как пели в древности. Просто его задача, как и у прочих светлых борцов — собрать вместе все возможные претензии к «менеджменту» и слепить их в грозно грохочущие, но безвредные комбинации слов, которые не то что не расшатывают существующий порядок, а убедительнейшим образом докажут — от противного — его незыблемую безальтернативность.

И неудивительно. Иначе на фейстопе никакого Анонимуса не было бы. Говно этот Анонимус. Платное говно. Не в том смысле, что ему платят — за маской никого нет, — а в том, что заставляют за него платить самого Кешу. Списывают sharing points.

Кеша чуть заметно наклонил голову, и маска смолкла. Кеша наклонил голову сильнее, и, превратившись на миг в звездный дождь, Анонимус сжался до своей обычной фигурки на фейстопе. Пять минут правды кончились.

Сестричка пускала в фонтане кораблики. Увидев, что Кеша смотрит на нее, она отвернулась. Сердце над головой Мэрилин опять горело, но мысли Кеши устремились совсем в другую сторону.

Анонимус сказал кое-что интересное. Вернее, навел на мысли.

Действительно, когда Кеша последний раз видел физическую реальность под фейстопом? Сложно было даже припомнить. Да и зачем? Что, спрашивается, могло там измениться? А вот если специально постараться увидеть — прямо сейчас? Сможет он сразу или нет?

Раньше Кеша умел переключать внимание очень быстро. Это было

одновременно просто и муторно — следовало расфокусировать особым образом взгляд, как бы угадав еще один фон, спрятанный под итальянской площадью. И тогда...

Кеша напряг глаза и волю. Так... Так...

Фейстоп потускнел. Затем перед глазами поплыла зеленоватая пелена, словно он засыпал. Несколько секунд Кеше казалось, что он летит куда-то сквозь облака зеленого тумана. А потом...

Ну да. Вот оно, такое же, как всегда.

Там, где только что были фонтан и сестричка, стала видна гигиеническая трекпэд-мембрана, отделяющая его от социальной партнерши. Именно по ней гуляли его руки, когда Кеша чувствовал под ними чужое тело. Но для выдрессированных долгой тренировкой нервов прикосновение к мембране давно уже превратилось в интимнейшую форму контакта.

В своем обнаженном естестве мембрана выглядела странно. Это была золотистая упругая поверхность из чего-то среднего между пружинистой тканью и эластичной пластмассой — с узором, похожим на мелкие пчелиные соты. Так выглядели сопла разрядников, позволяющих мембранной матрице создать тактильные ощущения в дополнение к внутримозговой стимуляции.

На мембране были видны темные полосы, оставленные его руками и ногами, которые щупали, обнимали и охватывали то, что скрывалось за ней. Словно засаленная спинка дивана в древнем love-отеле, какие показывают иногда в кино. Вот ты какая, сестричка, мрачно подумал Кеша — и так восхитился собственной высокой иронии, что чуть не проартикулировал эту мысль...

Потом он поглядел на свои руки.

Ногти на его пальцах были крошечными мягкими бляшками, не способными ни за что зацепиться — их рост купировался с детства. Ладони и пальцы покрывала сложная оранжевая татуировка — вживленные в кожу микросенсоры, работающие вместе с мембраной.

Мембрана была настолько податливой, что позволяла любую акробатику и кама-сутру. Она казалась огромным — Кеша не мог удержаться от такого сравнения — презервативом.

Причем дырявым. Никакого прямого контакта между социальными сожителями не было — за исключением требуемого по закону «Об общественном самовоспроизводстве» универсального копулятивного отверстия «AC/DC», рассчитанного на стрэйт— и гей-пары (как выходили из положения лесбиянки, Кеша даже не знал — существовал, наверно, какой-то нетривиальный механизм).

Кеша не был инженером-нанотехнологом и вообще не понимал, как эта дырка, закрытая сейчас шторкой, может ездить по мембране. Правда, у дырки имелся тонкий черный ободок, и вот этот ободок, собственно, и перемещался — как застежка-молния, сдвигающаяся в любую сторону... Сама дырка, технически говоря, была не в мембране, а в черном диске, просто она занимала всю его площадь, оставляя от него только край. Но физика происходящего все равно оставалась непонятной.

Кеша отвернулся от мембраны, покосился вниз — и увидел свое тело.

Оно невесомо парило в крохотном объеме пустоты — то приближаясь к мягким серебристым стенкам, то отдаляясь от них. Антигравитация. Сила тяжести сразу

превратила бы крохотный модуль в гроб, где его заперли живьем. А так — он просто парит себе в пространстве...

На нем была оранжевая гигиеническая пижама, похожая на что-то среднее между легким скафандром и обернутым вокруг рук и ног стеганым халатом. Пижама была распахнута на животе и открывала подобие толстых пластиковых плавков телесного цвета. На них выделялся сложный зубчатый вырез гульфика со словом «GooD!®» — трэйдмаркой Google Dick. Приглядевшись, можно было различить мелкие буквы «It eels reel GooD, man!» на том самом месте, где при запуске приложения открывался склизкий копулятивный порт).

Кеша уже давно не видел своего рекреационного органа в рабочем состоянии: чтобы запустился Google Dick и включилась микрогидравлика, укрепленная Катушечно-Пружинной Технологией®, внимание должно было находиться на фейстопе. Следовало созерцать партнершу или партнера, в идеале подключившись либо к «ЛАВБУК ИУВКЩЩЬ», либо к какому-то другому социально-эротическому приложению.

Анонимус прав, никакого мирового заговора. Никто ничего не прячет, бро. Можно напрячься — как сейчас — и все увидеть.

Но зачем? Разве, как говорила Ксю Баба, цветок смотрит на свои корни? Он следит за солнцем. Солнце у нас, понятно, это три цукербрина... Но в главном Ксю пожалуй что и права.

Сравнение было точным — корень растения прекрасно чувствовал себя в подземной тьме, и биологическое тело Кеша точно так же не нуждалось во внимании. Низкая физическая основа жизни в наше время может существовать, не

напоминая о себе почти никогда — сейчас Кеша, в сущности, заглядывал реальности под кожу.

Толстый пластиковый памперс, соединенный со стеной несколькими разноцветными шлангами, не просто отводил выделения, но и поддерживал телесные отверстия в чистоте, питая кожу водой и кислородом. Пластиковые утолщения под мышками всасывали пот и превращали его в еле заметный аромат еловой хвои — выбранный Кешей из многих тысяч запахов в каталоге. Капиллярный биобинт, обматывающий руки и ноги, еженощно упражнял мышцы, заставляя их сокращаться от электрических разрядов. Никаких пролежней, никакой грязи. Вечная свежесть. Вот так сбылась древняя мечта всех бездельников — расслабиться и видеть сны всю жизнь, без вреда для здоровья.

Кеша секунду колебался, а потом поднял глаза вверх — и отважно уставился в висящее прямо над ним круглое зеркальце.

Вообще-то он выглядел даже романтично.

Щеки и череп покрывала трехдневная щетина — эпиляционный модуль был настроен на минимальную частоту работы. Рот и нос закрывала похожая на маску летчика система «LifeBEat», подводившая к организму чистейший воздух, воду и трубки с пищей («BEat» — расшифровывалось как «breath & eat», плюс глагол, как бы уловивший ритм сердца, и еще, понятно, «BE» — «what you truly are», мелкая сестренка не даст соврать). Еда одинакова для всех — полужидкая пища: клетчатка, белок, протеины, углеводы, витамины и минералы. А вот вкус зависит от готовности тратить шэринг поинтс. Черепажовый суп может себе позволить не каждый.

Самая интересная часть намордника, конечно, не медицинские рецепторы и не

стоматологический модуль — а симулятор поцелуев and more... Как это работает, Кеша даже отдаленно не представлял.

Зато главная опора информационной реальности, «железо» фейстопа, выглядела на редкость неказисто. Просто никак. Полоска серого пластика под линией волос. Приемник уходящего глубоко в мозг электрода, закатанный в ту же биопластмассу, из которой сделан памперс на ягодицах. Только от памперса отходят провода и шланги, а на фейстопе ничего нет... Нет, кое-что есть. Маленькая дырочка с крохотной подписью «for professional use»^[11]. Уже много раз Кеша собирался узнать, для чего она — и все время забывал.

Никаких проводов и шлангов от фейстопа не отходит потому, что мозг не какает. Какают в него... А это давно научились делать без всяких проводов. Будь Кеша состоятельным человеком, можно было бы обойтись и без вживленного в мозг электрода, но неинвазивные технологии стоят дорого, да и жил бы он тогда не здесь. А базовый фейстоп можно поставить за общественный счет. Вернее, не поставить, а прорастить. Это как дерево. Сажают семечко на лбу. И оно деликатнейше прорастает в мозг, само находя себе центры, к которым ему следует подключиться. Все научно и безопасно, права Кеши восемь раз защищены.

Было не совсем понятно, почему фейстоп называют именно так — лучше подошло бы «headtop». Во всех смыслах. Во-первых, система грузит именно голову, а не лицо. Во-вторых, названия «facetop» больше заслуживает намордник системы «LifeBEat», а не эта серая полоска на лбу. Наверно, просто унаследовали терминологию от Мордора с его Мордокнигой.

Кожа чего-то совсем бледная... Но так, говорят, лучше — из-за ультрафиолета

она стареет. Хотя, с другой стороны, перед кем тут молодиться?

Кеша хмуро оглядел свой крохотный бокс.

«Гроб, — подумал он. — Обитый мягким. Чтобы не разбить голову...»

Это, конечно, было преувеличением. Объем личного пространства и правда не впечатлял. Но зато перед Кешей была мембрана, за которой спала Мэрилин. Так что все-таки не гроб. Социальных сожителей в гробу не бывает. Если не считать, конечно, бульварной литературы.

Кеша с трудом повернул голову.

В настенной сетке лежали его Персональные Айтемы. Таких в гробу тоже не бывает.

Или когда-то в древности клали?

Мишка. Крохотный плюшевый мишка. С ним связано что-то теплое, из инкубаторного детства — но толком уже не вспомнить. Такой есть у всех русских кряклов (Кеша не знал, что значит слово «крякл» — видимо, оно просто указывало на тех, у кого в Персональных Айтемах есть такой мишка, хотя по звучанию слова тут больше подошла бы, конечно, уточка). Пластмассовый морячок в тельняшке. Это было, кажется, после мишки — но тоже так давно, что не упомянуть. И машинка. Сине-желтый гоночный болид, тоже из мягкой пластмассы.

Кто-то — кажется, философ Ян Гузка, — говорил, помнится, что Персональные Айтемы нужны для сохранения корневой идентичности в условиях полисексуального мультикультурализма. Чтобы в любой момент можно было отвлечься от суеты и припасть к истокам. Поэтому у всех русских — мишка, а у всех французов — петушок. А как бы еще мы помнили, кто мы на самом деле?

— А кто мы на самом деле? — спросил Кеша.

И тут же услышал собственный голос. Губы и язык оставались неподвижными — фейстоп сам переводил артикулированную речевую интенцию в звукоряд и отсылал ее после задержки в слуховую зону мозга. Но Кеша вспоминал про это только в те минуты, когда видел в зеркале надетый на лицо намордник системы жизнеобеспечения. А такое случалось крайне редко.

И хорошо, что так. Пустыня реальности успела уже утомить — она напоминала железную сетку тюремной кровати из фильмов про тоталитарное прошлое человечества. К счастью, ничего не стоило накрыть ее соблазнительнейшим матрасом.

Кеша перенес внимание на фейстоп, который за время осмотра личного модуля превратился в набор смутно мерцающих перед глазами пятен. Сначала пятна никак не хотели оживать и наполняться смыслом. А потом что-то в нем поддалось, и он опять увидел площадь, фонтан и неодобрительно прищурившуюся на него Little Sister. Она всегда хмурилась, когда фейстоп оставляли без внимания.

Кеша посмотрел на аватарки приложений. Они походили на фигуры недоигранной шахматной партии. Кешин взгляд упал на Ксю Бабу.

Можно было навестить старушку. Не потому, что он соскучился по запредельной мудрости — просто никогда не мешало совершить в информационном космосе несколько бессмысленных заячьих петель, чтобы как можно сильнее запутать метадату — все эти «кто, когда и с кем», ежесекундно фиксируемые системой.

Ксю Баба была маленькой. Когда она стояла на фейстопе, она походила на складной зонтик: ее ниспадающая желтая хламида напоминала чехол, а высокая золотая тиара с плоским верхом походила на ручку.

Раскрывался этот зонтик довольно замысловато.

Как только Кеша кивнул Ксю Бабе, фейстоп скрылся во мраке, а на месте старушки возник отлитый из золота магический символ — кажется, слог «ОМ» (уверен Кеша не был). Символ ослепительно просиял — а когда свет, наконец, угас, Кеша увидел огромный зал с мозаичным полом. На возвышении стоял синий трон в золотых звездах. А на троне сидела Ксю Баба — седовласая, чистенькая и невероятно, почти до прозрачности древняя (никто даже не знал, когда был снят этот информационный слепок).

Теперь ее хламида была раскинута по трону и переливалась множеством разноцветных иероглифов, а тиара на голове сияла, как Google Dick после подъема — во всяком случае, если верить голосовой команде на инициализацию.

«На фейстопе-то так не раскинешься, — подумал Кеша с непонятной недоброжелательностью, — там небось и яркость регулируют и размер... Чтоб никто слишком не вылезал...»

Тут же он вспомнил, что для плодотворного контакта с духовным учителем необходимо испытывать доверие и любовь — и постарался зародить эти чувства в душе.

Ксю Баба была духовным светочем — и не могла рекламировать себя сама, как

Анонимус. Но на помощь ей пришел анонимный мужской бас, торжественно произнесший за тронем (словно там прятался преданный старушке мамелюк):

— Ксю Баба, ровесница тысячелетия — прожила невероятно долгую и удивительно насыщенную жизнь. Она прошла сквозь горнила корпоративов и революций, разочаровалась в земных путях, а затем много лет медитировала в лучших пещерах Гималаев и Тибета, где обрела запредельную мудрость, которой делится теперь со зрителем. Одна мудрость в час!

Ксю Баба застенчиво покачала головой, словно стесняясь таких рекомендаций. Потом она разлепила сухие губы и сказала:

— Человек изнутри самого себя подобен кинофильму, который никто не смотрит. Это понимают многие. Но что происходит, когда в потоке впечатлений благодаря особым духовным практикам появляется «трансцендентный наблюдатель»? Да ничего! Всего-то навсего — начинается кинофильм про этого трансцендентного наблюдателя, созерцающего поток впечатлений. Увы, но второе кино точно так же никто не смотрит, как и первое. Вот только понимают это уже очень и очень немногие. Кино про которых, кстати, тоже не смотрит никто... Так есть ли выход?

Ксю Баба замолчала — и несколько секунд выжидала, не подпишется ли Кеша на платное продолжение.

Но Кеша наклонил голову в сторону.

— Спасибо, Ксю, — сказал он, — на сегодня материал для мысли есть. И я, если честно, опять не въехал... Но мы любим тебя все равно.

Ксю Баба качнула тиарой.

— Это была проповедь от пятнадцати ноль ноль джи-эм-ти, — сказала она. — Оммм!

Синий трон с золотыми звездами исчез в океане света. Бесплатная мудрость была короткой и, как бы это сказать, не удовлетворяла до конца. Возможно, так устроили специально, чтобы втянуть клиента в платное консультирование. Вот только полная платная мудрость не удовлетворяла точно так же. Кеша знал по опыту.

— Ксю Баба! — повторил жизнерадостный мужской бас. — Одна запредельная мудрость в час!

Вынырнув из потоков предвечного света, Кеша опять увидел фейстоп со стоящими на нем фигурами.

Надо было сделать еще две-три маскировочных петли. Больше не стоило — из-за слишком необычных паттернов в метадате система могла догадаться, что Кеша ее дурит. Следовало действовать по возможности однообразно, чтобы сегодня было похоже на вчера — чего не понимают начинающие конспираторы.

Чуть подумав, Кеша кивнул библиотекарю Борхесу — старичку в синей академической мантии, держащему под мышкой огромный кожаный фолиант.

Площадь расплылась, размазалась в разноцветные лучи, и старичок, оказавшись прямо перед Кешей, за несколько секунд оброс сумрачным помещением, похожим на что-то среднее между алхимической лабораторией и библиотекой — с висящими на стенах скелетами ящериц и пыльными шкафами, полными кожаных книг.

Старичок сел в кресло и указал Кеше на соседнее. Кеша устроился напротив, и над головой старичка загорелась опция:

ARTICULATION / SILENT MODE

Кеша кивнул вправо. SILENT MODE был безопаснее. Кроме того, ему нравилось, как немые ответы Библиотекаря входят в его сознание — происходящее походило на телепатию, и, если бы не провода в голове, Кеша мог бы решить, что это она и есть.

Пора было задавать вопрос. Кеша задумчиво закатил глаза вверх и увидел на потолке фреску с ангелами. У ангелов почему-то были двойные крылья, как у стрекоз — верхняя пара зеленая, а нижняя красная. Они кружили в вечернем небе вокруг трех солнц.

«Цукербрины», — догадался Кеша.

Библиотекарь принял эту мысль за вопрос. Кеша не возражал. Библиотекарь попросил уточнить, что интересует Кешу — история термина, его различные смыслы или значение в настоящее время. Кеша, естественно, знал, что термин означает в настоящее время — но мысленно пожал плечами. В том смысле, что интересно ему все. «С картинками?» — спросил Библиотекарь. «А то», — ответил Кеша.

Пока Библиотекарь будет чесать ему мозг, можно и подремать: услуга бесплатна. Закрыв глаза, Кеша расслабился, и в его ум заструился щекочущий поток информации.

Цукербрин, понял Кеша, это термин, появившийся впервые в десятых годах двадцать первого века. Он был образован из имен двух титанов тогдашнего интернета — Цукерберга и Брина, и означал некоего метафорического Смотрящего

— как бы заэкранного надзирателя, глядящего на пользователя сквозь тайно включенную камеру планшета или компьютера...

В Кешином поле зрения стали появляться, заклеивая друг друга, как афиши на тумбе, цветные фотографии гигантов раннего цифрового века. Под каждой была подпись.

Сергей Брин, прогуливающийся по подиуму в первой модели цифровых очков GOOGLE. Марк Цукерберг в римской тоге (похож на императора Августа). Евгений Касперский, ведущий на поводке молодого гепарда. Антон Носик со своей очаровательной Долбой и четырьмя прелестными детками.

Кеша предполагал, что список составляют из политкорректных соображений, стремясь вставить в него как можно больше представителей старой русской культуры — так что понять, кто из соотечественников подлинный титан, а кто мелкий капо в мировом электронном концлагере, невозможно. Более-менее известным персонажем, кажется, был этот Носик — Кеша слышал где-то пословицу: «На каждого хитрого носика есть свой ван гоголь с бритвой». В любом случае, не было сомнений, что на другом локализационном языке список выглядел бы иначе — и Кеша все равно никого бы не узнал.

Потом, неслышно продолжал Библиотекарь, у слова «цукербрин» появилось другое, более мрачное значение. В те годы была крайне распространена сетевая порнография, служившая значительной части человечества недорогим суррогатом половой жизни. Цукербринами стали называть злых духов-суккубов, которые похищают человеческую жизненную силу, растрачиваемую во время интернет-мастурбации. Предполагается, что в обиход это понятие ввела церковь, предложив

широкий спектр услуг по освящению гаджетов и проведению IP-экзорцизмов против цукербринов, облепивших конкретный сетевой адрес.

Картинки в этот раз выскочили немного странные — молодой попик в белом клобуке, читающий молитву у синего экрана с каким-то мелким белым текстом (подпись: «бесу файервол не помеха»), а потом — пол с пятнами крови и раздавленные очки GOOGLE (подпись: «посетители волгоградского ночного клуба „Шестая Армия“ сбили еще один разведывательный дрон АНБ»). Затем Кеша увидел огромную ухвертку с клешнями как у скорпиона — так, по мысли православного художника, мог выглядеть цукербрин.

Однако, продолжал Борхес, как часто бывает в культурной истории, с годами это слово потеряло все свои первоначальные смыслы и негативные коннотации. Оно стало термином новой философии, обозначающим *другое* (не путать с «другая, другой»). Показать философск. зн.?

Не надо, ответил Кеша.

Если коротко, продолжал Библиотекарь, цукербрином стали называть непостижимую всевидящую силу по ту сторону десктопа и фейстопа. Сперва в шутку. Но с годами это слово сделалось общеупотребительным, а потом — стало общепринятым юридическим термином для обозначения виртуального управленческого фокуса, не подчиненного конкретной человеческой воле. Функции наблюдения и контроля кажутся людям оскорбительными и недопустимыми лишь тогда, когда осуществляются другими людьми. Микрофон и камера слышат и видят вас постоянно, но сами не осуществляют наблюдения. Для этого нужен человек. Тирания человека — всегда диктатура личности. Тирания неизменно исполняемого

закона, совместно принятого людьми — свобода. Таким образом, тотальный контроль теряет свою репрессивную функцию, если полностью удалить из его сферы *другого* и заменить его *другим*, то есть оптимальным алгоритмом, основанным на живом человеческом опыте, но лишенным собственного интереса и воли. Цукербрин не человек. Это метод. Демократия — слишком важная вещь, чтобы доверять ее отправление людям. Борьба с террором — тоже.

Промотать шестьдесят минут, велел Кеша. Я сказал, что не хочу философск. зн.

Охотно, ответил Библиотекарь. Таким образом, переход от двухпартийно-открытой к трехпартийно-закрытой системе управления подразумевал, что за общественное признание борются не два противостоящих кандидата, а три взаимодополняющих цукербрина, условно называемые «консервативным», «радикальным» и «либеральным» — причем эмулятивно один из цукербринов частично негр, другой — частично китаец и пр. (условный расово-национальный состав зависит от зональности). При этом управляющий цукербрин меняется не один раз после выборов, а столько раз, сколько трансформируется общественный сентимент, непрерывно измеряемый в реальном времени...

Промотать еще двадцать минут, велел Кеша.

Осталось шестнадцать, ответил Библиотекарь.

Тогда промотать пятнадцать, велел Кеша.

Охотно. Власть может переходить от одного цукербрина к другому или третьему до семисот раз в секунду — и каждый раз достигается сложнейший компромисс между всеми тремя политическими платформами, позволяющий наиболее полным образом учитывать настроение граждан в реальном времени. Ни один самый умный

и быстрый политический обозреватель давно уже не в силах отслеживать эти процессы с той скоростью, с какой они происходят. В результате политика осталась доступной человеческому разумению только в той области, где проходит обсуждение новых алгоритмов, сам же политический процесс... Промотать... Сравнил цукербринов с тремя все время меняющимися головками бура, который ежесекундно вгрызается в реальность, чтобы пробурить ведущий к свету... Промотать... Поэтому цукербринов всегда изображают вместе: никогда в точности не ясно, какой из этих алгоритмов является высшей властью в данную секунду. Конец.

Кеша два раза наклонил голову влево. Библиотекарь закрыл свой фолиант, библиотека поехала назад, сжалась и угасла, и Кеша опять оказался на фейстопе.

Следующий выбор был прост.

Неподалеку от Ксю Бабы на фейстопе стоял бородатый господин с тростью, в смокинге и галстуке бабочкой, под которой висел тяжелый крест, образуя вместе с галстуком подобие медной стрекозы. Так, по мысли неизвестного художника, должен был выглядеть Игрок (локализация, достоевский, локализация), но Кеше этот персонаж больше напоминал набожного вампира. Кеша кивнул Игроку — и тот, взмахнув тростью, взял его в свою папку.

Это был как бы фейстоп внутри фейстопа: вавилонская игротека, темная пустота, в которой ровными рядами висели разноцветные игровые сферы. Подзывая их к себе, можно было заглянуть во множество разных пространств. Во вселенной Игрока происходило много интересного.

В танкосфере шла шикарнейшая битва возле Бранденбургских ворот, где десяток приплюснутых ИС-6 переплевывался смертью с тремя серыми «маусами».

Американский и японский флоты сошлись у неизвестного атолла, и исход был неясен, потому что команда японцев недавно проапгрейдилась по очкам, и теперь у империи имелась атомная бомба. Облепленные кислотной слизью альены шли в атаку на крестоносцев — как обычно, все слоты за альенов были заняты, свободные оставались только за крестоносцев.

В общем, можно было найти себя множеством разных способов. Разрешалось и просто наблюдать за происходящим через чьи-то глаза — куча людей бесплатно шэрила свой игровой опыт. Кеша собирался залезть в танкосферу, но вдруг услышал тревожный зуммер.

Общесистемное сообщение (или, как выражаются пандиты, Слово Цукербрина). Обычно эти сообщения касались всяких новых неудобств и неприятностей. Как раньше говорили, тревога. Свистать всех наверх.

Чертыхнувшись, Кеша поспешил назад на фейстоп. Тема правительственного сообщения, однако, настигла его еще до того, как он вынырнул на знакомую итальянскую площадь: «ВОРУ ВОР».

WAR ON WAR

Как всегда, обосрались с локализацией. WAR ON WAR — просто антитеррористический выпуск новостей. Не стоило так спешить.

У этих выпусков была, впрочем, одна приятная черта. Их по дефолту зачитывал помощник фейстопа — то есть, в его случае, Little Sister. По какой-то не до конца ясной причине это каждый раз на несколько часов примиряло сестричку с Кешей.

Сестричка уже стояла у фонтана с рожком в руке. Увидев Кешу, она сделала вид, что не замечает его (на самом деле, конечно, все было наоборот — не видя Кешу вообще, она сделала вид, что увидела его, но притворяется, будто не видит — только надо ли человеку нырять в такие глубины?), подняла рожок, грациозно изогнулась и звонко, молодо, озорно протрубила.

В звуке рожка было что-то щемяще-обидное. Если бы компания каких-нибудь злых психологов и гипнотизеров попыталась специально синтезировать звук, способный напомнить Кеше, что юность, беспечность и красота — это уже не он, получилось бы, наверное, похоже. Хотя, с другой стороны, было непонятно, чья же это тогда юность и красота, если сестричка целиком сделана из его мыслей, и никакой другой материальности у нее вообще нет... Ксю Баба могла бы, наверно, это объяснить. Только не факт, что он понял бы.

Сестричка опустила рожок и, выждав, когда все стоящие на площади приложения повернутся к ней, сказала:

— Чрезвычайное сообщение! Комиссия по общественной безопасности информирует граждан, что вероятность нового теракта Бату Караева в ближайшие пять суток возросла до двадцати пяти процентов! Фактор угрозы поднят с желтого до оранжевого! Если вы хотите что-то спросить о террористе Бату Караеве и опасности, которую он представляет для общества, я здесь, чтобы вам помочь...

Деля объявление, сестричка не смотрела на Кешу, а как бы говорила с приложениями, внимательно и тревожно оглядывая их лица — отчего Кеша на несколько секунд почувствовал себя одним из стоящих на площади. Это было страшновато, потому что сильно понижало личный статус. Но страх тут же прошел.

Кеша подумал, что вполне можно будет уединиться с сестричкой в каком-нибудь тенистом прохладном месте и послушать про Караева. Хотя рассказ, конечно, будет скучным. Все эти цукербрин-сообщения — обычная пропаганда и промывание мозгов.

Он махнул сестричке рукой.

— Я хочу спросить, — сказал он. — Только не здесь. Пойдем в кинозал, детка. Там и расскажешь.

Площадь разорвало на цветные зигзаги, и Кеша с сестричкой оказались в личном Кешином кинозале — куда он приходил смотреть старые двумерные фильмы. Это была большая комната с мягкими кожаными диванами и креслами, скопированная с кинозала на яхте какого-то русского олигарха древности. Кресел было много, на тот случай, если Кеша захочет посмотреть кино вместе с друзьями, но Кеша за все время только пару раз вытаскивал сюда Мэрилин — по прямому линку из семейной спальни. И оба раза та уснула в середине фильма.

Сегодня сестричка казалась Кеше особенно милой. Она, несомненно, все чувствовала (конечно, на самом деле это он сам... и т. д., и т. п., но ведь позволительно про это ненадолго забыть?) и кокетничала: вела себя так, словно ее единственная задача — донести до клиента требуемую информацию.

Дело, разумеется, обстояло именно так. Кокетством было показывать это с такой настойчивостью.

Кеша сел на мягкий и низкий диван перед экраном. Место как раз для двоих... Сестричка шагнула к экрану и встала у его края, чтобы не заслонять Кеше изображение.

Свет померк, и в зале стало почти темно. Темнота и близость Little Sister волновали — но без Мэрилин сестричка оставалась физически недостижима. Приблизиться к ней можно было только на метр-два, дальнейшие шаги и взмахи рук как бы выпадали из зацепления с пространством и совершенно не сокращали дистанцию...

То, что сделал дальше Кеша, было, конечно, безумной неосторожностью. Но силуэт сестрички в полутьме так воспламенил его, что он даже не обдумал всей последовательности своих действий заранее.

Пауза.

Фейстоп.

Напудренная Мэрилин с горящим над головой рубиновым сердцем (кто бы сомневался).

Спальня. Ничего не объяснять, не уговаривать. Хватаем за руку и тащим.

— Милая, мы давно уже никуда не выходим вместе, на фейстопах могут пойти толки, хе-хе... Не спорь. Сейчас мы идем смотреть передачу про террор. Ко мне. Я, как муж, имею право...

Мэрилин не спорила.

Рывок назад в кинозал — в обход фейстопа. Маневр, достойный сексуально возбужденного Наполеона.

И последнее: кивнуть в просвет двери доброму маляру Мутабору. Он тоже может на минутку заглянуть — а почему нет. Может, мы в кинозале стены красим... Бывает же у людей ремонт.

Только когда севшая рядом с ним на диван Мэрилин (у нее сегодня был на

редкость отсутствующий вид) стала сестричкой, а оригинал, стоявший возле экрана, растворился в темноте, Кеша понял, как он рискует.

Сестричка ведь озвучивала передачу.

Она сейчас будет говорить... Он никогда прежде не пробовал совращать ее в рабочее, так сказать, время. Неужели баг все равно сработает? Кто тогда будет говорить — сестричка или Мэрилин? Или этот вопрос просто теряет смысл?

Сестричка повернула лицо к Кеше и приветливо улыбнулась. Как и положено фейстоп-помощнику при выполнении служебных функций.

— Сейчас, — сказала она, — мы покажем вам Бату Караева.

Ее рот алел так близко, что Кеша почувствовал волну горячего воздуха — и слабый аромат земляники.

На экране появилась голова человека средних лет. У него был горбатый широкий нос, будто сломанный сразу в нескольких местах, разной формы карие глаза и седоватая борода, закрывающая щеки.

— То, что вы видите, — сказала сестричка, — не реальная съемка, а реконструкция. Так мог бы сейчас выглядеть Бату Караев, самый страшный террорист современности, более известный человечеству как «Dreambomber».

Кеша положил руку сестричке на колено. Прямо под краем синего гофрированного платья.

Брови сестрички чуть поднялись — и все.

— Бату Караева называют «Dreambomber», — сказала она, — потому что он совершает свои теракты в коллективных снах. Желаете ли вы получить историческую справку о коллективных снах?

— Угу, — ответил Кеша.

— Краткую или полную?

— Конечно полную.

Ему не нужна была справка о коллективных снах — но хотелось, чтобы сестричка поболтала подольше. Двусмысленность ситуации просто очаровывала.

— Технологии рекреационного сновидения, — начала сестричка, — были разработаны вскоре после того, как климатические катастрофы, войны и великие научные открытия привели к переселению цивилизованного человечества в оффглобные структуры, свободные от сил гравитации...

«Свободные от сил гравитации, — усмехнулся про себя Кеша. — Конечно свободные, когда платить нечем. А были бы шэринг поинтс, жил бы на Еврайхе... Была бы и сила тяжести, и личное пространство из двух комнат. С туалетом и душем. Лично вытирал бы жопу рукой. А сестричка была бы из биопластика. Ходили бы с ней по полу без всяких говноотсасывающих памперсов... И без проводов в голове... Нет, главное, каждую секунду мозги промывают — свободные... свобода...»

— Это радикально изменило образ жизни и потребности человека, — продолжала сестричка. — Новый уклад жизни вынудил отказаться от модели роста, исчисляемого в GDP — то есть в совокупном общественном продукте...

— Какая ты у меня умная, — прошептал Кеша.

Его ладонь медленно-медленно поползла вверх. Нечего жалеть государственного агитатора.

— Разумеется, — продолжала сестричка, — живительный родник прогресса — ежегодный рост — никуда не исчез. Но люди отказались от его материально-

затратной составляющей и вместо GDP стали измерять его в SSP — Sensate Shared Product, который более-менее соответствует общему объему коллективного телесно-эмоционального опыта. Это была величайшая из всех технологических революций, потому что она упразднила большую часть промышленности, освободив человечество от значительной части материального производства. Произошел величайший в истории человечества парадигматический сдвиг...

Кешина рука понемногу осваивалась под синей гофрированной юбкой. На лице сестрички появилась жалобная гримаска — вот, мол, в каких условиях приходится работать, — но она продолжала:

— Культура человечества предметна — ее объекты переживаются людьми через органы чувств. Научившись абсолютно достоверно воспроизводить эти чувства без соответствующей им материальной основы, человечество сделало огромный шаг вперед и подтянуло свои беднейшие слои до уровня потребления, доступного прежде лишь среднему классу... Следующим шагом было перенесение большинства общественных коммуникаций в коллективную фазу LUCID ночного сна. Жизнь человека вновь стала полноценной, открытой для социального творчества и роста...

На сестричке были крохотные стринги.

«Вот кто их на нее надел? — подумал Кеша. — Теоретически я. И практически тоже я, конечно. Но когда? Прямо сейчас, когда нащупал рукой? Или еще перед этим, неосознанно? По-любому, зря она в таких ходит, сосуды пережмет... Надо будет сказать...»

Когда Кеша делал какое-нибудь особенно прихотливое движение пальцами, сестричка начинала часто моргать, словно пытаясь избавиться от попавшей в глаз

ресницы — но продолжала говорить:

— Sharenomics, пришедшая на смену Economics, поставила человечество на рельсы бесконечного роста. Первые десятилетия этой эпохи были временем высочайшего взлета человеческой мысли, оптимизма — и беспечности. Тогда многим казалось, что все ужасы прошлого остались позади, и террор в их числе. Террористу в оффглобной структуре пришлось бы покинуть персональный модуль и заняться поиском оружия и сообщников в не слишком приспособленном для подобных операций мире... То, что злоумышленники могут использовать достижения прогресса в своих целях, не приходило никому в голову. Однако именно пространство коллективного сна и оказалось самым незащищенным от террора...

Кеша тем временем совсем обнаглел. Но сестричке ничего не оставалось, кроме как говорить и жалобно улыбаться. Делать нечего: Кеша заказал полную справку.

— Первоначальные технологии групповых сновидений практически не отличались от используемых в наше время — по той простой причине, что с тех пор не изменился человеческий мозг. Но в те годы над подобными технологиями не было никакого контроля вообще. Каждый пользователь мог как угодно программировать сны и зазывать в свое авторское сновидение других. Мало того, опытный профессионал без особого труда мог подключиться к любому коммерческому скрипту и модифицировать его как угодно. Коллективные сны в те годы вообще никак не охранялись от вмешательства — никто не видел в этом угрозы...

Кеша наконец просунул палец под стринги. Сначала один. Потом второй. Потом третий — словно это было циничное и спаянное нацменьшинство, организованно переселяющееся в теплое местечко.

— Коллективные сновидения считались безопаснейшим из развлечений, — продолжала сестричка, морщась, — потому что из любого кошмара всегда можно было вынырнуть в явь. Как говорил по другому поводу Эпикур, боль в сновидении не могла быть слишком сильной — или слишком долгой. Никто еще не знал о возможности запереть человека во сне. Это открытие сделал молодой программист по имени Бату Караев...

Кеша не выдержал. Соскользнув с дивана, он встал на колени перед сестричкой и решительно положил ладони ей на ноги — словно на руль большого мягкого мотоцикла, едущего к счастью. Сразу же стало понятно, почему на сестренке стринги — их даже не надо было снимать, достаточно оказалось просто сдвинуть в сторону.

Сестричка больше не морщилась. Теперь она глядела на него загадочно мерцающими в полутьме глазами и говорила, иногда чуть запинаясь в такт его рывкам:

— Сейчас уже нет возможности установить, как именно Караев пришел к своим взглядам, кто повлиял на него и кем были его духовные учителя. Ясно только одно. Караев не рассказал никому о своем случайно сделанном открытии. В те годы Караев еще не был террористом. Он работал программистом в киберсекьюрити. Однако в душе он считал себя... Художником. Да-да, вы не ослышались — художником, прямо как Гитлер. Вот отрывок из его личного дневника — запись, сделанная им в возрасте двадцати пяти лет...

То, что сестричка все время говорила, возбуждало Кешу, но мешало ему сосредоточиться на процессе — его внимание постоянно соскальзывало с

физиологических переживаний на ее рассказ. Но это же обстоятельство позволяло растянуть упражнение.

Кеша обернулся к экрану.

С экрана глядел худой молодой человек, густо заросший щетиной. Он был одет в черный мундир CyberSec, а комната за его спиной походила на зал кунсткамеры со всякой занимательной мерзостью — заспиртованными уродцами, скелетами двухголовых зверей, пыточными ошейниками и кнутах, огромными медвежьими капканами и разнокалиберными никелированными крюками. Так оформить свой фейстоп мог только псих. Причем псих с чистой — пока еще — совестью, не боящийся, что его возьмут под колпак.

Молодой Караев поглядел в объектив и сказал:

— Вот что важно. Весь современный инструментарий искусства безумно устарел. Во времена Гомера можно было полностью покорить человека магией слов... Триста лет назад зритель еще мог полностью отождествиться с фильмом не во сне, а наяву. Но сегодня описывать тревожнения духа в словах или показывать зрителю движущиеся картинки, изображающие маршрут физического тела среди других материальных объектов, уже бесполезно. Жизнь больше не поддается достоверной симуляции такими методами. Новое искусство возникнет где-то на стыке технологий осознанного сна и гипноза. Художник будущего будет писать человеческие жизни. А потом предлагать — или заставлять других пережить во сне созданный им скрипт, превращая его в полноценный чувственный опыт. Грань между искусством и жизнью исчезнет полностью. Мало того, художник сделается подобным Богу. Он сможет решать, что, как и когда произойдет со зрителем,

упаковывая в этот принудительный рисунок даже то, что кажется индивидууму всплесками его свободной воли...

Кеша отвернулся от экрана. Он был рад, что сестричка заставила его отвлечься — его уже отнесло прочь от точки невозврата, и теперь он мог повторить свое сентиментальное путешествие заново.

— Программист высочайшего уровня, Караев был постоянным консультантом спецслужб, — продолжала сестричка. — Он досконально знал, как функционирует сложнейший электронный мир вокруг нас. По этой же причине ему не составляло труда обойти защитные стены, которыми человечество пытается оградить себя от зла. Первоначально Бату Караев работал в Комитете Охраны Символического Детства в отделе защиты от половых мыслепреступлений. Он отлавливал мерзавцев, которые, занимаясь легитимным сексом со своим социальным партнером, представляет себе на его месте маленького мальчика или девочку...

Кеша вздрогнул.

Услышанное напугало его до такой степени, что он прикусил себе язык — но не прекратил двигать бедрами, поняв, что система заметит сбой в его биодате, пришедшийся именно на эту фразу. Вот так мыслепреступников и ловят. Продолжать, непременно продолжать... Радует жизнь... А пульс мог участиться просто от вовлеченности в праздник плоти... Сестричка мстительно ухмылялась во всю свою рожицу — но Кеша никак не проявил своего испуга.

Сестричка продолжила:

— Караев сделал свое открытие случайно, экспериментируя с LUCID-скриптами собственного сочинения. Из-за программной ошибки он оказался заперт

в одном из снов своей разработки — и чуть не умер от боли и холода, потому что ему приходилось раз за разом падать со сноуборда в сугроб. Он смог проснуться лишь по той причине, что его домашнюю сеть отключили за неуплату — и разорвали связь с компьютером, к которому был подключен его мозг. Если бы на счету Бату Караева нашлось достаточно sharing points, общество, возможно, было бы избавлено от одного из своих самых жутких кошмаров. Но Караев проснулся. И понял, как заставить других увидеть его страшный сон. Мало того, он понял, как сделать так, чтобы даже отключение от компьютера больше не смогло разбудить спящего...

Кеша уже пришел в себя.

Он не представлял себе никого на месте Мэрилин. Поэтому он не был мыслепреступником в том смысле, о каком говорила сестричка. Во всяком случае, формально. Проблемы с законом могли быть разве что у клоуна Мутабора. Кеша был мыслепреступником в другом смысле — и проходил бы по другой статье. Слабое, конечно, утешение.

— Караеву не составило труда воплотить случайно открытый им принцип в программу вирусного типа, — продолжала сестричка, причем Кеша готов был поклясться, что на ее лице все еще гуляет глумливая ухмылка. — Он знал, как заразить серверы, поддерживающие коллективное сновидение. Первый же его теракт был чудовищен по своему цинизму. Караев атаковал людей, собравшихся на праздничный рождественский сон вокруг одной из локальных гипноелок. Он проявил при этом немало изобретательности, сразу ставшей визитной карточкой этого террориста. Да что там изобретательности — художественного таланта. Мы не можем восстановить пережитое его жертвами полностью — терровирусы Бату

Караева написаны таким образом, что самоуничтожаются. Мало того, наблюдателю пришлось бы умереть, чтобы досмотреть скрипт до конца. Но мы можем показать вам слабый отблеск этого ужаса. Вы увидите теракт — вернее, начало исполнения терроскрипта, — глазами одного из выживших. Наблюдателю удалось проснуться, чтобы расшэрить с нами свой страшный опыт...

Сестричка поглядела Кеше за спину — как делают, когда хотят заставить собеседника обернуться. Кеша сперва не поддался на уловку — но за спиной заиграла музыка, послышались человеческие голоса, и на лице сестренки изобразился такой живой интерес, что он не вытерпел и покосился назад — как и в прошлый раз, не прекращая мыслепреступления полностью, а только перейдя с галопа на медленный семейный аллюр.

На экране возникла огромная площадь, окруженная силуэтами сказочных замков и дворцов — слишком далеких и грандиозных, чтобы быть настоящими. Казалось, это особым образом нарезанные и подкрашенные облака.

В слепящем свете разноцветных прожекторов катались на коньках, танцевали и просто гуляли люди, одетые самым невообразимым образом. Над ними летали большущие махровые бабочки и смешные целлюлитные ангелочки, трубили в рога крылатые эльфы, разбрасывали искры огненные стрекозы. И в центре этого великолепия возвышалась рождественская елка — небывало высокая, сине-зеленая, вся в радужных шарах, звездах и лентах, с бриллиантовым ледяным шпилем на верхушке.

Внезапно в толпе раздались крики. Вместе с неизвестным зрителем Кеша повернул голову на голоса — но ничего не увидел. Потом рядом что-то сверкнуло и

грохнуло.

Кеша поднял глаза на елку.

Огромные светящиеся шары один за другим срывались с ее ветвей, летели в толпу и лопались огненными пузырями. Люди, в которых попадали дымные стрелы осколков, не исчезали, как бывает при пробуждении от группового сна, а падали на землю, обливаясь кровью. Кеша увидел оторванную голову. Затем руку.

Толпу затянуло клочьями сизого дыма. Начался какой-то совсем гротескный ужас: еловые ветки стали превращаться в длинные зеленые плети, хлещущие людей. Сперва они дотягивались только до стоящих у самой елки — но становились все длиннее и летали все быстрее. Их концы словно сделались стальными — ударяя, они рассекали человека надвое.

Потом рядом с Кешей взорвался очередной елочный шар, и его повалило взрывной волной. Сверху на него опрокинулось еще несколько тел, и наступила тьма.

— Повторяем, так все выглядело для того, кто выжил. Чем этот страшный опыт закончился для погибших, не знает сегодня никто.

Переживание было совершенно реальным — Кеша даже не заметил, в какой момент он сделался участником происходившей на экране драмы. Но тьма отпустила, и он вывалился из нее назад — прямо на сестричку. Контраст был завораживающим. Кеша вернулся к прерванному гипнороликом занятию не без некоторого усилия.

— Уже в первом преступлении дримбомбера, — как ни в чем не бывало продолжала сестричка, — видны все особенности его кровавого почерка. Прежде

всего — это стремление превратить теракт в подобие мрачного перформанса, в шедевр акционизма. Как мы помним, о своих художнических амбициях Бату Караев заявил в самом начале своей кровавой карьеры. Именно эта особенность злоумышленника заставила многих предположить, что он является психически больным человеком. Так, разумеется, и оказалось. Однако неадекватность, как это нередко бывает, соседствовала у Караева с точнейшим преступным расчетом, который за время его карьеры ни разу не дал осечки...

Сестричка опять поглядела ему за спину. Кеша снова обернулся к экрану и увидел какой-то огромный холодильный зал, где были свалены полуголые человеческие тела. Их показывали всего секунду или две, но этого хватило, чтобы различить на трупах пластиковые памперсы и маски системы «LifeBEat».

Мертвые современники выглядели слишком жирными — и слишком дистрофичными одновременно. Без виртуального грима их белая дряблая кожа могла возбудить только изголодавшуюся пиявку. И еще Кеше показалось, что в открытых глазах нескольких ближайших к нему трупов застыл ужас. Если это, конечно, не был просто блеск льда, в который превратились белки...

— Все, кого вы видите, убиты Бату Караевым, — продолжала Little Sister. — Медицинской причиной их смерти был спазматический мозговой резонанс, или SBR. Этот судебно-медицинский термин появился в научном обиходе в результате деятельности террориста. Никому, кроме Караева, не известно, что именно пережили и испытали эти несчастные в своем последнем сне. Мы можем только строить предположения, основываясь на крохах имеющегося в нашем распоряжении материала. Например, в одной из своих дневниковых записей Караев похвально,

что нашел способ лично прийти к каждой из жертв в ее последний сон... А в другой он утверждал, что понятие им про мир дает ему индульгенцию на любые зверства...

Кеша почувствовал, что его любовный пыл почти угас. Он повернулся к сестренке и из последних сил возобновил погоню за счастьем. Он больше не вслушивался в ее слова и не оборачивался к экрану — до тех пор, пока не нагнал наконец это счастье. Оно, правда, опять ускользнуло в тот самый момент, когда его биологический аспект был наконец пойман, но Кеша не обижался. Он давно знал, что в мире и не бывает по-другому.

Через несколько минут он, как добропорядочный гражданин, уже лежал в семейной спальне рядом с похрапывающей Мэрилин, над головой которой горело ненасытное красное сердце.

Кеше тоже хотелось спать. Но хитрить сегодня предстояло и во сне — он помнил, что для должного тумана в метадате ему следует заглянуть в фазу LUCID.

Фаза «LUCID»

На этот раз Кеша не сорвался прежде времени, а дрых ровно столько, сколько положено социально ответственному гражданину — до конца фазы REM1. Он честно отсмотрел новую серию «Революции», где швырял вывороченные из мостовой булыжники в полицейскую фалангу, выставившую щиты с вензелем диктатора. Даже сорвал ноготь (такое могло случиться только во сне).

Похоже, для нештатного пробуждения не хватило той праздности, которая позволяла ненадолго утратить интерес к борьбе — и вспомнить, что перед ним просто сериал. В этот раз все было всерьез — слезоточивый газ больно щипал носоглотку, и стоило на несколько секунд прекратить революционную деятельность, как руки и ноги начинали коченеть от промозглого холода. «По просьбам зрителей» новый сезон восстания перенесли на север. Кеша предполагал, что просьбы тут ни при чем — видимо, проблема с досрочным пробуждением была раньше не у него одного. А чем жестче скрипт, тем сложнее проснуться.

Оранжевая звезда фазы LUCID загорелась прямо впереди — и мягко вывела Кешу в осознанный сон. Визит в пространство коллективных снов должен был укрепить его союз с человечеством — и отразить это в метадате. Но Кеша чувствовал легкую нервозность даже во сне. Он называл такое чувство «синдромом паршивой овцы».

Отмерцав, оранжевый луч погас. Прошли положенные три секунды задержки, и тьма перед Кешиными глазами разъехалась, как распоротый бритвой занавес.

Он стоял между двумя висящими во тьме огромными зеркалами, отражающими

друг друга. Эти же зеркала были источником слабого желтого света.

Так выглядела контрольная рамка, которая и заставляла Кешу нервничать. Переборов страх, Кеша заглянул в бесконечный зеркальный коридор. И увидел себя.

Он выглядел на свои двадцать семь — даже лысина в нимбе мелких светлых кудряшек была тщательно перенесена сюда из реальности (в которой, впрочем, самих кудряшек не было, а была лишь лысина — и короткая щетинка вокруг). На нем был дефолтный выходной наряд — красная хламида в желтых серпах и молотах, последний оплот непопулярной русской идентичности и дополнительная гарантия, что праздное человечество оставит его в покое.

Бесконечная шеренга таких же красных, серпасто-молоткастых лысеющих блондинов уходила в зеркала в обе стороны. Очередь за бесконечностью, как сострил какой-то поэт.

Вот из-за этого зеркального тамбура Кеша и не любил прогулок в пространстве LUCID. Он понимал, что он вызовет больше подозрений, если не будет сюда ходить — но ему казалось, что рамка способна мистическим рентгеном просветить его ум и понять про него все-все до конца.

Поэтому он маскировался предельно хитро. Во сне Кеша мог сделаться кем угодно. Но он всегда выходил в фазу LUCID в стандарте raw — то есть так, как выглядело бы его физическое тело на самом деле. Это было умнее всего: все расшэренные личные выборы хранились в системе вечно, и аналитики из Комитета по Охране Символического Детства смогли бы при желании узнать о нем очень много по мелочам, которым он даже не придал бы значения сам.

Впрочем, Кеша знал, что его страх на девяносто девять процентов беспочвен.

Зеркальная рамка нужна была для защиты от террористов вроде Бату Караева. Но проходить сквозь нее лишний раз не хотелось все равно. Каждый раз, когда зеркала наконец растворялись в пустоте, Кеша облегченно вздыхал.

Вот как сейчас.

Огромный круг площади Несогласия, появившийся перед ним, был заполнен людьми. Площадь походила на пологий амфитеатр, спускающийся к памятнику-трансформеру, парящему в ее центре — прямо над Колодцем Истины. Настоящую площадь такой формы и размера, понятно, затопило бы при первом дожде — но во сне подобных проблем не возникало.

Сегодня памятник над Колодцем Истины изображал длинноволосого юношу (или девушку, силуэт был унисексуален) в бронзовой тунике, с чем-то вроде тревожно мерцающей лампы в высоко поднятой руке. Кеша нахмурился, пытаясь вспомнить, кто это такой/такая — и тут же увидел пояснительную табличку с текстом, возникшую в пустоте прямо на линии его взгляда.

Это был легендарный герой русской древности — первый славянский транссексуал Данко, поднявший над головой свой «вырванный с корнем сексизм, разрывающий тьму патриархальной ночи таинственным розовым светом осциллирующей половой идентичности».

Информация, конечно, могла быть индуцирована в Кешин ум напрямую, но табличка давала выбор — читать или нет. На ней было много-много букв, и каждое движение глаз множило их число: при желании Кеша мог погрузиться в историю вопроса и узнать, что это за патриархальная ночь и как она связана с осенью патриарха, про которую он где-то недавно слышал, и зачем вообще сексизм надо

было вырывать с корнем, если можно просто отрезать под наркозом. Но он отпихнул табличку безразличным движением века, и она растаяла в пустоте.

Статуя Данко, вероятно, выглядела так только для зрителей с русской локализацией, и невозможно было узнать, что видят на ее месте другие, не вступив в беседу. Вроде бы пространство бесконечной свободы и изменчивости. Но Кеша знал, что здесь такие фокусы, которые он проделывал наяву, не прошли бы — коллективное сновидение защищало себя от девиантов и выроdkов namного тщательней. Во сне следовало быть дисциплинированным гражданином — и тщательно следить за речью, чтобы неосторожным словом или увесисто брошенной мыслью не оскорбить чувства других.

Кеша побрел по площади, вежливо улыбаясь встречным. Люди стояли по двое, иногда по трое — в тогах, трико, накиdках из перьев, репрессивных униформах из черного латекса с предусмотрительно перечеркнутыми свастиками и даже в стоячих балетных юбках на голое тело — здесь было столько же разных identities, сколько собравшихся. Как всегда, проходя через этот удивительный человеческий цветник, Кеша дивился числу непохожих друг на друга форм, принимаемых свободным духом, и тихонько гордился, что он тоже часть этого волшебного сада (увы, увь, черная роза с ядовитыми шипами — но не значит ли это, спросим мы шепотом, что такой цветок тоже угоден цукербринам?).

Судя по тому, что над Колодцем Истины подняли памятник Данко, общественная дискуссия на площади касалась дальнейшей сексуальной эмансипации человека — и, как всегда в таких случаях, обещала быть жаркой. Кеша увидел возле памятника помост, похожий на эшафот из рождественской сказки.

Вместо плахи на нем стоял стол президиума.

Как всегда в LUCID-сне, достаточно было зафиксировать внимание на объекте, чтобы тот оказался совсем рядом. Зрителям ни к чему было шагать к предмету своего интереса сквозь иллюзию пространства, и на площади Несогласия никогда не возникало давки. Каждый отлично видел все оттуда, где стоял — и Кеша тоже.

В президиуме сидела обычная для таких вечеров тройка, официально называвшаяся «Trigasm Superior». Это были три старые матерые феминистки — седые, загорелые, голые по пояс, с голографическими многоцветными татуировками на дряблых сухих грудях, оттянутых вниз вдетыми в соски гирьками (у Кеша заныло в паху — но не из-за возбуждения, просто он вспомнил, что завтра или послезавтра на работу).

Его заинтересовали татуировки, и старушечьи молочные железы заняли весь центр его поля зрения. Оказалось, на этих скрученных временем пергаментных размещалась целая художественная выставка — причем не в переносном, а в прямом смысле.

Кивнув пригласительному знаку, Кеша нырнул под сухие, выдубленные временем кожистые своды. Реальность несколько раз моргнула (выставка, судя по всему, самонастраивалась на национально-культурные параметры посетителя) — и в уши Кеше ударило печальное бление балалаек и домр.

Он оказался в пространстве вечной памяти и скорби, в одном из тех траурных мемориалов, что напоминают освобожденному человечеству о неизмеримой боли, сквозь которую люди тысячелетиями брели к свободе и счастью. Экспозиция посвящалась страданиям русской женщины в эпоху патриархата — и изображала

традиционные ритуалы гендерной инициации в русской деревне.

Художественное решение впечатляло. Выглядело все так, как если бы множество мелких татуировок на женской коже ограничили четырехугольниками из спичек, а затем увеличили результат во много раз и превратили в стену галереи. Или как если бы Кеша смотрел на бок татуированного слона-альбиноса. Участки эпителия, обрамленные рамами, стали как бы развешанными на стене картинами. Получилось свежо, смело — но высокий трагический пафос ничуть при этом не снижался.

Содрогаясь от балалаечного crescendo, Кеша побрел по кожистому коридору.

На первой татуировке толстая голая деваха, неприятно напоминавшая Мэрилин, входила в горящую избу. На второй — она же пыталась удержать за задние ноги коня, которого хлестали плетками два монгола. На третьем — крича от боли, поднимала увесистого малыша лет трех-четырёх на чем-то вроде продетого сквозь груди слинга... Кеша опять вспомнил про работу и наморщился.

Впрочем, чужая боль волновала даже несмотря на неприятные ассоциации. А может быть, именно из-за них. К тому же на последней татуировке жертва гендерного шовинизма выглядела моложе и привлекательней.

Кеша сам не заметил, как залюбовался чужим страданием. Стал слышен доносящийся сквозь балалаечную сюиту голос чтеца, как бы предъявляющий прошлому страшный неоплатный счет:

— Коня на скаку остановит... В горящую избу войдет...

Кеша вдруг похолодел. Он понял, что старушечий синклит вполне мог подключиться к его биодате — кто-то говорил, что это возможно, когда в фазе LUCID

попадаешь в так называемую петлю, выглядящую как длинный изгибающийся коридор. Мемориальное пространство было организовано именно так. И сейчас эти три старые выдры могли видеть все его физиологические характеристики — давление, потоотделение, температуру, пульс, эрекцию. И у них, конечно, было приложение, способное сразу прорисовать его реактивные сигнатуры в сфере влечения.

Это была феменистическая подстава, засада аффилированных с властями бешеных лесбиянок, сканирующих чужие жизненные ритмы, чтобы набрать достаточно обвинительного материала для одного из тех отвратительных процессов, что так любят обсасывать в новостях. Такое случается постоянно. И, главное, он сам шагнул в ловушку. Надо же...

Долгий конспиративный опыт, однако, помог. Кеша знал, как уйти от опасности. Он быстро представил себе кучу дерьма во всех мелких необязательных подробностях — и глядел на нее до тех пор, пока не почувствовал отвращение. А потом он так же отчетливо совместил свою визуализацию сперва с горячей избой, потом с остановленным на скаку конем, а затем с продетым сквозь женскую грудь слингом — и расшэрил свое отвращение к увиденному, придав ему необходимую длительность и плотность. Испытав легкое подобие рвотного спазма и расшэлив его тоже, он быстро пошел по коридору вперед.

На татуировках вокруг было много интересного — иссечение клитора топорами, зашивание рта лыком и другие зигзаги корневого русского ужаса. Но Кеша не задерживался на этих картинах взглядом. Когда какая-нибудь из них попадала в его поле зрения, он вновь вызывал в себе омерзение. Даже его страх был кстати —

он мог быть проинтерпретирован как здоровая реакция на увиденное... Если, конечно, кто-то действительно следил за его данными.

На выходе из мемориала он тщательно и горько, так, чтобы расширилось наверняка, покаялся за то, что он русский — и попросил доброе человечество извинить его за все то зло, которое русские оккупанты принесли патриархальной деревенской женщине.

Такое никогда не мешало.

Уведя наконец внимание из-под дряблой жреческой сиськи (кажется, пронесло — иначе просто не выпустили бы), Кеша с достоинством осмотрелся, глубоко вздохнул (что, не взяли, старые курвы) — и перенес внимание на публичный диспут, который слушала площадь.

Прямо под столом трибунала стояло двое диспутантов. Вернее, стоял только один — высокий фурри с собачьей мордой, поросший черной лохматой шерстью. Оппонент трибунала, бородатый мужчина в кожаном ошейнике, сидел на корточках, и фурри иногда начинал нетерпеливо крутить хвостом и дергал его за поводок. Кеша узнал в сидящем философа Яна Гузку. Слушать диспут целиком не было сил, и Кеша мигнул появившейся перед ним кнопке «abridge».

Суть спора касалась браков с фурри. Дело это было давно решенным, однако в последнее время фурри стали подвергаться атакам феминисток, утверждавших, что под покровом темноты и шерсти злоумышленники пытаются протащить в легальное пространство элементы педофилии. Многие фурри, с их точки зрения, выглядели чересчур моложаво, их кожа слишком розово просвечивала сквозь шерсть, а дыхание было горячим и чистым, как у ребенка. Поэтому блюстители общественной морали

требовали добавлять в облик фурри, брачующихся с людьми, обязательные элементы зрелости — некоторую дряблость кожи, сваянность шерсти, вонь из пасти и из-под хвоста, отвисание вымени, стертость когтей и копыт. Это тоже было решенным делом — диспут касался лишь конкретных законодательных требований к мере возрастного распада.

Ян Гузка, бросив на мохнатую сторону весов всю мощь своего бесстрашного интеллекта, доказывал феминистическому синклиту, что у животных фаза половой активности наступает значительно раньше социальной зрелости, поскольку последней у зверей нет вообще. А ближайшим аналогом возраста гражданской ответственности следует считать фазу жизни, когда животное может самостоятельно охотиться и добывать себе пищу. И только так должен определяться предусмотренный законом возрастной ценз.

— А как тогда быть с черепахами и овечками? — спросила самая матерая из феминисток. — Они ведь не охотятся. А травку едят с самого рождения. Вы всячески продвигаете! Вы постоянно продавливаете свою педофилическую повестку!

Ян Гузка погрузился в размышления.

Фурри нетерпеливо дернул за поводок, и зазвенел привязанный к шее философ колокольчик, вибрации которого Гузка тут же погасил легким движением бороды — чтобы звон не мешал думать.

Кеша обязательно задержался бы на площади, чтобы послушать знаменитого умника и златоуста. Но его уже тянуло совершить свое любимое хулиганство.

Он повернулся и медленно пошел сквозь толпу, на шаривая взглядом китайскую арку, за которой начиналась Стена Доверия. Сперва ее заслонял эшафот с тремя

кавалерственными мумиями — но, как только Кеша увидел далекий черный силуэт, похожий на «П» с двойной верхней перекладиной, арка сразу же оказалась перед ним — и он прошел под монументальным знаком математического равенства, покоящимся на двух колоннах. Почему-то, ныряя под арку, он всегда воображал себе, как превращается в большого каменного тролля, заросшего мхом и травой — хотя плохо представлял себе, что это за тролль и откуда он взялся в его голове. Наверно, прилип какой-то мультфильм из инкубатора.

Теперь впереди была длинная улица — пустая, узкая и неприветливая. Даже не улица, а странный проход между бесконечным слепым домом, выкрашенным в гороховый цвет, и темно-красной стеной, густо покрытой разноцветными надписями и листовками разного размера и вида. Что-то вроде длинного-предлинного тупика, куда не выходило ни одного окошка.

Кеша никогда никого не встречал в этом месте. Он и не мог никого тут встретить. Любой, прошедший под аркой, гарантированно оказывался в одиночестве — в пространстве индивидуального самовыражения, за которым запрещалось наблюдать по закону. Написать на стене можно было что угодно. И никаких следов этого поступка в информационном пространстве не оставалось. Вернее, не оставалось следов авторства — а надписи на стене становились видны новым визитерам как чье-то анонимное самовыражение.

Кеша чужих надписей не читал. Большинство из них было просто нецензурными выплесками угнетенной психики, на несколько секунд освободившейся от тисков социальной нормы. Кеша не верил до конца, что эти словоизлияния не сканируются и не записываются — он подозревал, что они

попадают в его личный файл точно так же, как и все остальное. Поэтому он троллил систему хитро — и эта хитрость восхищала его самого.

Приблизившись к стене в своем любимом месте, он взял кисть из ведра с черной краской, услужливо появившегося внизу, и написал крупными буквами:

FUCK THE SYSTEM, BRO!
I DO IT EVERY DAY

Полюбовавшись на надпись, он хихикнул. Такая же точно была рядом. Оставлена две недели назад. Еще одна — уже еле видная под чужими буквами — чуть левее. Ей месяц. Он всегда писал одно и то же. Чистую откровенную правду о самом главном. Ее совершенно невозможно было расшифровать.

Несколько чужих надписей успело все-таки протиснуться под броню его незаинтересованности — начиная от ярко-алого напоминания про усиленно продвигаемого музыкальной индустрией рэппера-сефарда:

AIPAC SHAKUR III RULES THE WORLD!

и кончая многословным отзвуком какой-то смешной девичьей обиды на листе бумаги, наклеенном поверх разноцветных непристойностей и святотатств:

ПОЗВОЛЬТЕ ЧЕРЕЗ ЭТО ДАЦЫБАО
ПРЕДЛОЖИТЬ ГОСПОДИНУ КУПРИЯНОВУ

**НАДЕТЬ РОЗОВОЕ ТРИКО, НАРИСОВАТЬ
НА СТЕНЕ МОЮ ЧЕТВЕРТУЮ РУКУ
И ЛИЗАТЬ ЕЕ ДО ПОЯВЛЕНИЯ НА ЯЗЫКЕ
КРОВАВЫХ МОЗОЛЕЙ. НАТАША.**

Сколько людей, столько настроений.

Даже тут надписи становились видны Кеше с учетом локализации — судя по обилию русского языка. И они хотят, чтобы мы верили, будто за нами и вправду не следят...

Как только эта мысль промелькнула в Кешином уме, она тут же получила подтверждение, увесистое, как удар поддых.

Он увидел ответ под одним из своих прошлых «fuck the system». Это была аккуратная надпись светло-голубой краской:

**ЭТО НЕ ТЫ ИМЕЕШЬ СИСТЕМУ, БРО.
ЭТО СИСТЕМА ИМЕЕТ ТЕБЯ. ТЫ ПРОСТО ЕЩЕ
НЕ ПОНЯЛ, КТО СВЕРХУ, А КТО СНИЗУ.
ТВОЙ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ БАТУ.**

То, что перед ним ответ, делалось ясно по «БРО». Но самым жутким был язык — русский, хоть Кеша всегда писал здесь по-английски. Это могло означать, что отвечавшему известна его языковая локализация. Возможно, у него имелся даже доступ к метадате: он откуда-то знал, что совсем недавно Кеша смотрел программу

про Бату Караева.

С другой стороны, все могло быть и случайностью. Неизвестного русскоязычного пользователя могло привлечь дацзыбао про господина Куприянова (мне бы их проблемы, подумал Кеша угрюмо), а Караев был настолько известным террористом, что каждый второй хомячок наверняка подписывал свои изречения на Стене его именем.

В любом случае следовало сохранять спокойствие и вести себя так, словно ничего не произошло. Потому что ничего еще действительно не произошло...

Но все-таки по дороге к выходу Кеша не смог удержаться от отрывистых (и, хотелось верить, невидимых для системы) размышлений:

«В чем-то он прав, этот доброжелатель. Ведь система действительно имеет меня прямо сейчас. Если бы было наоборот, разве меня так трясло бы? Разве мне надо было бы прятаться?»

Кеша успокоился, только выйдя на площадь — и решил считать случившееся простым совпадением. Виноват на самом деле он сам — не следовало дергать тигра за усы, развлекаясь подобным образом. Зачем ему вообще эта Стена Доверия? Чего, спрашивается, стоит наслаждение собственной лихостью, если в любую минуту его может сменить страх?

Словно услышав, страх вернулся — и снова дал Кеше поддых своим ледяным кулаком.

Из толпы на него глядела Little Sister.

Под ее левым веком темнел синяк, а в глазах блестели слезы свежей обиды. На ней был костюм, какого Кеша никогда раньше не видел — что-то вроде эльфийского

доспеха, оставляющего открытыми руки и длинные тонкие ноги — и это, не мог не отметить Кеша, ей шло. Ее волосы были гладко зачесаны назад. Новая прическа.

Кеша вдруг понял, что сестричка сейчас подойдет к трем старым выдрам — и на ухо расскажет им все-все. И его возьмут прямо здесь. Он не знал, как это будет выглядеть, но слышал — запрут в тюремном сне, из которого можно будет просыпаться только в тот же самый тюремный сон... И никакой Ян Гузка ему не поможет, потому что на Кеше недостаточно черной шерсти, чтобы вызвать у великого гуманиста эмпатию и сострадание...

Кеше захотелось побежать к выходу из группового сна — но он понимал, что такая реакция выдаст его с головой. Он несколько раз глубоко вздохнул, обвел глазами площадь и снова посмотрел на сестричку.

Она уже исчезла.

Уйти она не успела бы. И затеряться в толпе тоже — народу вокруг было немного, рядом с ней гулял только выводок индийских толстух в пестрых сари.

Кеше снова захотелось побежать к выходу — и лишь чудовищным усилием воли он удержал себя на месте.

«Они за мной следят, — подумал он. — Они меня ловят. Провоцируют. Сначала эта галерея, теперь она... Все один к одному... Или я схожу с ума?»

Такой вариант был возможен. На коллективный сон могли наложиться личные видения, особенно при разболтанной нервной системе. Не следовало торопиться с выводами. И, самое главное, надо было держать себя в руках. Помнить, всегда помнить древнюю мудрость — ничто так не выдает человека, как он сам.

Кеша повернулся и пошел к выходу, стараясь ступать медленно и расслабленно.

Чтобы шагнуть в зеркальный коридор, ему пришлось сделать над собой серьезное усилие.

Зеркала пропустили.

Вспыхнула на миг оранжевая звезда, погрузив вселенную во тьму — и погасла. Фаза LUCID кончилась.

Переводя дыхание, Кеша стал всплывать из сна в явь — вверх, к смутно дрожащему свету фейстопа. Такого кошмара он не помнил давно.

Завтра никакой сестрички.

Добросовестный семейный секс с Мэрилин.

А потом какая-нибудь игра. Что-нибудь традиционное. Танки, да. Главное — побольше заячьих петель в метадате.

Сердце над головой Мэрилин, как обычно, горело с самого утра. А «ЛАВБУК ИУВКЩЩЬ» объявил тематический маскарадный день — «ЭПОХА АБСЕНТА». Выбор был простым.

Как разъяснили поп-апы, празднично стреляющие серпантинном, Мэрилин сегодня за счет системы наряжат Надеждой Крупски, а сам он будет Владимиром Ульяновым. Вот бы еще знать, кто это такие. Наверно, какие-то древние художники. Абсент, Ван Гоголь...

Шерящие свой интимный опыт парочки в окнах «ЛАВБУКА» пока что разминались — однообразные господа с козлиными бородами раздевали и щупали наряженных в длинные платья дам. Общим элементом для всех спален была пузатая бутылка с зеленой жидкостью, стоящая на столике перед кроватью. Как всегда в маскарадные дни, Кеша ощутил легкую приподнятость духа.

Войдя в семейную спальню, он иронично кивнул всем, кто мог смотреть на него в эту секунду. Если они были вообще, в чем он сомневался из-за низкого личного рейтинга.

Мэрилин в длинной темной юбке и кружевной блузке лежала на кровати, глядя в угол. Был виден ее сонный профиль — и профиль этот ни капли не возбуждал.

«Понятно, зачем спиртное», — подумал Кеша философски, заметив рядом с кроватью пузатую бутылку. Странно, что алкогольный напиток назначили символом целой эпохи. Наверно, мрачное было время. Пыльное и безрадостное.

Кровать с Мэрилин вдруг затянуло мглистым квадратным поп-апом. В нем

появилась пыльная и безрадостная — вот точь-в-точь, как он только что подумал! — улица доисторического уездного городишки в черно-белом разрешении. Сквозь окно одного из домов стала видна комната, подкрашенная сепией. За письменным столом среди канцелярских папок сидел похожий на Чехова русский интеллигент с бокалом в руке. Жидкость в бокале была ярко-зеленой — единственное цветное пятно в кадре.

Где-то пробили часы — их звук показался Кеше невыразимо тоскливым.

Интеллигент словно решил. Он залпом выпил зеленую жидкость, сбросил несколько папок на пол и вскочил на ноги — но Кеша так и не узнал, что тот хочет сделать: движение прекратилось, а картинка расцвела тысячью райских цветов, раскрасив восстающего из-за стола в какой-то небывалый радужный куст, проросший сквозь серо-коричневую сепию. Мгновение было прекрасно — и оно остановилось.

ABSINTH УПЕЙ СИБЯ ГОЛОВОЙ АПСЕНТУ!

Опять с локализацией обосрались, подумал Кеша с ленивым отвращением. Даже непонятно, что они такое пытались выразить.

Поп-ап стал гаснуть. Появились цены за разовое администрирование и недельный цикл — они были, надо сказать, круты. Потом сквозь них опять стала видна Мэрилин — и стоящий рядом столик с пузатой бутылкой и круглым бокалом. Кеша налил густой зеленой жидкости в бокал и понюхал. Судя по запаху, абсент был

сладким ликером. Сейчас главное не кивнуть, пока цены не погасли окончательно — хотя сегодня скидка на абсент была пятьдесят процентов.

«Ну запах, — подумал Кеша, — это понятно. Через маску. А вот как делают рюмку и бутылку — когда я закрываю глаза? Через трэмпэд? Я же их все время чувствую пальцами... Или нет?»

Он закрыл глаза. И сразу стало непонятно, есть у него что-то в руках или нет. Он опять открыл глаза. Бутылка и бокал по-прежнему были в его руках. Теперь он совершенно точно чувствовал их пальцами.

«Понятно, — подумал Кеша. — Трэмпэд подключили через зрительный канал... Или наоборот...»

Он вдруг поднес бокал к губам и сделал большой глоток. Потом еще один. А потом сообразил, что это было не осознанное решение, а спонтанный поступок. Даже чересчур спонтанный, чтобы быть его собственным. Но, поскольку на абсент сегодня была скидка, с этим можно было смириться.

Абсент оказался крепкой настойкой, далеким родственником всяких пастисов и перно — с очевидным мезальянсом в линии генетической передачи. И, видимо, в нем был какой-то наркотик — кровать с Мэрилин расцвела множеством дымных радуг, а сама социальная партнерша поманила к себе десятком выросших на ней прозрачных рук.

«Угу, — подумал Кеша, наклоняясь к ней, — теперь понятно, почему такие цены. А другие, интересно, пьют?»

Одного взгляда на ЛАВБУК хватило, чтобы убедиться — пьют, и еще как.

Номером один в рейтинге было большое разноцветное дерево, которое рубил

огромным членом веселый железный дровосек. Номером два — звездная ночь с гигантскими воронками разноцветных звезд. Далеко в черную пучину неба падала красная черепичная крыша и возвращалась оттуда, ухая, — а потом падала вверх опять. На третьем месте были два елозящих друг по другу отрезанных уха: большое, волосатое и желтое — и маленькое, румяное и розовое. На четвертом — извивающийся на дне могилы вампир в черном фраке, уже пробитый в нескольких местах регулярно падающим сверху осиновым колом.

Да, подумал Кеша, таких не догонишь. Хотя...

Он заметил, что его руки превращаются в два бича, и понял — Мэрилин будет совсем не против, если он ее немного накажет. Хлестнет раза три или четыре... Или даже пять-шесть.

Но Мэрилин не реагировала на щелчки бича. Видно, хотела, чтобы он взял ее неподвижную и покорную. Ну что ж, можно. Вот только получится ли задрать ей юбку двумя бичами?

Это получилось.

Отвалившись через несколько минут от удовлетворенной партнерши (она так и не сказала ничего, просто красное сердце наконец погасло), Кеша стряхнул с себя остатки абсентного глюка и вспомнил про метадату. Пока все идет по плану. Социально ответственный секс уже был. Теперь поиграем. В танки.

Кеша выглянул из окна спальни на свой фейстоп — и кивнул Игроку, чуть наклонив голову влево. Это отработанное движение запускало танкосферу сразу, в обход папки.

Игрок послушно превратился в Микаэля Виттмана — мужественного эсэсовца в

черном мундире танкиста. Сдвоенные молнии на его мундире были прикрыты черными целомудренными полосками социальной цензуры, отчего казалось, что на рунах выросли маленькие квадратные усики.

Виттман щелкнул каблуками. Железный крест на его груди стал расти, превратился в раскрывающиеся ржавые ворота — и через пару секунд Кеша был уже в своем боевом ангаре.

Здесь все было по-прежнему. Каменные плиты пола, грубый кирпич стен, полки с разной механической требухой, тяжелые снарядные ящики. Пахло маслом и соляжкой, пороховой гарью и железом.

Говорили, что приложение «Танки» при реконструкции восстановили почти в том же виде, в каком оно существовало на плоском экране в начале двадцать первого века — только перевели из формата «2D» в «5S», сделав погружение полным. В те времена, когда игру придумали, железные боевые машины еще встречались в реальности. От этого приложение казалось особенно аутентичным.

Еще говорили, будто из небытия игру возродили в основном по политическим причинам — чтобы яснее определить коллективную карму русскоязычных пользователей, показав, что гомофобия была не единственной культурной основой русской национальной идентичности (еще там присутствовало механизированное насилие, шутил Игрок). Как уверял Анонимус, из тех же соображений сняли и свежайший сериал «Крейсер „Чайковский“». Так или нет, но перед каждым сеансом игры приходилось слушать культурологический комментарий из убедительно воссозданного на стене пузатого 2D-телевизора. Кеша старался пропускать комментарий мимо ушей, но информационные осколки все равно звякали по броне.

Вот и сейчас в телевизоре возник горящий танк — и заиграла музыка. Мужские голоса затаили скорбное и певучее «у-у-уу». А следом на экране появился знаменитый Ян Гузка. Кеша сразу узнал знакомое лицо, хоть сегодня оно выглядело слегка шутовским — ко лбу философа была косо приклеена танковая пушечка.

— Вы только что слышали музыку, — сказал Гузка, — которую заводили в старину после поражения команды танкистов. По замыслу авторов она должна была вызывать в сердце вихрь националистических эмоций. Но что это? Русские виртуальные танкисты отпевают своих боевых друзей с такими амбивалентными интонациями, что немедленно понимаешь глубинную причину их интереса к танкам — лежащую, разумеется, в предельной маскулинности и фаллоцентричности этого агрегата, позволяющих игрокам хоть украдкой, хоть косвенно, пусть даже втайне от самих себя, реализовать свою подавленную гомосексуальность в символическом группенсексе, кое-как закамуфлированном лязгом виртуального железа. Не будем в этой связи окончательно отрицать мерцающую «русскую Европу» в пространстве культуры и духа. Возможно, правы те, кто говорит — нельзя огульно обвинять в гомофобии народ, подаривший миру Чайковского и поговорку «Нас ***^[12], а мы крепчаем»...

Гузку тут же закрыл поп-ап сериала «Крейсер „Чайковский“». Это была мыльная сага про Россию двадцать первого века: Совет Европы в последний раз требует допустить геев к армейской службе, и Россия делает медвежий пиар-маневр — собирает всех флотских геев на новейшем стратегическом крейсере, призванном служить витриной якобы уже достигнутой в стране толерантности. Но у подводников-геев много врагов среди стремящихся начать ядерную войну

националистов-хардлайнеров в штабе флота, и не меньше — среди православных мракобесов в аквалангах, шныряющих мимо иллюминаторов с абьюзными плакатами в резиновых пальцах...

Поп-ап, однако, появился не на самом экране телевизора, а прямо в воздухе перед ним — отчего несколько нарушилась историческая достоверность танкового ангара.

Кеша в очередной раз подивился, как гладко и неприметно профессионалы культуры подводят разговор к точкам контекстной прокачки. Но на то они, собственно, и интеллектуалы... Или это не Гузка, а он сам? Он ведь только что вспоминал про «Чайковского»...

Пошел фрагмент сериала: штормовое море, внешняя палуба радужной подводной лодки, мужественный выступ ракетного отсека, похожий на огромный гульфик... Крепкой раскорякой замерший у ограждения боцман затянулся последний раз сигаретой, сморщил обветренный булыжник лица и бросил невидимому за спиной партнеру суровое:

— Ну люблю, люблю...

Лубрикативный баритон тут же запел аутентичный древний шлягер из «Чайковского»: «Глубиной своего погруженья я любовь измеряю твою...»

Сериал, как утверждалось, был настоян на золотых крупицах сохранившегося русского гей-фольклора — и передавал быт эпохи с предельной точностью. Но к тому моменту, когда камеру захлестнула символическая пена, Кеша уже исключил из зоны осознаваемого и Гузку, и промо-ролик. Он пошел по ангару мимо стоящих в боксах танков, обдумывая предстоящий выезд.

Легкие танки, которые Кеша когда-то коллекционировал, все были разбиты и сожжены: в боксах чернели их обгорелые каркасы, чуть пованивающие соляжкой и гарью. Тратиться на ремонт не хотелось, а внутриигровой валюты, заработанной в боях, у Кешы в последнее время хватало только на снаряды. И то на обычные — за голду, пробивающую все на свете, нужно было отдавать шэринг поинтс.

На ходу оставались две машины — тюнингованная «Пантера» с длинной скорострельной пушкой и тяжелый «Ягдтигр» с толстенной лобовой броней. Этих двух агрегатов, собственно, было достаточно: на «Ягдтигре» Кеша ездил бомбить, а на «Пантере» — катался для души. В «Пантере» было припасено несколько всепробивающих голдовых снарядов — на случай, если сердце попросит. Лезть в групповуху Кеша сегодня не хотел — возможно, после комментариев Гузки. Хотелось чего-то интимного, камерного и недорогого.

Кеша залез в «Пантеру» (он любил мускулистую пружинистость, появлявшуюся у его тела, когда оно карабкалось по броне), взялся за ручки управления, пару раз кивнул распускающимся спискам игровых меню — и выехал на поле под Прохоровкой.

Остановившись на невысоком пригорке, откуда открывался хороший обзор окрестных холмов, он стал ждать, не зайдет ли кто в его индивидуальную вселенную обменяться болванками. Обычно желающие находились минут за десять. Прошло целых пятнадцать, но никто так и не нарисовался.

Кеша высунулся из люка и поглядел по сторонам.

Июльский вечер был хорош до дрожи. Прогретый воздух нес в себе ароматы тысячи неизвестных трав. Склоняющееся к закату красное солнце грело так нежно и

ласково, как умеют только старые звезды (солнце, понял вдруг Кеша, каждый вечер становится большим и красным, как бы репетируя будущую старость и смерть). Живые голоса мира, долетавшие до Кешиных ушей, казались странными — Кеша не знал даже, насекомые это или птицы.

Не выдержав, он вылез из танка, спрыгнул в траву и пошел в поле. Вокруг не было ни души — только несколько крошечных птиц чертили высокие круги в небе. Стрелять уже не хотелось.

Вечер был грандиозен, прекрасен — словно Кеша оказался перед багровыми и желтыми витражами древнего храма, бывшего одновременно всем миром. Не верилось, что красота, трогающая сердце за такие струны, про которые Кеша даже не знал, возникла просто как фон к случайной танковой битве.

Тут был какой-то подвох. И Кеша, уже понимая, в чем дело, пошел прямо в закат. Он знал, что сейчас произойдет — и не пытался бороться.

Время от времени цукербрины просвечивают каждую душу. Прятаться бесполезно. Лучше всего доверчиво шагнуть им навстречу.

Над горизонтом сверкнуло, и Кеше показалось, что к нему повернулись три ослепительных лица. В их огненные глаза можно было смотреть — но у Кеши такого желания не появилось. Ему просто сделалось хорошо и легко. Все ноши, кресты и хомуты, брошенные на него судьбою, вдруг стали невесомыми.

Он ничего на самом деле не тащит на своем горбу, понял он — в какой уже раз понял!

Весь мир придуман специально для него. Но люди так устроены, что для правильного метаболизма души они должны таиться и трепетать, как делали это

миллионы лет, поедая падаль в темных пещерах. Жизнь человека не должна быть слишком легкой, потому что он научится находить в любом комфорте положенную кармой муку, и чем мягче будет перина, тем сильнее станет впиваться в бок закатившаяся под нее горошина.

В самой счастливой судьбе должны быть боль и мрак — точно так же как внутри у прекраснейшей женщины должен быть кишечник. И все равно существование — это счастье, бесценный дар, поцелуй вечной весны. А сейчас самый источник счастья, не отрываясь, смотрел в его душу тремя парами глаз.

Ке чувствовал заливающую его любовь. Он знал, что ничего, совсем ничего нельзя утаить от этого света. Он и не хотел таиться. Свету было известно — вины на нем нет: он просто выполняет приказы раздающихся в его голове голосов, а что за ними стоит, он не знает, ибо мал и слаб. Кто он по сравнению со сгибающими его ум силами? Как он может противостоять им, если он сам — всего лишь их игра?

И свет соглашался. Свет все знал. Свет не упрекал его ни в чем. Но Кеша чувствовал, что происходит, в сущности, самое страшное из возможного.

Увы, среди ромашек, роз и лилий, на которые падал тройной луч, он не был самым красивым цветком. Он не радовал этот свет так, как другие, по-настоящему прекрасные растения. Он казался свету подорожником или лопухом... И это было невыносимо. Но свет любил его все равно.

Кеша провалился куда-то, где не было ни пространства, ни времени, а только счастье... Потом он почувствовал на щеках слезы — и вспомнил, что у него есть физическое тело.

Заходящее солнце, казалось, зажгло припрятанные за горизонтом покрывки —

и огонь охватил полмира. Кеша помнил, чем кончилась встреча. Свет, как всегда, обещал утешительное и сладостное: что примет в себя его душу, когда придет срок, и станет последним, увиденным Кешей в жизни... Но это будет не скоро, а до тех пор свет еще вернется — и Кеша снова переживет то же самое. Изливающуюся на него любовь, которой он не достоин. Сострадание к себе, от которого невозможно не расплакаться.

И еще — отчаяние и агонию, сладкие настолько, что душа бесстыдно тянется к этой неге, не стесняясь показать ослепительному всепрощающему свету весь свой мрак...

Потом все кончилось.

Несколько долгих секунд Кешин разум молчал, словно выжженный прямым попаданием. В нем осталась единственная мысль, прилипшая к илистому дну души и не успевшая улететь вместе с принесшим ее светом: «жизнь — это бесценный дар...»

Ну да, подумал Кеша с неожиданной холодной трезвостью. Дар. Вот только — кому и от кого? Ведь я, живущий, не существую отдельно от дара. Я сам и есть жизнь. Как говорит Ксю Баба, человек не объект и не субъект, а процесс. Значит, дар — я сам. Это меня подарили кому-то, как котенка или борзого щенка. Причем и тот, кто подарил, и тот, кому подарили, предпочитают оставаться невидимыми. Какие широкие натуры населяют космос...

Но злобная мысль, затмив на миг его душу, тут же растворилась в красных и желтых огнях закатного русского неба. Пережитое счастье было слишком сильным — его раскаленный отпечаток просвечивал и прожигал любой смысловой мусор,

которым пытался защитить себя перепуганный ум.

Цукербрины уже ушли. Кеша долго глядел им вслед — в ту точку, где только что растаяли их огни. А потом он снова начал воспринимать всю остальную реальность.

В ней успели произойти довольно неприятные перемены.

В поле догорала его «Пантера». На багровой полосе заката чернел грозный силуэт врага («ИС-10», опознал Кеша). Вражеская машина уже разворачивалась — и, показав напоследок профиль башни с длинной хищной пушкой (Кеша с отвращением вспомнил про Гузку), исчезла за склоном холма. Кеша даже не расстроился — против «ИСа» шансов все равно не было. Его присутствие в башне «Пантеры» не изменило бы ничего.

Когда он вернулся в бокс, оказалось, что починить «Пантеру» нельзя. Нулевой баланс шэринг поинтс.

Жизнь понемногу становится все жестче, вздохнул Кеша. Раньше одной рабочей смены хватало на целую неделю. А сейчас приходится выходить на работу каждые пять дней. Или даже четыре. Инфляция, как говорит Анонимус, есть способ заставить время течь быстрее, вынудив нас работать чаще. Вот только на самой работе время почему-то течет все медленнее и медленнее. Выходит, мы теперь работаем не просто чаще, но и дольше. Но про это пандиты помалкивают...

Короче, завтра на работу.

Как известно, не волк в том смысле, что не убежит в лес. Но вполне себе волк в том смысле, что кусает. Причем неизвестно, когда сильнее — когда ходишь или когда нет...

Как всегда перед рабочей сменой, настроение у Кеши было хуже некуда.

Сестричка словно чувствовала, что его лучше не злить — она вела себя тихо и приветливо. Даже улыбнулась пару раз, а такое бывало редко.

Кеша, разумеется, не спросил ее о том, что она делала на площади Несогласия. Так глупо подставиться мог бы только совсем неопытный конспиратор. Скорей всего, ее появление было сном во сне, промежутком REM внутри фазы LUCID, когда осознанный коллективный сон стал на несколько секунд неосознанным личным. Неврастения, у кого ее нет. Можно было не опасаться заговора спецслужб. Против него вряд ли устроили бы заговор — просто прихлопнули бы терминальным электроразрядом через фейстоп... Хотя, с другой стороны, говорят ведь в народе, что даже у параноиков есть враги, причем эти враги — нередко шизофреники.

Кеша решил обновить сестричке оперативный буфер, чтобы с нее сдуло все недавние куки. Это было просто — следовало заставить ее выполнить какую-нибудь работенку по фейстопу. Что-нибудь из прямых функций. Кстати, полезно и для метадаты.

По счастью, в этот раз не надо было ничего изобретать.

Перед выходом на работу Кеша каждый раз нуждался как бы в смазке внутренних шестеренок, в коротком духовном напутствии, позволявшем перенести

надвигающийся ужас. Прежде с этим справлялась Ксю Баба — но в последнее время она стала гнать слишком уж заумную пургу. Скорей всего потому, что он никогда не платил ей за услуги, а питался демо-крохами ее запредельной мудрости: только идиоты тратят шэринг поинтс на чужую болтовню. Ксю Баба, видимо, включила в ответ защитный баг — поэтому на фейстопе назрели перемены.

Он подмигнул сестричке.

— Слушай, лапочка, — сказал он, — знаешь такого Яна Гузку? Давай поставим его на место Ксю Бабы.

— А Ксю? — спросила сестричка.

— Деинсталлируем. И быстро, милая, быстро. Папочке надо на работу.

Сестричка кивнула и сделала серьезное и хмурое лицо. Она всегда выполняла операции по фейстопу с трогательной важностью, забывая на время свои обиды. Кеша, глядя на нее, чувствовал почти что угрызения совести.

Подскочив к Ксю Бабе, сестричка с размаху засадила ей ногой по сухому старческому задку. Кеша выбрал такую деинсталляционную анимацию для смеха, но смешно ему ни разу не было.

Ксю Баба подняла на Кешу полные недоверия и боли глаза. Кеша терпеть не мог эти прощальные сцены. При деинсталляции приложения давили на жалость, притворяясь умирающими тамагочи, и на сентиментальных пользователей это действовало: многие годами не могли убрать ни одной из своих старых икон. На иных фейстопах они стояли толпой, поднимаясь на цыпочки, чтобы пользователь их увидел — а между ними шныряло по двадцать-тридцать электронных кошек (некоторые старушки даже устанавливали синтетический запах кошачьей мочи —

«последнее средство от одиночества», как утверждала реклама).

Но сестричка была совершенно безжалостна и бессердечна. Не стоило и пытаться растрогать ее подобными ужимками.

Пока Ксю Баба собирала откуда-то появившийся перед ней золотой чемодан (жульнически кидая в него возникающие у нее в руках хрустальные шары, меноры, распятия и прочий хлам), сестричка подбадривала ее энергичными возгласами, а когда Ксю принялась слишком аккуратно и медленно сворачивать свиток с неизвестной надписью на санскрите, даже слегка пнула ее ногой второй раз. Все это время Ксю пыталась поймать Кешин взгляд, но Кеша был неумолим.

Когда чемодан был собран, сестричка потащила сгибающуюся под его тяжестью Ксю Бабу по одной из ведущих с площади улиц. Ксю не сопротивлялась, но все еще жалобно глядела на Кешу — словно надеясь, что тот вспомнит о совместно пережитых минутах духовного экстаза. В последний момент Кеша почти дрогнул — но его удержало понимание, что Ксю Бабу можно будет в любой момент установить заново.

А еще через минуту сестричка снова появилась на площади — уже с другой стороны, как бы совершив за это время путешествие вокруг маленькой Кешинной планеты. Она вела за руку Яна Гузку в накидке, сшитой из разноцветных кусков козьей шкуры. Кеша слышал знакомое звяканье колокольчика и ощутил легкий запах навоза — который, хотелось верить, можно было отключить через опции.

Сестричка показала Гузке на освободившееся после Ксю Бабы место. Кеша ожидал, что философ встанет туда, но тот присел на корточки, словно собирался справить нужду — и замер в этой позе. Ну ладно, подумал Кеша. Философ, оригинал

— пусть сидит.

Ян Гузка походил на кроманьонца из исторического фильма, что в принципе отвечало его философскому мотто — «truly down to earth»^[13]. Хотя, если разобраться, на высоте в пять километров это звучало даже оторванной от реальности, чем вся трансцендентность Ксю Бабы...

Подождав, пока сестричка отойдет к фонтану, Кеша кивнул обновке. Он ожидал, что Гузка встанет, но тот просто поднял бородатое лицо, несколько раз моргнул и изрек:

— Сегодня мы поговорим о ценностях. Что есть ценность как непосредственно переживаемый нами феномен? Вдумаемся. Не высшая ли из наших ценностей — объект, на котором зафиксировано наше либидо?

Кеша вспомнил мохнатого черного фурри с площади Несогласия.

— По мере приближения любовного чувства к его кульминации, субъективно переживаемая ценность нашего любовного фетиша экспоненциально растет — и за миг до оргазма становится абсолютной. Но лишь для того, чтобы через мгновение упасть до значения, близкого к нулю...

Может быть, к нему полагается поводок, подумал Кеша. Даже наверняка полагается. Ведь не зря же он в такой позе... И говорит прямо с фейстопа. Надо будет напрячь сестричку. Но не сейчас. А когда она опять обидится. Вот это будет мудро.

— Если самая базовая и фундаментальная ценность, на основе которой сотни тысяч лет продолжается человеческий род, так зыбка, что же тогда говорить о ценностях второго порядка, созданных переменчивой людской культурой и

религией?

Гузка замолчал, и Кеша понял, что дальше начинается платный контент. Философ, конечно, был прав до последней буквы, но вступление казалось недостаточно завлекательным для того, чтобы тратить на продолжение шэринг поинтс. Которых не было все равно. Тем более, Кеша по опыту знал — светочи духа обычно выдают самое интересное в качестве бесплатной наживки. Можно спокойно ее объесть и плыть себе дальше. Достаточно трех-четырех первых фраз — ничего радикально нового дальше все равно не будет.

«Поюзаю недели две в демо-режиме, — холодно решил он, — а дальше опять поставлю Ксю. И тоже в демо-моде. Она к тому времени небось передумает косячить...»

Но Гузка, похоже, тоже был не дурак — о чем Кеше сообщил раздавшийся в ушах тревожный зуммер.

Инсталляция была платной. Спорить или ругаться не имело смысла — об этом наверняка предупреждал какой-нибудь мелкий шрифт в одном из вороха соглашений, подписываемых кивком головы. Теперь Кеша был в минусе. Выходить на работу следовало немедленно.

То есть не скоро, а прямо сейчас.

Вздохнув, Кеша кивнул Каналоармейцу — голому по пояс мужику в холщовых штанах, который уже маячил на дальнем краю площади с лопатой в руке (обычно он вставал так, чтобы скрыться за фонтаном — но, когда Кеше пора было на работу, показывался на глаза, словно почуявшая кровь акула).

Кеша выбрал для своего фейстопа такую икону, потому что она показалась ему

самым безобразным изображением в каталоге визуальных символов труда. Это был персонаж с древнего советского плаката — сознательный зэк с одним из тех генетически ущербных лиц, которые так любило продвигать пролетарское искусство. Еще на плакате был девиз — его Кеша превратил в тату на голом животе зэка, только вместо «каналоармеец, от жаркой работы растает твой срок» написал «аналокармеец, от жаркой работы растает твой срак». Чем глупее месть, тем она слаще, а немного гомофобии в личном файле не повредит. Больше путаницы.

Каналоармеец вопросительно указал на себя большим пальцем, и Кеша еще раз кивнул. Ну да, да. Сдаюсь, противный.

Никаких лучей, никакой переходной анимации. Вокруг стало темно и холодно. Кеша повис в свистящей холодными сквозняками пустоте перед списком локализованных трудовых карт. Список был оформлен как ресторанное меню, нарисованное на черной грифельной доске разноцветными мелками:

БАССЕЙН «МАЛЬСТРИМ»
ЛЕСТНИЦА ЯКОБИ
СТАДИОН «ЛОСО_МОТИФ»
САФАРИ ЮРАСИК
ИЩЩЕТФНФ
ПЕРЕДЕЛКИНО

Сегодня выбор был так себе. Последние две карты Кеша не любил из-за угнетающей душу шизы, а первых двух боялся всем телом, на рефлекторном уровне.

«Сафари Юрасик» было довольно предсказуемым приключением, которого тоже хотелось избежать. Оставался стадион. Ему Кеша и кивнул.

Появилось меню выбора спортивной дисциплины. Кеша остановился на беге с ширмами. Надписи исчезли, и на доске возник последний вопрос:

ДФЗЫ?

LAPS, понял Кеша, это с прошлого раза сделали локализацию, чтобы нам было удобнее. Три дфзы на пять дней хватит. Меньше все равно нельзя.

Доска превратилась в черный занавес, с шелестом пропустила его сквозь себя, и Кеша увидел хмурый день, мелкие брызги дождя и уходящую в туман размокшую гаревую дорожку.

Каналоармеец был уже здесь — и выглядел теперь совершенно иначе. Он сидел на вороной лошади. Его штаны переливались шелковыми узорами, а лопата в руке казалась особо смертоносным копьём. Словом, он походил на торжествующего монгола — которым, по сути, и был.

— На старт! — закричал Каналоармеец, страшно надсаживая голос.

Кеша встал в низкий старт, упер руки в мокрую гарь, но не отказал себе в удовольствии глянуть на растатуированный живот мучителя.

— Внимание!

Я весь внимание, подумал Кеша.

— Марш!

Кеша побежал. Мокрая гарь тысячью крохотных зубов впивалась в босые ноги,

но Кеша даже не морщился, по опыту зная, что это только разминка перед сменой.

Стадион был хорош тем, что не грузил психику: предстоящие упражнения делались видны и понятны не все сразу, как в «Мальстриме», а по очереди.

Иногда неведение — лучшая защита. Половину первого круга Кеша прошел почти на бодряке, не обращая внимания на растущее жжение в ступнях и цоканье копыт за спиной. А потом впереди появилась первая ширма.

Это была самая натуральная ширма — мокрое серое полотно с намалеванным на нем вопросительным знаком, растянутое между двумя стойками. Кеша не стал тормозить, и полотно с хлопком лопнуло, едва коснувшись его груди.

Кеша увидел первое препятствие.

Это была горящая изба, стоящая на дорожке — сквозь ее открытую дверь виднелось раскаленное, как у домны, нутро. Надо было пробежать прямо насквозь.

Кеша уже понял, откуда взялась изба. Как всегда, из личного файла.

Совсем недавно он расшэрил с миром свое омерзение по поводу мемориальных татуировок в LUCID-музее гендерного шовинизма. Даже совместил образы древних инициатических практик с кучей дерьма — причем поступил так исключительно из своего всегдашнего страха. А теперь этот спектакль вернулся к нему неожиданным бумерангом. Система просто нашла в его информационном выхлопе нечто ему неприятное — и назначила это рабочим переживанием.

Ибо работа, за которую начисляются шэринг поинтс, должна была быть именно неприятной. Мучительной. Мало того, омерзительной и страшной.

Как объясняли философы и пандиты, происходило это не потому, что цукербрины хотели людям зла, а именно потому, что они хотели добра. А добро,

наслаждение и счастье появлялись только по контрасту с мукой и болью, так уж был устроен проклятый человеческий мозг. Этот перелатанный биокomпьютер, доставшийся людям по наследству от тараканов, ящеров и прочих гормональных роботов, невозможно было переделать. Нельзя было вычистить из Кешиного биореестра обмылки забытых программ, помогавших когда-то выживать древним обезьянам.

Можно было только оптимизировать циклы радости и боли, что давно доказали, исследовали, продумали и промерили до минус девятой степени. И сейчас наступал просто неизбежный цикл боли. Ее следовало принять. Проглотить такое ее количество, которое сделает возможным следующий цикл счастья...

Кстати, подумал Кеша, подбегая к горячей двери, надо будет спросить об этом Яна Гузку. Интересно, что современная фило...

Изба обожгла таким страшным жаром, что мысль о Гузке мгновенно испарилась с поверхности мозга.

Боль была ослепительно-белой, абсолютной, яркой и простой. Она пульсировала. Между ее раскаленными блоками возникали длинные замысловатые тупички, где все было сложно, запутано — и так же невыносимо больно. Кеша бежал сквозь огонь всего две или три секунды, но у пережитой им муки было столько нюансов, что в линейном времени их хватило бы на неделю.

«Мухлюют, — подумал он, оказавшись на гаревом просторе. — Точно мухлюют с пропорцией. Где, спрашивается, я видел столько счастья на прошлой неделе? Или это за сестричку... Но они ведь не знают... Или как-то автоматически... А она, кстати, вообще приносит мне счастье? Там же один страх. Ну и возбуждение. Тоже

довольно неприятная вещь, если разобраться. За сестричку мне, наоборот, шэринг поинтс начислять должны...»

Но это направление мысли было бесперспективным: интуиция подсказывала Кеше, что он вряд ли будет судиться с реальностью по данному вопросу.

Второй круг, как всегда, был труднее — под ногами появилось битое стекло. Кеша не глядел вниз, потому что боялся вида крови. Кое-как добравшись до второй ширмы с вопросом, он пробил ее грудью. Но за ней, к его изумлению, не оказалось ничего. Он решил уже, что круг пустой — ведь может человеку повезти? — но потом его обогнал дико гикнувший Каналоармеец, швырнул ему привязанную к луке седла веревку, и Кеша понял.

Остановить коня на скаку у него не вышло — что, видимо, и требовалось доказать. Перед тем как веревка выскользнула из его рук, Каналоармеец метров сто волок его по гари, и, если минуту назад Кеша думал, что ничего страшнее горячей избы сегодня уже не будет, теперь у него было время — очень много хитрого и извилистого рабочего времени, — чтобы понять свою ошибку...

Когда он поднялся, у него совсем не осталось мыслей, а только одна боль. Шатаясь, он побежал на последний дфзы — и его уже совершенно не интересовало, что будет за следующей ширмой.

Прорвав холстину с вопросительным знаком, он оказался в каком-то странном механическом цеху.

Он ехал по нему, стоя на ленте конвейера, в который превратилась гаревая дорожка. По ее бокам сокращались чудовищные поршни, мелькали рычаги и сочленения, и в целом все напоминало старое кино про будущее. Кеша почти

вспомнил какое — но тут один из рычагов страшно дал ему в спину и сбил с ног. Однако ему не дали упасть на ленту: другие рычаги подхватили его в воздухе, растянули, повернули, согнули — и невыразимая боль вдруг пронзила его мошонку.

— Пустите, гады! — закричал Кеша.

Но он опоздал со своим криком, потому что страшная фабрика уже выплюнула его на гаревую дорожку. Крича от боли, Кеша кое-как поплелся вперед. Бегом это было сложно назвать. Когда до конца оставалось меньше четверти круга, он не выдержал и покосился вниз — и увидел под своим черным от грязи и крови животом похожую на замок медную гирию, дужка которой была продета сквозь его самое интимное место. Мало того, в животе появилась дыра, откуда торчала сизая петля кишки.

Кеша собрал в кулак всю волю. До конца круга оставалось уже чуть-чуть, но с каждым шагом его покидали силы, и последние шаги растянулись сначала в метры, потом в километры, а потом вообще в какие-то космические парсеки.

Наконец до него долетел гудок финиша.

Он повалился на дорожку и увидел над собой гарцующего на коне Каналоармейца. Как всегда, тот медлил с завершением сеанса. Но больше из Кеши нельзя было выдоить ни капли боли. Вернее, боль перестала быть болью и сделалась чем-то другим, индифферентным и лишенным качеств. И только когда это стало окончательно ясно, Каналоармеец поднял наконец свое копьё-лопату и милосердно вонзил ее лезвие Кеше в переносицу.

Стало темно.

А когда сквозь тьму прорезался фейстоп, ни боли, ни даже памяти о боли уже

не было. Кеша давно знал, что самое поразительное в этом переживании — скорость, с какой оно забывается.

Каналоармеец уже пятился на свое место. Свернув за фонтан, он добрал до края площади и не без блатного достоинства присел на корточки, скрывшись из виду до следующей смены. На фейстопе поймать его взгляд было совершенно невозможно. Да и зачем?

Теперь сразу двое на корточках сидят, подумал Кеша неодобрительно, не фейстоп, а какая-то параша.

Можно было спать. Завтра, кстати, праздник — День Семьи. Наверняка на Площади Несогласия будут гуляния и концерты. Можно будет аккуратно пройтись.

Но сначала, конечно — семья.

Дождавшись, пока новый день загрузится, Кеша оглядел фейстоп. Приложения стояли по стойке смирно, подняв на него ждущие глаза. Сердце над Мэрилин — кто бы сомневался — уже всюду горело, и вокруг него летали голубки. Супружница пришла в романтическое настроение с самого утра. Ее, в принципе, вполне можно было навестить. Ну или не совсем ее, подумал Кеша, косясь в сторону фонтана.

Сегодня он одел сестричку в синие джинсовые шортики и оранжевую майку с серебряным вопросительным знаком — чтобы отомстить системе за вчерашнее. Шортики так изящно обтягивали ее маленькую попку, что Кеша сглотнул слюну. Но сестричка на него даже не посмотрела.

Зато все остальные приложения ели его глазами, словно адмирала на палубе флагманского корабля. Особо искательно выглядел библиотекарь Борхес.

К Борхесу были вопросы. Сегодня ночью Кеша опять проходил между контрольными зеркалами фазы LUCID. И занервничал настолько, что не решился дойти до Стены Доверия — а просто слушал два часа семейную музыку у памятника Чайковскому, который подняли над Колодцем Истины.

Как работают зеркала? Что именно считывают? Не могут ли узнать про него слишком много? Надо это выяснить раз и навсегда.

Позволив Борхесу поймать свой взгляд, Кеша кивнул. Зажмурившись, чтобы пропустить анимацию, он открыл глаза уже тогда, когда вокруг сгустилась знакомая библиотека с пыльными шкафами и скелетами ящериц на стенах.

Как обычно, Борхес сел в кресло и указал Кеше на соседнее. Кеша, однако, не

был настроен на длинную беседу — и присел на подлокотник. Когда над головой Борхеса загорелись опции, он выбрал SILENT MODE и мысленно расшэрил вопрос: как работают контрольные зеркала на входе в LUCID-фазу? Каким образом они защищают от террористов? Читают ли они все мысли — и память?

Старичок задумался и раскрыл на коленях свой кожаный фолиант. Он ничего не сказал, но в Кешиной голове сразу же забрезжило смутное понимание того, как функционирует контроль.

Конечно. Можно было догадаться и самому. Коллективный сон, как и вся остальная гипнореальность, создается машинным кодом. Теракт в этом пространстве становится просто программируемым событием, чем-то вроде вредоносного алгоритма, внедряющегося в здоровую программную ткань. И суть защиты сводится к тому, что определенные элементы кода (базу сигнатур постоянно обновляют) не допускаются в пространство коллективного сна.

Старичок поднял ладонь и помахал ею в воздухе, словно чтобы распластать свою мысль и сделать ее более понятной. Есть некоторые кодовые последовательности, позволяющие террористу вроде Бату Караева запереть сон изнутри — без них теракт делается невозможным. Именно эти элементы и отслеживаются зеркалами. Человек ведь тоже приходит в фазу LUCID просто как информационный слепок, то есть двусторонний поток кода, который...

Не надо, просигналил Кеша и задал второй вопрос, главный.

Нет, ответил Борхес, зеркала не могут заглянуть ему в душу. Они могут только выяснить, не содержит ли его информационный слепок фрагментов террористического кода. Бомба, говоря технически — это исполняемый оператор.

Она может быть замаскирована подо что угодно: какой-нибудь сложный головной убор, замысловатое украшение или даже один из входящих в моду ретросмартфонов. Но на входе в фазу LUCID все это просто код, и его надо просеять через контрольное сито.

Кеша подумал, что последний вопрос был неосторожным — но, поскольку он выбрал SILENT MODE, запись сессии скорее всего не сохранится надолго. Существовала какая-то разница между полной и неполной артикуляцией. С годами узнаешь много уловок... Хотя не придумывает ли эти уловки тот самый Датапол, который с их помощью пытаются обмануть? Чтобы все обманщики, так сказать, сами строились в колонну по два?

Но этого Кеша не спросил.

Вместо этого он быстро раскланялся. Борхес поехал назад, втянул в себя сумрачные своды вместе со шкафами и ящерицами, и Кеша опять оказался на своей итальянской площади — перед строем плящущихся на него приложений.

От визита в библиотеку, как всегда, осталось трудноуловимое неприятное чувство — будто он вымазался в штукатурке и покрылся клочьями старой паутины. Это наверняка был специальный баг, чтобы заставить его подписаться на платные примочки. Интерьер со скелетами ящериц был бесплатным — но его, как регулярно напоминали поп-апы, можно было проапгрейдить до «стильной Вавилонской Библиотеки 5S». Вот только Кеша не собирался ради этого выходить на стадион и бежать несколько лишних кругов с гирей в мошонке.

С другой стороны, можно было бы заменить Библиотекаря на кого-то молодого и веселого. Или нет, рискованно... Молодое и веселое у нас уже есть. Наоборот, для

оптимизации личного файла полезно было бы посадить вместо Борхеса вонючего старого фурри с вываливающейся прямой кишкой... Кстати, «гузка» — это случайно не куриная жопа? Многое бы объяснило... Да, посадить пожилого фурри, чтобы все видели, что он порядочный и социально ответственный гражданин...

Впрочем, кто будет смотреть? Ну кому он нужен? Хотя, конечно, даже за параноиками бывает слежка — шизофреники не дремлют. Мы все оставляем за собой пенный след метадаты...

Вот черт.

Лучше бы он не думал так кудряво. Или хотя бы не артикулировал — хотя с шампанским это почему-то всегда получалось незаметно... Может, подсознание?

Перед глазами возник квадратный поп-ап.

Кеша увидел перед собой огромный бокал, в котором отражалась сидящая за арфой девушка в легчайшем белом платье, трогательно юная и чистая. Бокал исчез, и осталась одна зеркальная девушка — со счастливой улыбкой она касалась струн, и с них слетали золотые маленькие птички. Птичек делалось все больше и больше, а потом их набралось так много, что они заполнили собой все пространство — и превратились в пузырьки золотой шампанской пены.

Кеша опять увидел бокал — теперь он был полон шампанского. Девушка исчезла, а вместо нее появилась надпись:

**ШАМПАНСКОЕ «VERA»
ЛЬЁТСЯ И ЗАКИПАЕТ!
ПЕНИТСЯ, БЬЁТ И МЕРЦАЕТ!**

«На этот раз хоть локализацию нормальную сделали», — подумал Кеша.

Поп-ап начал медленно рассасываться в пространстве. Опять стал виден фейстоп. Кеша напряг лицевые мускулы, чтобы случайно не кивнуть, и вдруг поймал взгляд сестрички.

Ему почудилось, будто под ее глазом появился лиловый синяк. Он тут же понял, что это просто тень — но обида, затаенная обида, застывшая на милом лице, была, увы, настоящей.

Кеша сокрушенно уронил подбородок, и тут же ощутил во рту кисло-сладкое бульканье.

Сестричка тут же фыркнула смехом. Несомненно, она была в курсе того, что произошло — и какую роль в этом сыграла она сама. Печальные тени тут же исчезли с ее лица, и Кеша, чтобы задобрить ее, администрировал еще одну дозу шампанского. Но сестричка, похоже, уже одумалась — и решила, что дала Кеше слишком большой аванс. Она опять нахмурилась и изобразила на лице оскорбленную чистоту.

Но Кеша больше не боялся.

Он был счастлив — и запивал свое счастье вторым дозьяком сладкой кислятины. Ради этого просвета в сумерках не жалко было потратить в два раза больше sharing points... Сколько там? Он взглянул на цифры и вздрогнул. Похоже, бежать придется не через пять дней, а уже через два. «VerA» была дорогой. Слишком дорогой...

Сестричка фыркнула смехом опять. Кеша, окончательно махнув рукой на доводы рассудка, кивнул последним мерцающим остаткам поп-апа — и принял на грудь

третью дозу.

«Однако, — подумал он, — шампанское с утра...»

Через несколько минут это казалось не такой уж и плохой идеей. У него давно не было так легко и пузыряристо на душе.

Сестричка себя выдала.

Она на самом деле не сердилась. Она притворялась.

И вообще, похоже, у нее было хорошее настроение. Она заходила за спины приложениям и даже сделала маленькие кривые рожки Яну Гузке.

Может быть, это его собственное легкое опьянение спроецировалось на нее? Скорей всего, именно так... То есть не скорей всего, а только так — и иначе просто быть не может...

Кеше в голову вдруг пришла жутковатая и завораживающая идея... Раз уж сегодня День Семьи... Почему бы и нет? Жить надо лихо. Иначе какая это жизнь?

— Сестричка! — позвал Кеша.

Little Sister обязана была откликаться на голосовые команды. Она вышла из-за фонтана немедленно. Но ее лицо стало хмурым — серьезно хмурым. И на нем, кажется, опять проступал синяк. Ну и пусть себе хмурится, подумал Кеша, ничего страшного...

— Слышь, сестричка... Я тут прикинул — а не прогуляться ли мне с моей толстухой? А то столько лет живем вместе, а она у меня на фейстопе так ни разу и не была...

Сестричка пожала плечами — в том смысле, что ей совершенно все равно.

— Ты это... Ты спрячься за фонтан, ладно? Так, чтобы она тебя не видела. А то

заревнует...

Сестричка отвела глаза и поплелась за фонтан, всем своим видом демонстрируя облегчение — но не забывая поигрывать маленькой попкой в синих шортах. Вечная женственность... Как бы она там не научилась чему плохому у Каналоармейца... Впрочем, о чем это я.

Кеша повернулся к Мэрилин и кивнул порхающим над ее головой голубкам. Площадь размазалась в лучи и звезды, и Кеша оказался в своей супружеской спальне.

Мэрилин уже ждала на семейном ложе. Она была покрашенной, напудренной — и совершенно голой. В ней было что-то от Клеопатры, пережившей всех своих змей. Она, похоже, обленилась до того, что даже не хотела выбирать наряд. Правда, покрашена и напудрена она была идеально, но Кеша догадывался: если бы ей пришлось проделывать косметические процедуры лично, вряд ли она выглядела бы так же.

Кеша попробовал ущипнуть ее за ухо. Мэрилин не посмотрела на него — только тихо всхрипнула. Кеша почувствовал раздражение. Совсем опустилась, подумал он, что она, абсент запоем пьет?

Впрочем, сегодня он сам был под градусом.

Кеша потянул супругу за руку — прочь из спальни. Он ожидал, что Мэрилин не пойдет сразу, и уже приготовился сослаться на День Семьи. Мэрилин, однако, не возражала. Она перевалилась на его фейстоп с тем же ленивым равнодушием, с которым принимала его ласки. словно какая-то морская корова, честное слово.

Но особенно Кешу покорило то, что она не пожелала в последний момент

прикрыться — и так и вперлась на его фейстоп голой.

Тут даже слово «вперлась» не подходило. Кеша сообразил, что она вообще никак не участвует в происходящем — видимость движений, которые совершало большое белое тело супруги, возникала из-за того, что он увлекал с собой ее внимание, а это визуально трансформировалось системой в шаги. Мэрилин не смотрела на фонтан и почетный караул приложений. Она дремала. И чуть похрапывала.

Приложения провожали Кешу и Мэрилин взглядами. Кеша знал, что им все равно — но ему чудилось в их глазах легкое презрение. Ян Гузка, кажется, даже поднял бровь. Ну давай, зоопидор, давай, скажи что-нибудь интеллектуальное, подумал Кеша. Мы все так ждем.

Сестричка выглянула из-за фонтана и сразу же спряталась назад. Кеша мог поклясться, что при виде голой Мэрилин на ее лице мелькнула ухмылка — в конце концов, сестричка отражала его эмоции, а презрение и есть перевернутое отражение стыда.

Мэрилин все было по барабану. Наверно, так же ее волочили когда-то похмельную после очередной ночной встречи с братьями Кеннеди — вот только грим на ее лице тогда скорее всего размазался, да и шагала она вряд ли так упруго, как сейчас.

Даже сквозь опьянение Кеша ощущал свой позор. Приложения теперь внесут этот опыт в реестр и будут трансформировать свое поведение с учетом новой особенности хозяина. Будут, конечно, все так же рабски глядеть на него, но на дне их глаз появится еле заметная насмешка... Ничего, отучим. Палкой выбьем. Вместе с пылью. А для метадаты так лучше.

Кеша увидел призывно открытую дверь пиццерии — и втащил Мэрилин в крохотный пустой зал. Из пустоты к нему шагнул официант и протянул меню. Но Кеша негромко сказал:

— Вон. Спрячься, чтобы я тебя не видел, Джузеппе. И не выходи, пока не позову.

Официант поспешно исчез за дверью. Видимо, решил не спорить с пьяным клиентом.

Кеша подвел равнодушную Мэрилин к столику у стены и посадил на него. А потом и вообще повалил на спину.

Мэрилин равнодушно глядела в потолок. Красное сердце над ее головой, однако, горело по-прежнему — и Кеша уже знал, что он сейчас сделает. Он в глубине души знал это с самого начала, просто не хотел раньше времени пугать себя подробностями.

— Сестричка! — нежно позвал он, проведя рукой по щеке супруги.

Мэрилин издала какой-то не вполне романтический звук — то ли хрюкнула, то ли всхрапнула. Кеша не обиделся. Он говорил не с ней.

В дверном проеме появилась голова с черными хвостами.

А с другой стороны — с зеркальным синхронизмом — замаячила рыже-белая морда клоуна, над которой красным знаком греха горел треугольник с восклицательными знаками.

Кеша не звал клоуна. Он это помнил точно.

Его грудь захлестнуло знакомым страхом — но он тут же вспомнил, что фейстоп мог и сам сгруппировать в пару приложения, постоянно используемые

вместе. Потом мелькнуло совсем глупое и поэтому особенно жуткое подозрение, что клоун стучит...

Кеша вдруг отрыгнул шампанской углекислотой — и почувствовал в сердце молодую легкость и силу.

— Люэса бояться — к волчицам не ходить! — громко сказал он.

Почему-то куртуазная пословица успокоила. Дробно кивая загорающимся в пустоте вокруг клоуна опциям, Кеша одним замысловатым движением головы перетащил сестренку на стол и сморфил ее с Мэрилин.

Было непостижимо, как толстая Мэрилин ухитряется ужиматься до ангельски тоненького тела сестрички. Кеше постоянно приходило в голову, что это как если бы большую матрешку прятали внутри маленькой... Но думать про это не хотелось. Кеша заглянул в испуганные — или просто хитрые? — глаза своей тайны, расстегнул пуговицу на синих джинсовых шортах и стянул их с тонких журавлиных ног.

— Не гляди так, не гляди, — хрипло пробормотал он, отводя сестричкину руку. — Для кого ты их надела-то, если не для меня? Тут никого больше нет. Только я — и я сам. Так что иди к большому братику... Хорошо. Вот так, девочка, вот так...

Сестричка молчала. Она насуплено глядела в сторону, и Кеша особо остро ощущал греховность происходящего, заводясь от этого еще сильнее. Скрытая внутри сестрички Мэрилин изредка похрапывала — и при желании звуки можно было принять за вздохи страсти, пробуждающейся в юном теле. Кеша чувствовал, что приближается один из его лучших любовных моментов, который он будет видеть во сне фазы REM и стараться повторить в реальности вновь и вновь.

И вдруг, когда до пика наслаждения оставалось всего несколько шагов,

случилось что-то странное.

Раздался треск рвущейся ткани.

Вокруг сестрички, как бы пытающейся заслониться от него тонкими ножками, появились столбцы мелкого оранжевого шрифта — непонятные строчки кода, где часто повторялись слова «mutabor», «module» и «failure», и еще были цифры со множеством перечеркнутых нулей. Потом эти строчки исчезли вместе с сестричкой, и Кеша увидел на столе перед собой голую Мэрилин. Поза сестрички, только что вызывавшая у него такой головокружительный восторг, в исполнении супруги показалась ему непристойной и омерзительной.

А затем произошло что-то невообразимое. Мэрилин несколько раз дернулась — и как бы отслоилась от своей видимой оболочки.

Кеша не понимал, как такое может быть. Она по-прежнему лежала перед ним, задрав разведенные в стороны ноги. Но он чувствовал: в живот ему уперлось что-то невидимое и острое, похожее на выставленный вперед локоть. Мэрилин словно стала невидимым комом, не совпадающим со своим нарисованным телом.

— Мэрилин, — позвал Кеша.

Супруга не ответила. И даже не кивнула. Кеше пришло в голову, что она попыталась прервать контакт — и умерла, не сумев завершить процедуру. Кеша покосился на вход в пиццерию. Клоун Мутабор и сестричка (она уже возродилась на фейстоппе) с интересом смотрели в дверной проем. Со стороны кухни из приоткрытой двери на Кешу глядел официант Джузеппе. Люди всегда, всегда будут слетаться на чужую беду как мухи. Даже если это не люди, а только их электронные чучела.

Надо вернуться на фейстоп, подумал Кеша, и посмотреть — может быть, Мэрилин уже там.

Она действительно стояла на фейстопе. Мало того, над ее головой горело рубиновое сердце. А вокруг летали голубки. Если судить по иконе, с супругой все было хорошо. И она опять хотела любви.

«Вот черт, — подумал Кеша. — Что-то тут не то. Она не может одновременно хотеть и не хотеть. И вываливаться из собственного тела. Или ей плохо?»

Он сразу же отбросил эту мысль. Если бы попке было плохо, система засекала бы изменение жизненных показателей — пульса, температуры, ритмов мозга и вообще всего остального, что бывает у человека. Ей давно ввели бы необходимые медикаменты, а если бы дело было серьезным — усыпили бы и эжектировали в медицинский модуль. Такое с прошлыми подругами бывало.

На это время икону спутницы на фейстопе закрывали смешные строительные леса с надписью «ремонтные работы!». Понятно, мягкий социальный юмор — чтобы супруг не переживал зря. Волноваться насчет партнерши и правда не стоило. Если бы Мэрилин увезли, то через некоторое время система подобрала бы ему нового генетически подходящего партнера. Закон.

Кешу и самого несколько раз вынимали из модуля по медицинской необходимости — о чем у него не осталось никаких воспоминаний вообще: он просто приходил в себя на прежнем месте, шэринг поинтс были на нуле, и у него больше ничего не болело. Впрочем, насчет места ясность отсутствовала — то же оно или нет. Модули ничем не отличались друг от друга, так что вопрос, видимо, не имел особого смысла.

Но сейчас происходило что-то странное. Может, подумал Кеша, программный сбой? Система считает, что все в порядке, а на самом деле... Такого раньше не бывало. Наверно, за это даже полагается компенсация — и можно будет пару недель не ходить на работу...

Главное, вся зоркая проницательность системы вдруг куда-то делась... Кешин испуг и отчаяние не казались ей поводом для тревоги. Наверно, причина была в том, что Кеша не потреблял никакого контента, и система не могла сравнивать его жизненные показатели с нормативом. Но система же умеет читать мысли, подумал Кеша. Или это работает только с контекстной рекламой?

— Ой я дурак! — застонал Кеша.

Ведь у сестрички есть сервисный канал «Поговори со Мной». Кеша никогда его не использовал — потому что не будет же нормальный человек сам лезть системе в зубы.

— Поговори со мной, — сказал он.

— Всегда рада, — ответила сестричка и сделала короткий книксен.

Кеша понял — сервисный канал включился.

— Мне нужна помощь, — сказал он.

— Я здесь для того, чтобы помочь, — ответила сестричка и улыбнулась так обнадеживающе, что Кеша почти успокоился.

— Помощь нужна не мне, а моей партнерше.

— Я здесь для того, чтобы помочь, — повторила сестричка. — Какого рода проблемы вы испытываете? Кивните, когда я угадаю. Проблемы с операциями на фейстопе? Проблемы с системой «LifeBEat»? Проблемы с самочувствием? Вы не

кивнули. Кивните, когда я угадаю. Проблемы с операциями на фейстопе? Проблемы...

Кеша кивнул на медицинских проблемах. Сестричка секунду думала.

— Ваши жизненные показатели в норме. Нет никакой причины волноваться.

— Нет, — сказал Кеша, — ты не поняла. Соседке плохо. Подруге. Мой социальный партнер в опасности. Вы немного знакомы... Ей нужно срочно помочь.

— Я здесь для того, чтобы помочь, — ответила сестричка. — Какого рода проблемы вы испытываете? Кивните, когда я угадаю. Проблемы с операциями на фейстопе? Проблемы с системой...

— Заткнись, дура, — застонал Кеша. — Соседке плохо. Понимаешь?

Сестричка насупилась — похоже, из всего сказанного Кешей до нее дошло только слово «дура». Было непостижимо, как всевидящий цербер мог за секунду превратиться в полоумный автоответчик. Видимо, у обслуживающего Кешу программного дерева с этой стороны ствола росла лишь одна полудохлая веточка. Что было, в сущности, неудивительно — система должна была решать медицинские проблемы сожительницы опираясь на ее собственную биодату.

Но этого почему-то не происходило.

«Нет, не может такого быть, — подумал Кеша. — Черт, как объяснить-то? Может, расширить мысль?»

Он сосредоточился и представил себе больную женщину. Скорчившуюся в маленьком мягком пенале. Покрытую язвами и струпьями. Тяжело дышащую.

Сестричка подняла руку и погрозила Кеше пальцем — особым движением руки.

Понятно, подумал Кеша. Жест был ему хорошо знаком. «Ваши мысли приобрели

асоциальный характер». Или, по-простому: «Такой контент мы не шэрим».

— Я не шэрить хочу, дура, — сказал он. — Я на помощь зову. Неужели непонятно?

Сестричка опять насупилась. Видимо, до нее снова дошло только слово «дура». Кеша почувствовал такое отчаяние, какого с ним не было уже давно. Может быть, вообще никогда.

На лице сестрички изобразилась тревога. А потом ее закрыл поп-ап с изображением тихого тенистого сада. Запела райская птица. Затем еще одна.

SEDACIDER

НЕГРУЗИН-ОТПУСТИН!

Кеша покорно кивнул, и у него в горле запузырился успокаивающий сидр — средство номер один для снятия стресса: organic, natural, instant. Кеша предполагал, что популярность этой микстуры была не в последнюю очередь связана с высоким процентом алкоголя. Чего не сделаешь для здоровья...

Сидр, однако, стоил всех своих sharing points до последнего. Отчаяние куда-то исчезло — сознание Кешы залил шипучий, побулькивающий и покалывающий покой. То, как он побулькивал, было приятно. Но вот покалывание казалось слишком уж острым и дискомфортным. Так что все вместе выходило, в общем, никак. Неудивительно — если бы было приятно, стоило бы как абсент.

Вот так все и должно работать. Охватившее его отчаяние отразилось в биодате, и система среагировала. Но почему, почему она не замечает проблем у Мэрилин?

Думать стало легче. И Кеше вдруг пришла в голову новая мысль, совершенно неожиданная. Если проблему нельзя решить через фейстоп, может быть, ее можно решить в обход?

Кеша сосредоточился и расфокусировал глаза — так, чтобы увидеть смутный серо-зеленый фон, просвечивающий сквозь итальянскую площадь. Но пустыня реальности, в которую он совсем недавно вполне успешно нырял, никак не желала показываться на глаза. Наверно, дело было в сидре.

Наконец, почти через час усилий, когда Кеша уже перепробовал все возможные способы скашивать глаза, *негрузин* немного отпустил — и в серо-зеленой мгле мелькнул собственный оранжевый рукав. А потом, за одну жуткую секунду, он вывалился на базовый уровень...

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Открывшееся Кешиным глазам было так чудовищно, что он даже не испугался. Его тело задергалось само, словно по нему пустили ток, а во рту опять забулькал успокаивающий сидр.

Это было похоже на кадр из фильма ужасов. И чем дольше Кеша смотрел, тем сильнее хотелось отмотать фильм назад, туда, где он ничего еще не видел.

В древности выпускали такие консервы — в виде продолговатой коробочки со скругленными углами. Он много раз наблюдал их в фильмах. Открывали их специальным ключиком, как бы наматывая на него жестяную крышку, так что к концу процедуры она превращалась в блестящий рулон.

То, что он увидел перед собой, больше всего походило на такую банку консервов, уже открытую — и сардинница, надо сказать, была ужасного содержания.

В самом ее центре плавал мертвец.

Он был в грязном халате — стандартном, но до того старом, что его оранжевый цвет стал уже бледно-желтым. Под халатом виднелись стандартные же пластиковые памперсы со множеством отходящих от них трубок и шлангов — как на Кеше.

Но на лице мертвеца не было маски «LifeBEat».

Его рот с черно-желтыми кривыми зубами был открыт. К подбородку прилип комок темной слюны. Вместо серой полоски фейстопа на его лбу громоздилась какая-то черная электронная опухоль, утыканная вычислительными микромодулями и змеящаяся соединительными лентами — что-то похожее, подумалось Кеше, собирают технически одаренные дети на уроках удаленного труда, вот только не клеят потом себе на лоб.

Открытые глаза мертвеца до сих пор выражали брезгливую скуку. Ему было тошно жить и тошно умирать, понял Кеша. Мертвец был стар.

Потом Кеша начал замечать все остальное.

Во-первых, на груди старика висела табличка с крупной надписью:

READ ME

Ниже что-то было добавлено мелким почерком, но Кеша пока не стал читать.

Его поразило обилие Персональных Айтемов. Такое количество личных физических объектов было не просто нелегальным — оно было неудобным. Особенно жутким Кеше показался технического вида нож с коротким треугольным лезвием.

Усопшего окружало несколько сумок со множеством карманов и кармашков. Две были прикреплены к стенкам модуля, а остальные плавали в пространстве.

«Так вот обо что я колени бил, — меланхолично подумал Кеша. — А боялся, мембрану глючит...»

Маска жизнеобеспечения висела в пустоте рядом с лицом мертвеца, и на самой толстой из ее трубок запеклись неаппетитные следы пищи. Потом Кеша увидел плывшую в пространстве полоску фейстопа с торчащим из нее серебристым деревцем нежнейших веточек — и поразился эфемернейшим, тоньше волоса, электродам. Трудно было поверить, что такой же точно корень вырос и в его собственный мозг тоже.

Корень реальности, да.

Над головой мертвеца парило электронное устройство из двух склеенных скотчем компьютеров-планшетов, вечной батареи и еще какой-то платы со множеством разноцветных прямоугольников. Такие штуки в старых фильмах про грабителей подключали обычно к сложной электронной системе, чтобы открыть дверь какого-нибудь огромного сейфа.

От этого странного устройства отходили три кабеля. Первый был подсоединен к

информационному шлангу системы жизнеобеспечения. Второй — через широкую и плоскую черную прищепку бесконтактного разъема — к полоске фейстопа. Имитировать мозговые сигналы, догадался Кеша. Третий шланг...

Кеша проследил за ним взглядом — и еле сдержал рвотный спазм. Провод кончался у покойника между ног. А там...

К промежности мертвеца был примотан биоскотчем цилиндр с розовой дыркой. Кеша знал, что это такое. Он видел трансгендерный модуль Google Pussy — или просто «GooP» — в передаче про историю фирмы Google, которая, оказывается, не всегда занималась протезированием гениталий, а начинала когда-то с технологий слежения и надзора.

Из другой передачи — про гендерсвингеров, неугомонных активистов прогресса, менявших пол в разные стороны не менее десяти раз, — Кеша даже знал, что голосовая активация Google Pussy, в отличие от Google Dick, локализована на русский — правда, опять криво: протез влагалища запускался фразой «окей пусси гластност номр адьин». Вероятно, имелась в виду «готовность». Фразу следовало выговорить с совершенно особенным акцентом, не так легко поддающимся имитации со стороны носителей языка.

Русскоязычные гендерсвингеры в передаче сдержанно жаловались на сухостой и дивились неостановимому развитию технологий, так что спектр мнений был представлен сбалансированно (главной своей проблемой гендерсвингеры считали вовсе не проблемы с Google Pussy, а другое: при современном укладе жизни очень трудно было дать гарантию, что о перемене вашего пола кто-то узнает вообще, и это сразу отбрасывало гендеронавтику на безлюдные пустыри экзистенциальной

заброшенности).

Зато электронный читей покойного, подключенный к Google Pussy, видимо, имитировал голосовую команду безупречно — Кеша не помнил за попойкой никаких проблем с выработкой любовной секреции...

Попка... Вот ты, значит, какая...

Поймав себя на этой мысли, почти безоценочной и неэмоциональной, Кеша поразился собственному бесчувствию.

«Ничего человеческого не ощущаю, — подумал он. — Совсем. Только вот тошнит немного. Может, у нас правда вместо душ протезы, как Ксю Баба говорит?»

И тут его накрыло долгожданной человеческой эмоцией. Это был ужас — такой сильный спазм, что он чуть не задохнулся.

Кеша узнал мертвеца.

Это был Бату Караев.

Он сильно отличался от предполагаемого образа, показанного в программе «ВОРУ ВОР», поэтому опознание и заняло столько времени.

Во-первых, у усопшего не было никакой бородки, а только двух— или трехдневная седая щетина (с легким содроганием Кеша вспомнил, что она растет некоторое время и у трупа). Во-вторых, на его носу не было заметно никаких сросшихся переломов. Обычный горбатый нос — большой, но довольно тонкий. В-третьих, усопший выглядел значительно старше своей реконструкции.

Кеша узнал его по глазам — карим, разной формы, именно таким, как в передаче. Если бы смерть закрыла их, Кеша, наверное, вообще никогда бы не догадался, кто перед ним. Как этого до сих пор не подозревала обманутая

электронным читером система, уверенная, что его сосед (ка) жива и в отличном здравии...

Преодолевая страх и брезгливость, Кеша приблизил подслеповатые глаза к табличке на груди старика — и прочел написанное под словами «READ ME».

«Если ты читаешь это, ты уже знаешь половину правды. Хочешь узнать ее всю — возьми пинку и вставь в свой фейстоп. Второго шанса не будет!»

Вместо восклицательного знака к картонке полоской скотча был приклеен флеш-пин с плоской шляпкой — золотая иголка, похожая на игрушечный гвоздик из мира счастливых гномиков. Кеша понял, что дырочка на его фейстопе сделана именно для таких гвоздиков. Какой-то нанофрейдизм, неприязненно подумал он и покосился на Google Pussy, примотанную биоскотчем к памперсам мертвеца.

А откуда у него скотч? Ну да, из этих сумок...

Кеша понял, что заговаривает себе зубы — дело было не в том, откуда у мертвеца медицинский скотч, а в том, хочет ли он знать всю правду.

«А вдруг Little Sister пронюхает? — подумал он. — Она же с приложениями работает. А это, на флешке, приложение или нет?»

Сестренки не было видно — значит, и он сейчас не виден ей. Сейчас ее просто нет. А раз так, откуда ей знать, что за сон ему снится?

Он несколько секунд глядел на флеш-пинку. Потом поглядел на мертвеца, избегая его глаз, и понял, что решение уже принято. Это было несложно — как будто за него все решил кто-то другой.

Протянув руку к табличке, Кеша снял с нее иголку. Затем повернулся к зеркальцу

над головой — и, не давая себе времени на колебания, поднес иголку ко лбу и воткнул ее в дырочку порта на пластиковой полоске.

Needles and pins

Кеша не знал, что должно случиться. Может быть, что-то драматическое — вспышка света в голове, громовой голос в ушах, внезапно наступившая ясность... Но ничего подобного не произошло.

Не произошло вообще ничего.

Он подождал еще минут пять. А потом сообразил, что надо вернуться на фейстоп: информация с золотой булавки могла отобразиться только там.

Переносить внимание на фейстоп, однако, было страшно. Для этого следовало отвести глаза от мертвеца, оставив его прямо напротив собственной груди и горла. А может, он был не совсем мертв? Или... Кеша вспомнил бесконечную череду зомби-сериалов, пронесшихся в свое время через его голову. Такого не могло, конечно, быть в действительности. Но страшно делалось все равно.

Выбора, однако, не оставалось, и Кеша решился.

Фейстоп, выплывший после секундного усилия из бледно-зеленого тумана, словно набух опасностью, каким-то грозным обещанием беды... Казалось, мостовую могла вдруг прорвать холодная рука Караева — и взять за горло... Впрочем, думал Кеша, постепенно успокаиваясь, если бы тот хотел, давно бы уже все сделал... Ткнул бы чем-то острым сквозь мембрану... Сколько времени таился напротив.

На фейстопе все было по-прежнему — только в дальнем углу площади, где обычно собирались новые демо-приложения, возникла новая икона. Там появилась...

Овечка.

И премиленькая, хоть и очень приблизительная — будто трехмерная анимационная фигурка, вырезанная из пенопластика. Таких овечек рисовали раньше школьницы, когда им хотелось изобразить какую-нибудь живность рядом с уже нарисованной принцессой — Кеша видел нечто похожее в передаче про детское искусство. Жалко, не принцесса. Но обойдемся...

«Вот интересно, — подумал Кеша, — а Little Sister ее видит? Это же на фейстопе... Впрочем, о чем это я...»

Он решительно кивнул овечке, и приложение запустилось. Фейстоп сразу исчез, словно между Кешей и привычной виртуальной вселенной кто-то вставил лист белой бумаги.

«Понятно, — подумал Кеша. — Скринится и шифруется...»

На белом фоне появилась овечка — такая же точно, как на фейстопе, — и пошла вправо. Она шла по белой пустыне довольно долго и наконец уткнулась в гору красных кирпичей. Взяв один кирпич зубами, она понесла его на левый край белого поля — вернее, просто влево, потому что никаких краев и границ у белой плоскости не было.

Кеша опять долго ждал, что будет, и дождался: овечка остановилась и опустила кирпич на белую поверхность. За первой овечкой уже шла вторая, тоже с кирпичом в зубах. Второй кирпич аккуратно встал рядом с первым, потом третий, потом четвертый. Овечки, кажется, строили какую-то красивую нарядную стенку. До Кеши донеслось мелодичное блеяние:

— Мимими! Мимими!

«Мило, — подумал он, — очень мило... И что? Он мне новые обои для

фейстопа оставил? И все?»

— Здравствуй, Кеша, — раздался низкий мужской голос.

Он прилетел сверху.

Кеша поднял глаза. Высоко в небе над овечками висело золоченое амбирное кресло. А в кресле сидел Бату Караев.

Вернее, кресло с террористом не висело в небе. Неба тут не было. За креслом был тот же самый белый фон — когда Кеша поглядел вверх, оно очутилось прямо перед ним, в нормальной перспективе, зато овечки съехали из поля видимости куда-то далеко вниз. Кеша сообразил, что раньше, оттягивая на себя внимание, они делали Караева незаметным, как бы пряча его в искусственно созданном зените. Поистине, так спрятаться на белом фоне мог только гений камуфляжа.

Караев был одет стильно — в маскировочный френч цветов пустыни и зеленую военную кепку с черным арабским шитьем, повернутую козырьком назад. У него была окладистая черная борода с благородными прожилками проседи. Он не особо походил на мертвого старика, которого Кеша только что видел своими глазами — но таким, видимо, террорист представлялся себе в собственных мечтах.

— Так вот ты какой, мой милый друг, — сказал Караев с улыбкой. — Здравствуй, Ке.

Кеша помнил, что видит перед собой мертвеца и отвечать на приветствие не надо. Но Караев глядел на него и ждал. Молчание затянулось и стало тяжелым — а потом Кеша заметил опции, появившиеся под ногами террориста. Они выглядели как слова, напечатанные на белой бумаге.

Опций было две:

1) ЗДРАВСТВУЙ, БАТУ

2) ЗДРАВСТВУЙ, БУ

Свобода выбора, вспомнил Кеша школьную мантру, есть не что иное, как осознанная необходимость сделать его правильно. К счастью, современная жизнь редко посылает нам серьезные дилеммы.

— Здравствуй, Бату, — сказал он.

— Ты слушаешь мое письмо, — сказал Караев, — значит, я уже мертв. Но система этого не видит — в нее приходит поддельный сигнал. Система не в курсе, что я разрезал трэк-мембрану. Информационные и питающие линки целы — они внизу, где ткань не повреждена. Мы можем остаться вдвоем навсегда, Кеша. Но тебе, наверное, не очень хочется жить в одном модуле с трупом. Или все-таки хочется?

Караев замолчал, внимательно на него глядя. Следовало ответить. Опций опять было две:

1) НЕТ

2) НЕ ОЧЕНЬ

А что будет, подумал Кеша, если взять и кивнуть? Но рисковать не хотелось. С террористами, даже мертвыми, не шутят — они люди серьезные. Кеша сказал:

— Не очень.

— Я так и предполагал, — ответил Караев. — Я объясню тебе, как избавиться

от этого соседства. Но сперва я хочу рассказать тебе, самому близкому мне — так уж вышло — человеку, свою историю.

Глянув на опции, Кеша снова сделал несложный выбор:

— Мне будет крайне интересно.

Караев кивнул, словно ни секунды в этом не сомневался.

— Мое настоящее имя — Семен Паламарчук. Бату Караев — просто творческий псевдоним. Когда-то давно я работал офицером-программистом Датапола и дослужился до старшего инспектора отдела борьбы с преступлениями против Символического Детства. Мы ловили сетевых педофилов. Как ты понимаешь, мы боролись с мыслепреступлениями, потому что других в этой области уже много лет не бывает. Сегодняшний развратник при всем желании не дотянется до инкубаторов и боксов, где подрастает заря человечества. Мы ловили преступных растлителей собственной мысли, пытавшихся придать ей некоторую внешнюю оформленность и оплотненность... Понимаешь, о чем я?

Караев ухмыльнулся, и Кеша почувствовал, что его лицо и щеки набухают горячей кровью.

— Более-менее, — ответил он, покосившись на окошко опций.

— Я работал винтиком системы, Ке. Как часто случается с людьми в юности, я был идеалистом — и верил, что помогаю обществу оставаться здоровым. Хотя, имея доступ к данным широкополосного сканирования, было очень трудно поверить в его здоровье. Складывалось впечатление, что оно сплошь состоит из патологических извращенцев, только кое-как соблюдающих внешние приличия... И мы не стали такими в последние годы, Ке, мы были такими всегда. Ты не веришь?

В этот раз обе опции были отрицательные.

— Нет, — ответил Кеша.

— А зря. Я работал в архивах Датапола и знаю, о чем говорю. Еще в начале двадцать первого века Датапол — он тогда назывался по-другому, но не в этом суть, — в первый раз составил полную базу всех секс-девиантов. Технология онлайн-наблюдения тогда делала свои первые шаги. В ее основе в те дни лежал простой, но мудрый принцип. Ты будешь смеяться, Ке, но каждый профессионал знает, что вы, извращенцы, реагируете не столько на картинку, сколько на подпись под ней...

Кеша проглотил это «вы, извращенцы» безропотно. Роптать не имело смысла по многим причинам.

— На картинке может быть пожилая негритянка, режущая арбуз, а подпись будет «тинэйджеры, пойманные в ванной» — и клиент все равно кликнет по ссылке. Человеческий мозг так прошит, что словесный уровень кодировки преодолевает визуальный. Сотни лет люди кричат, что мы живем в царстве визуальных образов. Это, конечно, так — но классифицировать визуальное многообразие можно только с помощью слов. Поэтому уже в двадцать первом веке главные порносайты мира были просто филиалами Датапола. Порноролики, возможно, снимались искренними энтузиастами, но их названия придумывали офицеры полиции по специальному алгоритму, позволявшему составить, так сказать, подробное меню всех возможных девиаций. И по первому же щелчку мыши эти диагнозы навсегда застревали в личной метадате... Я тебя не утомил?

Из двух опций Кеша выбрал «нет, ничуть», потому что «ни капельки»

показалось ему чересчур сексуальной формой ответа.

— Уже в те годы офицер спецслужб мог увидеть подробное секс-досье на любого гражданина, имеющего привязанные к личным аккаунтам девайсы — а все девайсы, Ке, засвечивались после первого же использования кредитной карточки или электронной почты... Мало того, на гаджетах уже тогда стояла дистанционно управляемая камера, а потребители свято верили, что она работает только тогда, когда рядом горит махонькая зеленая лампочка, хе-хе-хе... И каждый почему-то считал себя обязанным носить в кармане так называемый смартфон — микрофон и глаз сразу нескольких спецслужб. Это было, как людям объясняли в медиа, современно и престижно... Тебе, впрочем, все это не интересно...

Караев, видимо, хотел, чтобы Кеша ему возразил — под его креслом появились опции ответной реплики. Из «почему, интересно» и «отчего, мне очень интересно» Кеша выбрал второй вариант, но Караев неумолимо покачал головой.

— Нет времени, — сказал он. — С тех пор технологии наблюдения стали неизмеримо совершеннее. А после появления внутримозговых подключений говорить о каком-то сопротивлении сканированию просто смешно. Тебе не понять этого олимпийского всемогущества, этого божественного всеведения, с которым смотрит в ваши души любой офицер спецслужб с полным допуском... Чем выше мы поднимаемся по служебной лестнице, тем больше узнаем про мир, в котором живем. Но я был уверен, Ке, что мои глаза открылись еще до того, как мне дали высший допуск. Я думал, что понял главную тайну сам.

Кеша покосился на опции и выбрал верхнюю.

— Какую именно? — спросил он.

— Слушай внимательно. Тебе известно, что можно расшэрить любую мысль. Но для этого ты должен подумать ее совершенно особым образом. Как бы проговорить про себя. Ты должен довести ее до определенного градуса интенсивности, сделать ее медленной и проартикулированной. Остальная территория твоей внутренней жизни — теневая зона, куда система еще не научилась до конца залазить. Это тот последний уголок, где мы можем побыть тем, что мы есть на самом деле. Но только очень недолго, легонько и тайком. Там нас никто не видит. Так, во всяком случае, полагают люди. И точно так же считал когда-то я.

Кеша почувствовал легкую тошноту. Ему было страшно от того, куда сворачивает разговор.

— Теперь подумай вот о чем, — продолжал Караев. — Каждый день через тебя прокачивают контекстную рекламу. Иногда несколько раз в час. Это происходит всегда одинаково. Ты о чем-то размышляешь, у тебя возникает случайная мысль, какая-нибудь быстрая и беглая ассоциация — и система тут же ставит тебе рекламный ролик по мотивам того, что крутится у тебя в голове. Мило и ненавязчиво, да?

В опциях появилось разнообразие — «да» и «кивнуть». Кеша кивнул.

— Ты не задумывался, каким образом система выбирает поп-апы? Ты ведь не шэришь ту мысль, на которую вешают рекламу. Ты не всегда даже успеваешь внятно продумать ее до конца.

Кеша знал, что это правда. Его собственный опыт — хотя бы с шампанским — подтверждал это каждую неделю. Но он почему-то не придавал происходящему значения.

Кеша кивнул, хотя никаких диалоговых опций не высочило.

— Когда я понял это, — продолжал Караев, — мне стало ясно, что происходит одно из двух. Либо система может читать все наши мысли без исключения, и для нас не оставлено даже узкой полоски тени, где мы можем быть сами собой. Либо... Либо она заранее знает, что именно мы подумаем.

— Да, — сказал Кеша. — Точно.

Он понял, что говорит с трупом, как с живым. Впрочем, это было неважно. Караев все равно не слышал.

— Первый вариант я отбросил сразу, — продолжал Караев. — Наши самые легкие и быстрые мысли в принципе не могут быть считаны из-за своей неоформленности. Они не поддаются четкой локализации. Понимаешь почему?

Слово «локализация» в этом контексте наверняка означало не перевод на русский, а что-то специальное. Кеша пожал плечами.

— Ментальные объекты вообще не существуют в том виде, в каком вспоминаются нам, когда мы стараемся их вернуть. Когда мы думаем, мы как бы пытаемся вспомнить некую мысль, которой на самом деле еще не было. В этом природа творчества. Мы откуда-то знаем эхо звука, который хотим услышать. А система может считать только действительно прозвучавший звук. И лишь тогда, когда он был достаточно громким и долгим. Поверь мне на слово — просветить тебя насквозь цукербрины не могут. И вряд ли когда-нибудь смогут. Пока ты не делаешь себя прозрачным, в тебе нет ничего, что можно было бы увидеть.

Это звучало очень обнадеживающе. Кеша выбрал опцию «кивнуть».

— Итак, — продолжал Караев, — остался второй вариант. Система никогда не

ошибается с контекстной рекламой, поскольку знает заранее, что мы подумаем. Я долго размышлял, как такое может быть. И, перебрав все возможности, понял.

Караев нагнулся к Кеше, и его глаза оказались совсем рядом — гораздо ближе, чем это предполагало физическое движение.

— Ты полагаешь, что система читает мысли, а потом вставляет между ними контекстную рекламу? — прошептал он. — Черта с два! Ей не надо ничего читать. Мы думаем мысли, в которые вставляют рекламу, потому что нас заставляют их думать. Их заматают в наши головы вот этой вот поганой метлой...

Караев выставил вперед свою клешню, и Кеша второй раз за день увидел легчайшую серебристую метелочку. В грубых красных пальцах Караева мозговой имплант фейстопа казался особенно нежным и невесомым.

— Мы с рождения подключены к информационному потоку, который промывает наши мозги с таким напором, что там не способна появиться ни одна случайная мысль. Системе незачем читать мысли. Ей гораздо проще прокачать через твою голову мысль, которую ты примешь за свою — а потом, как бы в ответ на нее, прокачать рекламу, удивляющую своей уместностью. Если цукербрины рекламируют картофельное пюре, они сначала заставят тебя подумать о чем-то круглом. Потом прокачают мысль, что это похоже на картошку. А затем уже включают рекламу пюре... Понял?

Караев откинулся назад и некоторое время внимательно изучал Кешу — так долго, что тот даже почувствовал себя неловко. Впрочем, чувство прошло, когда Кеша вспомнил, что Караев вообще уже никуда не смотрит. Но актером покойный террорист был неплохим — для Кеша он успел превратиться в живого собеседника.

Кеша посмотрел на опции. Там было «кивнуть» и «промолчать». Он выбрал второй вариант.

— Но это еще не самое страшное, — продолжал Караев. — Гораздо серьезней другое. Когда ты принимаешь решение съесть сто грамм картофельного пюре, это тоже не твое решение. Его вколачивают в тебя точно так же, как мысли с контекстной рекламой. Мало того, когда ты, например, злишься, что тебя заставляют платить за случайный кивок, это тоже прокачка. Понимаешь? Вся твоя внутренняя жизнь — такая прокачка. Вся. Это просто длинная программная петля, прокручиваемая системой в твоём сознании.

Караев опять показал Кеше имплант.

— Все твои скрытые пороки, все твои стыдные темные пятна, и даже твоя затаенная ненависть к системе — тоже часть прокачиваемого контента. Нас всех давно подменили. А мы этого не заметили. Знаешь почему?

— Почему? — послушно спросил Кеша, покосившись на опции.

— Именно потому, — ответил Караев, — что тех нас, кто мог это заметить, подменили. Я сказал, система показывает тебе кино — но это неправда. Она показывает его не тебе, а вообще непонятно кому. Ты сам, Ке, и есть кино. Твоя любимая Ксю Баба любит повторять индусскую мантру «ты есть то». Чистая правда, Ке. Ты есть то, что прокачивают сквозь тебя цукербрины. И никакого другого тебя нет. Это реальность нашей жизни. Ее единственная реальность! Я был уверен, что понял все сам — еще до того, как система дала мне допуск. Только потом до меня дошел весь сарказм ситуации. Само понимание, которое я считал своим тайным прозрением, и было допуском! Допуском, просто закачанным мне в башку по

проводам...

— Что было дальше? — сверившись с опциями, спросил Кеша.

— Я попытался узнать, когда все началось и как. Следов почти не осталось. Все вычислительные штуки — компьютеры, чипы, программы — вошли в нашу жизнь в конце двадцатого века. Это выглядело как естественный прогресс человечества. Придумали полупроводниковый рп-переход, потом диод, потом транзистор, потом логический элемент, микропроцессор и так далее. Люди вроде бы постепенно изобретали все сами, техническая революция происходила у всех на виду — поэтому никому в голову не закрадывались подозрения. Никому, кроме одного человека...

— Кого? — послушно спросил Кеша.

— Его звали Джон Лилли. Памяти о нем в современной культуре не осталось, а его книги изъяты из баз данных. Он был не компьютерщиком, а, как тогда говорили, ученым-психонавтом. Он исследовал действие различных веществ на человеческое сознание. Однажды, экспериментируя с веществом, которое он называет в своей книге «К», он постиг истину. Лилли увидел, что Землю колонизирует кремнийорганическая цивилизация. Но она делает это не так, как предполагал Герберт Уэллс. Никакой войны. Никаких лучей, никакой крови. Звезды не падают с неба, треножники не высаживаются в городах. Люди сами строят армию вторжения по постепенно проступающим перед ними чертежам. А пришельцы прибывают на Землю в виде технологий и кода. Началось с калькуляторов и электронных часов, а кончилось...

Караев опять потряс перед объективом серебряной метелочкой фейстопа — словно подметая комнатку какого-то невидимого гномика.

— У человечества был шанс, — продолжал он. — Джон Лилли пытался связаться с президентом США и рассказать правду. Но его подняли на смех, назвав обдолбившимся хиппи. Он много раз пробовал достучаться до людей, но его прозрение объявили бредом спятившего наркомана. Постепенно сказанное им было убрано из открытого доступа... И все это время Голливуд отравлял людям мозги своим межзвездным мылом, изображая космических спрутов и внеземных блондинок. Людей все равно было не убедить. Они ведь создавали будущее сами. Они двигали прогресс своими руками — им казалось, что они понимают его природу и цель. Мы беззащитны, Ке. Мы слишком далеки от тех слоев мироздания, где решается наша судьба. Кроме Джона Лилли, никто из двуногих животных даже не заметил вторжения космических хищников. А сегодня все улики уже уничтожены.

— Зачем они пришли? — послушно спросил Кеша, глянув на опции.

— Я думаю, они впитывают нашу сексуальную энергию, — сказал Караев. — Нашу воспроизводящую силу. Это последнее, что можно было отнять у людей. Ты ведь знаешь, Ке, чем ты занимаешься изо дня в день...

Кеша увидел под башмаками Караева опции «потупить глаза» и «опустить глаза». Он выбрал второй вариант.

— Но то же самое, — продолжал Караев, — происходит и с другими. Различаются только детали. Еще в двадцать первом веке секс-контент занял большую часть сетевого трафика. И с тех пор его объем только рос. Вдумайся — миллионы потребителей порнографии целыми днями доводят себя до кипения на раскаленной плите, которую они сами включают у себя под задницей. Они обманывают свой мозг, обдавая жаром похоти наведенные на них электронные

приемники и антенны. Совокупляются с кремнием. С тем самым вторгшимся в наш мир врагом, которого краем глаза заметил Джон Лилли... Они перекачивают вибрации собственной жизни в бездонную черную дыру. И даже не видят тех, кто сплетается с ними на ложе извращенной страсти... Они видят только свет цукербринов.

— Кто такие цукербрины? — спросил Кеша, когда под креслом появились новые опции.

— Я при всем желании не могу ничего про них рассказать. Возможно, это просто оружие. Или что-то вроде служебных собак, натравленных на нас врагами человеческого рода.

— Кто эти враги?

— Не знаю. Не знаю ничего, кроме того, что они пришли непонятно откуда и превратили нас в зомби. Это происходило постепенно, и не только через порнографию. Насколько мне известно, впервые трех цукербринов посадили на мозговой выброс допамина в «Candy Crush» — в древности была такая игра, где надо было составлять тройные... Впрочем, на историю нет времени, да ты и не поймешь. Неважно. Они имеют другую природу, чем мы. Они бесконечно тиражируют себя и существуют столько раз, сколько умов им удастся собой заразить. Кремниевые структуры были просто дверцей в наш мозг, стенобитной машиной, добровольно построенной людьми. Цукербрины — это как бы тройной вирус. Его можно уничтожить только вместе с тем, кто им заражен. Каждый раз, когда мне удастся отправить на тот свет хотя бы одного порнозомби, вместе с ним отправляется в небытие и тройка цукербринов. Которые ничем не отличаются от цукербринов,

правлящих нашим миром. Получается, что одновременно их очень много — втрое больше, чем зараженных ими людей — и всего три. И нельзя сказать, что в одном месте копия, а в другом оригинал... Эта тайна превосходит наше разумение.

— Но почему с нами произошло такое? — прочел Кеша верхнюю опцию, когда Караев замолчал.

— В этом наша судьба. Мы просто овцы, Ке, безмозглые овцы. Кто-то стрижет нашу шерсть, кто-то ест наше мясо, а кто-то собирает наши кости... Но мы и не заслуживаем другого. После того, как мы отвернулись от Аллаха, в этой Вселенной не осталось никого, кто отвечает за наше страдание или уродство. Мы — статистика, взболтанная генераторами случайных чисел. Статистика, которая трясется от страха и надеется, что система ничего про нее не знает. Но системе не надо ничего про тебя знать, Ке. Это она делает тебя тем, что ты есть. Нет никакого злого гения, проклявшего твою душу.

— А у меня есть душа? — прочел Кеша верхнюю из выскочивших опций.

— Пусть это решают улемы, если они еще где-то сохранились. Но сам я думаю, что души кафиров потеряли божественную искру. Все просто. Ты рождаешься чистой флешкой — и на тебя в случайном порядке записываются фрагменты культурного кода, прилетающие из информационного пространства. В них больше не осталось ни слов Всевышнего, ни даже понятия о нем. Брызги говна из мирового вентилятора становятся твоей управляющей программой — и начинают определять твои поступки. А потом тебя за это милуют или казнят. Мир вливает в тебя свой гнойный тысячелетний яд, делающий тебя виновным перед тем самым миром, который его в тебя влил. А если ты виновен, чего ты можешь требовать? Да и кто

будет требовать, если сегодня тебя самого закачивают тебе же в голову по проводам вместе с контекстной рекламой? Нет ни злодеев, ни извращенцев, есть только скрипты, послушно обрабатывающие одну строчку кода за другой. Ты стал просто исполняемым оператором, Ке. И все люди тоже. Когда я понял, что один смог выбраться из тюрьмы, мое предназначение стало мне кристально ясным...

Под креслом опять появились опции. Кешу все сильнее раздражали предсказуемые вопросы террориста — хотелось взять и спросить что-нибудь другое. Но было страшно.

— В чем же оно? — выбрал Кеша нижний вопрос.

— Я досконально знал, как работает система. Ей нужны были люди-администраторы, потому что иначе управлять другими невозможно. Человек беззащитен — но сама система была так же беззащитна передо мной, одним из ее доверенных лиц. Для цукербринов мы все — просто совокупность сигналов и метадаты. Много лет я тайно изучал, как подделывать эти электронные слепки, создавая фальшивые личности. Я учился заклинать систему на ее тайном языке — и одновременно искал зоны тени, куда не сможет проникнуть ее взор. Мне пришлось написать несколько уникальных веток кода, но в целом спрятаться от цукербринов оказалось не так уж сложно.

— Куда? — спросил Кеша и чуть напрягся, ожидая неведомого возмездия.

Такой опции вопроса не было — Кеша ошибся. Была опция «Как?» Но ничего страшного не произошло.

— Чтобы стать невидимым для системы, — ответил Караев, — надо вынуть из себя ее нервные окончания. Раньше достаточно было закрыть все аккаунты в

социальных сетях и закопать смартфон в лесу. Сегодня это возможно только в том случае, если у тебя есть доступ к мозговой медицине. Необходимость извлечь фэйстоп возникает иногда при заболеваниях мозга — а потом его корень проращивают заново. Такие операции делают медицинские автоматы — и ее можно устроить, послав в систему грамотно подделанный биометрический слепок. Именно это я и сделал. А когда ко мне вернулся нормальный человеческий рассудок, я различил тихий голос Аллаха, объясняющий, что делать дальше... Остальное было неправдоподобно просто.

Под креслом Караева опять загорелись две опции (предлагалось спросить, что он стал делать дальше). Но Кеша не подчинился. Он уже страхнул с себя суеверный ужас и был уверен — анимационный Караев его не слышит. Скорей всего, программа реагировала просто на его биодату, отмечая движения мимических мышц и голосовых связок.

Проверить это было несложно. Вместо ответа он прокашлялся.

Караев не заметил никаких отклонений от скрипта. Мало того, он стал отвечать на вопрос, не заданный Кешей:

— Что делает слуга Всевышнего, когда видит, что его друг превратился в злобного упыря, мозгом которого управляют черви, вползшие в глаза и уши? Он со слезами на глазах стреляет из дробовика ему в голову! И убивает кишящих у него в мозгу цукербринов! Я знаю, что цукербрины когда-нибудь настигнут и погубят меня самого — но сам я уже сделал это с ними больше пятисот раз. И каждый раз, Ке, каждый раз они умирают по-настоящему. Разве не повод для счастья? Они знают страх смерти. И перед смертью они страдают, о да, страдают...

Кеше все еще было страшно, но теперь он отчетливо понимал, что слышит речь сумасшедшего. И какой-то предприимчивый уголок его сознания, не затронутый гипнозом мертвого террориста, вдруг увидел в происходящем тень практической жизненной перспективы. Ведь этот ужас когда-нибудь кончится, понял Кеша. Обязательно начнется что-то другое. А значит, надо думать о будущем прямо сейчас...

И в сознании Кеши забрезжил ПЛАН.

План

Это был шанс, который случается раз в жизни. А в большинстве жизней — ни разу вообще... Из ситуации, понял Кеша, можно не просто выпутаться. Свое вынужденное участие в ней можно выгодно продать. Или хотя бы попробовать...

Кеша не понимал еще деталей, но интуиция уже указала путь: он как бы увидел нарисованный легчайшим контуром маршрут — и сделал первый мысленный шаг.

«То, что безумец мертв, совсем не делает его менее безумным...»

Кеша подумал эту мысль медленно и ясно, отчетливо артикулируя ее, чтобы расширить с системой. Еще он на всякий случай подмешал в нее немного оскорбленного достоинства свободного гражданина, столкнувшегося со зверем в человеческом облике: достоинство летало вокруг главной мысли, как голубки вокруг сердца покойной Мэрилин.

Собеседник, как он и предполагал, ничего не заметил.

— Кем был когда-то человек! — продолжал Караев. — Он спускался в глубины морей, летал в космос... А сегодня... Мы превратились в баночных сардин под электронным наркозом. Говорят, что это выбор человечества. Но можно ли считать дееспособными людей, чьи черепа давным-давно вскрыты электронным долотом? Наши желания, мысли, надежды и страхи только кажутся нашими. Когда-то раньше информационное пойло вкачивали в человеческие души, и люди жаловались, что они под чужим контролем. Но сегодня в нас вкачивают души, уже запрограммированные информационным пойлом. Остался один способ вернуть людям их достоинство — помочь им умереть...

«Меня утомила речь безумца, — отчетливо подумал Кеша. — Понять его нормальному человеку нельзя — точно так же, как нельзя понять змею или скорпиона. Вернее, человек понимает их, и очень хорошо — в тот момент, когда они его кусают. А они понимают человека в тот момент, когда он их давит. И никакого другого понимания между нами просто не бывает...»

От собственной отваги Кеше стало страшно, но он напомнил себе, что Караев уже мертв. Смотреть ему в глаза, однако, все равно было жутковато. Кеша отвел взгляд. Лучше уж глядеть в белую пустоту, чем в эти безумные щели разной формы.

Стало легче. Но слова Караева продолжали долетать до ушей.

— Так начался мой джихад, — продолжал террорист. — Да, джихад, ибо перед тем, как вступить в борьбу, я принял ислам и объявил себя воином Аллаха — чтобы вдохновляться примером героев, уже прошедших этот путь до меня. Я взял себе имя одного из древних шахидов, в котором сплелось много удивительных и прекрасных смыслов. Пользуясь знанием системной архитектуры, я без труда затерялся в гроздьях консервных банок, где живут сегодняшние люмпен-консумеры. У меня были две портативные графические станции достаточной мощности, чтобы подделывать любой поток данных. Я знал, как подключить их к системе незаметно для нее. Заслоняясь фальшивыми личинами, я путешествовал из бокса в бокс, меняя партнеров, как только у тех появлялись подозрения... Шахиду разрешена любая хитрость, чтобы обмануть врага. Я знал, какими алгоритмами система станет искать меня, поэтому принял фальшивую женскую идентичность. Да, это было омерзительно, но я пошел на великую жертву ради своей борьбы. Это сделало меня полностью невидимым — мои биологические сожители не знали, кто прячется в

полуметре от них. Ведь ты не догадывался, Ке?

Кеша даже не посмотрел на опции — только тяжело вздохнул.

— Пользуясь доступом к полицейской базе данных, я выбирал себе в спутники тайных рабов порока, которые слишком боятся собственного разоблачения, чтобы подозревать в чем-то других. А для того, чтобы система не заметила странностей в моей биографии, я имперсонировал пожилую нимфоманку, которой каждые два часа нужен секс. Такой комплект сигнатур очень характерен и распространен в современном мире, и подделать его проще всего. Это позволяет полностью слиться с фоном. Но я хочу, чтобы ты знал — всякий раз, когда твои нечистые руки шарили по моему воображаемому телу, я глотал слезы ненависти, шептал «Аллаху Акбар» и укреплялся в своей решимости уничтожить падший мир!

«Он, вообще-то, — отчетливо и медленно думал Кеша, — вещает даже менее убедительно, чем террористы из киносериалов. Точно так же громит цивилизацию, ее обычаи и нравы, ссылаясь на величие золотого века. Так его коллеги обычно называют эпоху мусульманских завоеваний... Слушать его неинтересно — он не говорит ничего нового. Куда более острую критику современного общества можно найти, например, в лекциях Яна Гузки. Разница в том, что Гузка не убивает людей».

Густо, как майонезом, приправив эту мысль презрением, Кеша понял, что глядеть в белую пустоту ему даже нравится. Он словно стоял в одиночестве перед снежным полем, над которым недавно утихла метель. Сестричку занесло сугробом — наверно, уже навсегда...

Приложение, кажется, заметило, что Кеша не смотрит на Караева — и вернуло кресло с террористом в самую середину его поля зрения. Надо было зацепиться

взглядом за что-то другое.

Кеша поглядел вниз, и бубнящий свою загробную пропаганду Караев опять исчез. Ракурс головокружительно переменялся, и Кеша снова увидел смешных нарисованных овечек, таскающих красные одинаковые кирпичи. Они успели наполовину построить из них вполне симпатичный круглый домик, похожий не то на пенек, не то на первый этаж башни. Если все время смотреть на овечек, понял Кеша, не будет видно Караева...

«А ведь Караев придумал и нарисовал этих овечек, — проартикулировал он новую мысль. — И все кирпичики, и домик, который овечки строят. Самое жуткое в том, что овечки мне даже нравятся... Значит, мне близка какая-то часть души убийцы. И я — пусть хоть в чем-то незначительном — устроен так же, как террорист...»

Кеша сосредоточился и испытал раскаяние и горький стыд.

Мысль была красивая и долгая, богатой архитектуры — но ее market value размывалась тем, что в ней отсутствовала новизна. Такой тип личного покаяния хорошо всем знаком из исторических программ, и слишком заводить не стоило.

Кресло с Караевым снова переехало в центр поля зрения, вытеснив овечек — видимо, террористическое приложение отслеживало движения Кешиных глаз не хуже мелкой сестренки.

— Несколько слов о тебе, Ке, — продолжал Караев. — Как я уже сказал, ты причинил мне много боли своим разнузданным нравом. Сам того не зная, ты превратил мою жизнь в ад. Дело в том, что около года назад со мной случился инсульт, и половину моего тела парализовало. Твои ласки после этого были

особенно отвратительны. Они вышли за пределы физически переносимого и стали ежедневной мукой — но я не мог изменить алгоритм, зажигающий над моей головой красное сердце, не вызвав подозрений у системы. Начались бы биологические тесты на менопаузу, и устаревший софт моих планшетов мог не справиться с потоком запросов. Мне приходилось терпеть. Я мог действовать только одним способом. Я взломал твой фейстоп, Ке, и стал посылать тебе знаки своего омерзения и боли. Я атаковал позорный фетиш, который ты натягивал на меня поверх моей социальной маски. Я покрыл его синяками и царапинами, я заставлял его презрительно хмуриться в ответ на твои ласки, я показывал его тебе в кошмарах — но все это лишь раздувало твою похоть...

Кеша попробовал осторожно отвести свой взгляд от Караева — так, чтобы движение глаз было плавным и замедленным.

Это получилось. Он опять увидел овечек. Они уже достроили свой круглый домик — и теперь, собравшись вокруг, раскрашивали его зажатými в зубах кисточками в серебристый металл. Такие домики, с грустью подумал Кеша, никогда на самом деле не строили. Они существуют только на детских рисунках... Наверно, Караев был очень одиноким человеком...

Но тут же он поймал себя на том, что чуть не провалился в подобие симпатии к террористу — а такое чувство нельзя шэрить ни в коем случае. Всегда найдется какая-нибудь климактериальная клизма, которая поднимет вой на дрим-шоу. Правильнее всего было со скорбным достоинством дожидаться решения своей судьбы, глядя на террориста с омерзением и закипающим гневом...

Кеша испуганно сглотнул — и подумал, что стал слишком уж самонадеянным:

еще не знает, чем кончится эта история, а уже шэрит, так сказать, шкуру неубитого медведя. Как бы его самого не расшэрило в клочья...

Но шанс нельзя было упускать.

— Мне все сложнее становилось удовлетворять твои растущие прихоти, — продолжал Караев. — Последней каплей стал тот день в кинозале, когда ты подверг меня очередному надругательству под лживый правительственный фильм о моей великой работе, который я вынужден был смотреть вместе с тобой. Такого double penetration^[14] вынести я не смог. Я отчетливо осознал в тот миг, что хочу уйти из жизни, давно уже ставшей для меня мукой. Возможно, дисциплина и воля помогли бы мне пережить этот кризис, как случилось не раз. Но в тот день во мне словно треснуло какое-то закрашенное черной краской стекло — и в мой ум ворвался свет.

Кеша глянул на опции — «что произошло?» и «что случилось?». Но вместо этого он сказал:

— Я все еще слушаю тебя, палач. Хотя это дается мне нелегко.

— Ты все время пишешь на Стене Доверия «FUCK THE SYSTEM», — продолжал Караев. — И думаешь, глупый, тебя никто не видит. Один раз я даже не выдержал и попытался тебя вразумить несмотря на риск. Я хотел объяснить тебе, что это система трахает тебя, а не наоборот. А в результате... В результате, Ке, я сам понял совершенно неожиданную для себя — и страшную — вещь.

Кеша поднял глаза на опции — он не сомневался, что приложение следит за его глазами. Но вместо предложенного в двух вариантах вопроса «какую вещь?» он с размеренным достоинством сказал:

— Я не тюремный психиатр, чтобы ковыряться в мыслях убийцы...

— Я понял, что ничем не отличаюсь от тебя, — продолжал Караев. — Всю свою карьеру террориста я считал себя единственным, кому удалось трахнуть систему. Вынуть из себя ее провода. Стать свободным живым человеком среди тотального небытия... Но после того как я написал тебе ответ на Стене Доверия, мне приснился один удивительный сон...

В опциях появились две версии вопроса «какой сон?», но Кеша вместо этого сказал:

— Поразительно, что убийца вообще может спать.

— Я встретил во сне мудрого улема, — продолжал Караев. — Он спросил меня: «Как ты живешь, Бату?» Я объяснил, что меня до сих пор не могут поймать, но дважды в день подвергают позорному унижению, наряжая японской школьницей. Улем вздохнул и сказал: «Мне кажется, Бату, где-то в анализе ситуации ты совершил ошибку». — «Почему?» — спросил я. «Ну представь, какая у тебя будет эпитафия: „Мир ловил меня, но не поймал. Но все равно ***[\[15\]](#) два раза в день“». Я почувствовал обиду и ответил так: «При всем уважении, мудрый улем, мне неважно, какая у меня будет эпитафия в вашей голове. Мне и в своей проблем хватает...» Но в моей душе что-то разладилось.

— Что именно? — спросил Кеша.

В этот раз он не изменил выскочившего в опциях вопроса.

— До меня дошло, что мы с тобой ничем не отличаемся друг от друга. Это не я стал воином Аллаха после прозрения, Ке. Это система захотела сделать из меня террориста. Террористы и несогласные необходимы ей как воздух. Именно на них покоится существующий порядок — ибо террор его оправдывает, а протест шлифует.

Системе не надо знать, где я прячусь и каким будет мой следующий удар. Ей не нужен постоянный контроль над моей головой. Системе достаточно перепрошить мне мозги один-единственный раз, чтобы превратить меня в своего прислужника, думающего, будто он герой-повстанец... Видишь ли, системе не важно, кто кого трахает, ты ее или она тебя. Ей важно, что ты занимаешься с ней любовью, даже если это любовь со знаком минус. И она хочет, чтобы ты делал это всегда... Понял?

— Нет, — мятежно ответил Кеша, глянув на опции (там было «понял» и «да»).

Караев опять переместился в центр его поля зрения. И тотчас же где-то на заднем плане Кешиново ума брызнула быстрая и прозрачная полумысль насчет того, чем следует закончить встречу с террористом. Ловя последние мгновения прямого контакта с глазами убийцы, Кеша с отчетливой и размеренной ненавистью отдумал, что Караев со своими рассказами похож на приставалу, не понимающего, что его не хотят, что он отвратителен и вызывает лишь дрожь омерзения.

— В моем сердце нет ненависти к тебе, Ке, — сказал Караев. — Есть только жалость. Бедняжка, ты так дрожишь за свой наивный деревенский миражик, который, кстати, на редкость смешно смотрится во внешней проекции. Ты — злобная, но точная карикатура на меня. Ты думаешь, что система ловит тебя и не может поймать. Дурачок. Она поймала нас всех с самого начала. Она даже не ловила нас, нет — это наши эмбрионы выросли на закинутых ею крючках. Но если ты до сих пор не понял этого сам, ты вряд ли поймешь и после моих слов... Хватит болтовни. Сегодня я уйду из жизни, приняв яд. За миг до смерти я сделаю системе маленькое харакири. Я распорю мембрану между нами, и разврат прекратится навсегда. Ты увидишь все сам. Вернее, уже увидел...

Караев провел рукой по лицу и замолчал. Кажется, он пытался сосредоточиться и зарядить последние слова всем темным огнем своего сердца.

— Я, Бату Караев, объявляю тебе: этот мир не стоит того, чтобы бороться за его достоинство и чистоту. Я не буду больше подметать ваш мусор. Отныне — никаких терактов в вашу честь. Запивайте иллюзию любви иллюзией шампанского и будьте прокляты, подвешенные в смрадном воздухе желудка... Нет, иллюзии желудков...

«И чего они все время про иллюзии гонят, — подумал Кеша с размеренным презрением, — что этот, что Ксю Баба. Не все ли равно, как называть происходящее? Оно ведь как происходило, так и будет происходить... Как сказал Ян Гузка... Черт, забыл... Надо будет, кстати, этого зоопидора деинсталлировать. А то от него запах такой, будто на фейстоппе кто-то насрал. Вернем Ксю. Она славная. Пусть болтает про иллюзии. Теперь фуфло пороть не будет, небось все уже поняла...»

Кеша вздрогнул, поняв, что вместе со зрелой и правильной мыслью нечаянно расшэрил довесок, заряженный фуррофобией. Но тут же сообразил — в ситуации стресса это, наверно, простительно и даже придает потоку его мыслей неполиткорректное правдоподобие.

Следовало сконцентрироваться. Испытание подходило к концу — важно было на последних метрах (Кеша давно уже думал о мире как о большом стадионе) не испортить начатое.

Кеша решил сосредоточиться на овечках. Несколько секунд он пытался их найти, но это никак не получалось. У него стала кружиться голова. А потом он пробился через головокружение — и понял наконец внутреннюю геометрию приложения. Зритель — то есть он сам — находился как бы в центре белой сферы.

На одной ее стенке стояло кресло с Караевым. А в зеркально противоположной точке шел мультфильм про овечек. Сначала следовало уставиться строго вверх — или строго вниз. А потом следовало перевести взгляд еще дальше, уже не опираясь ни на какие ориентиры. Наверно, это было сделано для балансировки — Караев хотел предстать перед Кешей и человечеством в трехмере, а времени строить полную сферическую реальность у него не было, и он обошелся самым грубым геометрическим противовесом.

Домик, который строили овечки, был готов — он походил на большую кастрюлю. Архитектором Караев не был точно.

Мило и жалобно мыча, овечки одна за другой заходили в дверь этой кастрюли. Когда последнее «мимими» стихло, дверь закрылась изнутри, а на стене дома появилась розовая лента с большим подарочным бантом. Караев определенно был сентиментален. Как и многие другие убийцы...

Кеша принялся за последнюю медленную и отчетливую мысль: как бы террорист ни был похож на человека, он таковым не является. Поэтому нельзя обманываться теми его проявлениями, что кажутся нам понятными и близкими. Мы не поймем про него ничего... Когда скорпион ползет по направлению к умывальнику, это не значит, что он хочет стать чище...

Как выражался Ян Гузка, современная медиа-культура больше всего ценит спонтанные и свободные проявления человеческого духа, полностью совпадающие с набором текущих гештальт-нормативов... Но эту мыслишку шэрить было ни к чему.

Караев опять прыгнул в центр Кешино поля зрения, ванькой-встанькой перевернув белую сферу.

— Вот и все, — сказал он, впиваясь взглядом в Кешу. — А теперь я скажу тебе, как избавиться от соседства с моим трупом. Это просто. Так просто, что ты не поверишь. Ты ведь знаешь, что у сестрички есть аварийный канал «Поговори со Мной»?

Кеша кивнул.

— Выйди в главное меню, — сказал Караев. — Когда сестричка начнет спрашивать про твои проблемы, выбери систему «LifeVEat». Когда она начнет читать меню, скажи «Код тринадцать зу». Понял? «Код тринадцать зу». Это аварийный технический шорткат для коммунальных и медицинских служб. Дальше твою дату перезагрузят, и все будет хорошо. Прощай, Ке. Спасибо за человеческое тепло — хотя его порой было многовато. Но кроме тебя, у меня в этом мире не было никого вообще... Вольному воля, Аллаху Акбар.

Кеша аккуратно расшэрил свое непонимание того, чем были последние слова террориста — желчным сарказмом или сентиментальным всхлипом, вырвавшимся из его черного сердца.

«Даже трудно сказать, — тщательно и медленно думал он, — какой из двух вариантов был бы омерзительнее...»

На всякий случай Кеша медленно пропустил эту мысль через свое сознание еще два раза, в первый раз добавив к ней немного стоицизма, а во второй — чуть-чуть закипающего гнева. Посмотрим, что возьмут.

Караев замолчал и замер, как отключенный от питания электрический манекен. Его глаза закрылись. А потом он поехал назад, и Кеша понял, что возвращается на фейстоп. Белая сфера с креслом мертвеца на миг мелькнула вокруг снежной

мантией, выпустила его из себя и с хлопком исчезла, не оставив на фейстопе никакого следа. Приложение, видимо, было самостирающимся.

Хорошо, что Кеша успел все расшэрить.

Little Sister глядела на Кешу. Под ее глазом темнел синяк — еле заметный, словно затертый тональным кремом. На руке у локтя была царапина. Но сейчас это совсем не волновало.

— Прости, детка, прости за все, — пробормотал Кеша. — Мне нужна твоя помощь. Понимаешь? По-мощь. Мне нужна помощь...

— Я здесь для того, чтобы помочь, — ответила сестричка и улыбнулась.

Кеша понял, что он уже в главном меню аварийного канала.

— Какого рода проблемы вы испытываете? — спросила сестричка. — Кивните головой, когда я угадаю. Проблемы с операциями на фейстопе? Проблемы с системой LifeBEat?

Кеша кивнул.

— Что не так с системой LifeBEat? Кивните головой, когда я угадаю. Система очистки воздуха? Система подвода воды? Система подвода пищи? Стоматологический модуль? Модуль общей гигиены? Эпиляционный модуль?

— Код тринадцать зу, — отчетливо произнес Кеша.

Сестричка некоторое время молчала. Потом сказала:

— Повторите ввод.

— Код тринадцать зу, — повторил Кеша.

— Полное отключение всех систем, — ответила сестричка. — Высылается ремонтный модуль. Администрируется общий наркоз. Десять... Двадцать...

Тридцать...

Дальше, судя по всему, должно было быть «сорок» — но его Кеша не услышал.

В темноте пахло соломой, и дул ветер. Кеша знал, что проснется где-то в другом месте. Но он уже не боялся ничего.

Пробуждение

Его разбудил запах прелой соломы, неожиданно свежий сквозняк — и знакомый бубнящий голос рядом.

Кеша открыл глаза.

Он лежал на соломенном тюфяке в камере Анонимуса. Болела подвернутая рука. Кеша испугался сперва — но понял, что это не травма. Он просто спал в неудобной позе.

Анонимус стоял у стены в обычной позе и говорил, как бы задавая ритм звяканьем своих цепей:

— Доказательства существования мирового еврейского заговора несчетны — и видны любому, кто не боится правды. Проблема, однако, в том, что мы ее боимся — и подвергаем собственное сознание политкорректной цензуре. Отчетливейшие свидетельства невыносимой истины мы объясняем простыми совпадениями, случайностью, технической необходимостью — и чем угодно еще. Приведу только один пример, доказывающий, что наш brave new world^[16] с самого начала строился по чертежам всемирного кагала. Те, кто знаком с базовым уровнем реальности — а мои подписчики, я полагаю, с ним знакомы хорошо, — знают, как устроена разделяющая партнеров мембрана в стандартном двухместном модуле. Это фактически растянутая между ними простыня с маленькой дыркой, через которую происходит интимный контакт. Любой, знакомый с культурой еврейского народа, хорошо знает, что именно таким образом должно происходить совокупление по ортодоксальным еврейским законам. Навязать свои нравы человечеству, изломать

чужие жизни только ради того, чтобы буквально выполнить собственные религиозные предписания — характернейший почерк этого маленького, но чрезвычайно влиятельного племени...

Кеша зевнул, встал и пошел к выходу из камеры.

Запах прелой соломы и кирпичная сырость были такими правдоподобными, что на миг ему показалось, будто он находится в этом каменном мешке на самом деле — и он испытал большое облегчение, когда каморка Анонимуса съежилась до иконы, прыгнула на свое обычное место, и он увидел наконец контуры родного фейстопа.

Итальянская площадь была такой же, как всегда — и другой, свежей и умытой, словно над фейстопом прошел очистительный дождь.

Сестричка была уже здесь.

Сама по себе.

Ее не надо было создавать заново.

И еще поражала случившаяся с ней перемена.

Она была одета в белое праздничное кимоно с розовыми и красными цветами. И она улыбалась Кеше, да, улыбалась — ее лицо сияло самой искренней симпатией.

— Много новостей, — сказала она.

Кеша чуть сжался.

— Хорошие или плохие? — спросил он.

— Полный апгрейд системы. Теперь никакой утренней загрузки, никаких глупых мультиков. Можно ложиться спать прямо в приложениях. Если ты захочешь, я буду рядом всегда, без всякого клоуна Мутабора. И еще — мы переехали. Это на время. Потом нам подберут жилье получше...

Кешу так восхитило это «нам», что он не задал ни одного вопроса.

— Я знаю, — продолжала сестричка, — ты не успокоишься, пока не увидишь все сам, так что загляни на базовый уровень. Только быстро. У тебя сегодня очень важная встреча.

Кеша кивнул. Ему самому не терпелось проверить, убрали Караева или нет. Он сделал знакомое усилие и через несколько секунд увидел в зеленоватом тумане свои руки, обмотанные свежайшими биобинтами.

На нем была новенькая пижама и новые памперсы. Стены тоже выглядели новыми и чистыми. Другой модуль. Новый. Гигиеническая мембрана была блестящей и свежей — совершенно девственной, с неожиданным волнением подумал Кеша. Может быть, за ней теперь вообще никого живого — только заглушка и love dummy. Это разрешается тем, кто готов платить большие налоги... Отверстие было закрыто серой пластмассовой диафрагмой. Кеша вспомнил о сестричке и сглотнул. Всему свое время.

На мягких стенах висели Домашние Картины — с одной стороны Черный Квадрат, с другой — глядящая на квадрат Джоконда, все по последней ретро-моде.

Он посмотрел в электронный иллюминатор — и увидел чрезвычайно реалистичный Сатурн во всем великолепии колец, сверкающих солнцем и льдом. Судя по этому виду, модуль плыл в космосе где-то недалеко от последнего кольца, и, хоть Кеша понимал, что перед ним просто картинка и окошко его камеры вовсе не выходит в открытый космос, символическая эвакуация из прежних пространств впечатляла.

Он поднял голову и поглядел в зеркало. Лицо и голова были чисто эпилированы.

Его кожа выглядела свежей и ухоженной, словно ему сделали дорогой массаж с чисткой. Маска «LifeBEat» на лице была другого цвета — и тоже совсем новая. Даже полоска фейстопа оказалась другой. Чуть шире. И чуть короче.

Он повернул голову, чтобы посмотреть на свои персональные айтемы. Пластмассовый морячок в тельняшке и сине-желтая машинка остались на месте. А вот плюшевый мишка исчез.

Вместо него в сетке теперь лежал лев с коричневой гривой. Очень старательно и качественно сделанный лев. И тоже совсем новый. И хоть бурого мишку в первый момент стало жалко до комка в горле, Кеша понял, что это не ошибка при переезде, а социальный аванс. И серьезный поворот в его жизни. Практически переход в другую касту. Высшую касту — тут никаких сомнений не было, хотя дураку ясно, что никто и никогда не станет обсуждать эту тему на фейстопе. Оруэлл был прав — есть вещи, про которые в свободном обществе не принято говорить, потому что они понятны и так, а если взять и заговорить об этом вслух, над свободным обществом сразу нависнет мрачная тень...

Но у него, похоже, все обстояло хорошо. Очень хорошо. Ему даже не надо было отказываться до конца от своей прежней идентичности. Морячок оставался! В той же самой тельняшке! А значит, в чем-то он сможет по-прежнему быть собой...

Он вернулся на фейстоп. Сестричка улыбнулась и помахала ему рукой. К ее улыбке невозможно было привыкнуть. Она определенно рада была его видеть.

— Тебе пора на встречу, — сказала она. — Тебя ждут.

— А с кем у меня встреча? — испуганно спросил Кеша.

Сестричка обдала его серебристым счастливым смехом.

— Не буду портить тебе удовольствие. Увидишь сам. Все будет хорошо, Ке. Ты идешь вверх, как ракета. Наш План сработал.

«Наш». Как волшебным звучит это слово. Прежде сестричка, кажется, никогда не называла его по имени. Во всяком случае, Кеша такого не помнил.

— Ты сказала, нам подберут другое жилье. А где?

— Может быть, на Еврайхе. У тебя будет настоящая комната. А у меня — тело, как у тебя. Ты сможешь трогать меня на самом деле... Только тсс... Потом, все потом.

Кеша понял, что говорить об этом не стоит. Пусть чудо входит в его жизнь плавно, пусть солнце восходит в положенный час, не надо ничего торопить... Тем более, что впереди какая-то встреча... Он уже догадывался с кем — но не смел признаться даже себе.

— Куда мне идти?

Сестричка подошла к фонтану и повернула раковину, в которую трубил один из мраморных амуров. Прозрачные струи воды сразу иссякли. А потом фонтан, словно люк танка, опрокинулся назад — и превратился в парящий над мостовой диск. Кеша увидел несколько лежащих на булыжнике монет — и даже пару кустиков белой бессолнечной травы. Такое внимание к деталям впечатляло, но вместо того, чтобы приятно удивиться, Кеша вдруг ощутил грусть. Ему показалось, что и сам он такая же травинка-альбинос.

Темное дно фонтана теперь глядело прямо на него. На нем обнаружилась фреска — глаз с огромным зрачком. Глаз был слишком круглым, чтобы выражать хоть что-то: черная воронка, впитывающая в себя все-все. Если бы в мире был Бог и

у Бога имелся орган зрения, он, наверно, выглядел бы именно так... Кеша никогда не видел подобной иконы прежде, но ему уже казалось, что она всегда висела над площадью именно в этом месте, закрывая фонтан. Просто раньше глаз Бога был закрыт — а теперь он открылся, и Бог наконец увидел Кешу...

Он вопросительно поглядел на сестричку, и та, ясно улыбнувшись, кивнула головой. Кеша перевел взгляд на Божественное Око и чуть заметно моргнул.

Око ответило. Оно стало расти, приблизилось к Кеше — и поглотило его.

Кеша стоял в круглом черном тоннеле. Его стены были полированными и скользкими — словно он попал в трубу из черного льда. Стараясь не поскользнуться, он пошел вперед.

В желобе пола появились ступени. Сперва совсем низкие, потом все выше и выше. Одновременно тоннель стал поворачивать вверх — и вскоре Кеша уже поднимался по черной лестнице. Через несколько шагов оказалось, что переставлять ноги больше не надо — лестница поехала вверх сама.

Сначала тоннель вокруг был аскетично-голым. Но чем выше поднимался Кеша, тем больше деталей и украшений появлялось вокруг. Казалось, он движется вверх по эскалатору древнего метрополитена, виды которого он часто встречал в исторических приложениях. Вот только станция, куда он попал, явно не предназначалась для обычных пассажиров. Здесь был лишь один эскалатор, и на нем стоял единственный человек — он сам.

На черном потолке теперь горели ослепительные диски ламп. Вниз уезжали стоящие в черных нишах статуи, покрашенные в телесный цвет и похожие на замороженных мимов. Сперва это были воины в доспехах, бородатые герои, дебелие

богини плодородия и хмурые гераклы в шкурах — но чем выше поднимался Кеша, тем моложе, приветливей и соблазнительней делались неподвижные свидетели и свидетельницы его взлета.

Воздух становился все свежее и чище, свет — ярче. Но самым главным были не изменения окружающего пространства, а то, что происходило в Кешиной душе.

Он уже знал, куда он едет.

Его ждали три цукербрина.

И как только он это окончательно понял, он их увидел.

Вдали, в верхней точке тоннеля, зажглись три бесконечно ярких огня. Кеша давно знал, что свет может быть и добрым, и мудрым, но, когда лучи цукербринов скрестились в его сердце, все было как в первый раз.

Лестница под ногами по-прежнему ехала вверх, но Кеша знал, что уже прибыл. Движение могло продолжаться еще миллионы лет, но все равно не приблизило бы его к источнику света ни на миллиметр. Да этого и не требовалось — свет был рядом. Он сиял теперь в самом Кеше и не мог стать еще ближе. Кеша находился на границе реальности, там, где пространство и время сливались, смешивались и превращались в этот вечный огонь.

Свет знал про него все. Все понимал, все видел и ни в чем его не винил, ибо у Кешиных прегрешений была внешняя причина. Сам Кеша никогда, никогда не был источником зла. Свет в этом не сомневался.

Свет был его лучшим другом — и не просто лучшим, а единственным вообще. Свет никогда не наказывал. Наказание заключалось в том, что иногда он исчезал. А когда он снова зажигался впереди, это было высшим возможным счастьем.

Кеша всхлипнул — и в одну секунду, на гребне выплеснувшейся вверх мысли вдруг понял, что именно этот свет он и любил сквозь сестричку. Просто кривая оптика души была устроена так, что он мог увидеть его только в особую стереотрубу — из задранных вверх ножек в белых чулках. Но никакой сестрички на самом деле не было — вернее, три цукербрина были ею всегда, всегда... Это их он ласкал с такой безнадежной нежностью. Но тайна казалась слишком высокой для слабого человеческого ума. И ее совсем не обязательно было помнить для того, чтобы жить счастливо, а человек ведь рождается именно для счастья, разве нет?

Свет подхватил Кешу, принял его в себя и поцеловал в сердце. И Кеша испытал такой восторг, что потерял — нет, даже не потерял сознание, а отбросил его как ненужную скорлупу, не способную больше вместить то, чем он стал.

Когда Кеша пришел в себя, эскалатор уже ехал вниз — но он все еще стоял лицом к свету. Буря счастья в душе медленно утихала, и мокрые полосы слез приятно холодили щеки. Три огня наверху мигнули последний раз — нежно-нежно и чуть насмешливо, так же, как глядела на него теперь сестренка, — и погасли.

Кеша не помнил никакого обмена информацией. Вроде бы он ни с кем ничего не обсуждал. Но он знал, как сложится его дальнейшая судьба — и, пока эскалатор вез его вниз (он так и ехал спиной вперед, не решаясь отвернуться), память о том, что открыл ему свет, постепенно прояснялась в его мозгу, как изображение на брошенной в проявитель фотопластинке.

Человечеству нужны были герои. А их в новую эпоху не осталось совсем. Потому что жизнь теперь не слишком требовала героизма. Можно было, конечно, проявить его в мыслях и расшэрить их с любым количеством свидетелей. Но

настоящий физический подвиг — такой, когда человек, как века назад, рисковал жизнью в борьбе с непримиримым врагом — стал практически невозможен.

Именно поэтому случившееся с Кешей было уникально. Общество не могло позволить себе пройти мимо этой истории. Но для того, чтобы она принесла человечеству максимальную пользу, ее следовало чуть модифицировать. Ярче выявить то ценное, что в ней содержалось. Потому что затрахать до смерти парализованного инсультом врага было, может быть, и смешно — но не особенно героично. А вот победить его в рукопашной борьбе, перехватив занесенный нож... Задушить голыми руками... Это было в самый раз.

Три цукербрина только что подарили ему новую судьбу — невозможную, неправдоподобную, незаслуженную: сделаться одной из икон фейстопа. Стать беззаветным героем на службе человечества, к которому будут приходить в минуту сомнений и духовного упадка...

Вот как круто меняется жизнь. Еще вчера он переживал, что у него отнимут толстую Мэрилин и ему не на кого будет натягивать свою тайную мечту. А завтра он сам будет стоять на фейстопе — между Ксю Бабой и Анонимусом, no less.

Кеша понимал, что от такого не отказываются. Он и не собирался. Просто он сомневался в своей способности справиться с настолько сложной миссией. Но цукербрины могли помочь и здесь.

Дело в том, что с такой миссией не мог справиться вообще никто. С ней могла справиться только сама система.

Кеша теперь будет не совсем Кеша.

Вернее, совсем не он. От него потребуется базовое присутствие, повторяющийся

личный росчерк души, так называемый отпечаток эмогенома. Шэрить будут не его случайные мысли и чувства, а специально подготовленный первоклассный контент — такой, который совершенно точно принесет другим пользу. И все остальные иконы человечества, стоящие на фейстопе, работают именно так, это Кеша уже знал. От него не потребуются никаких усилий — только, так сказать, капля ДНА в информационном коктейле, который с сегодняшнего дня станут смешивать лучшие профессионалы мира.

А взамен... Взамен он получит все. Все, о чем он мечтал — и даже то, о чем не смел мечтать. И счастье начнется прямо сейчас.

Эскалатор остановился.

Кеша стоял на дне черной блестящей трубы — на самой первой ступеньке уходящей в бесконечную высь лестницы, только что вернувшей его с небес на землю. Он повернулся, сделал шаг, другой — и оказался на фейстопе. А потом кто-то дернул его за руку, и фейстоп опять пропал.

Он увидел перед собой море и пустой утренний пляж. Солнце играло в мелкой ряби волн, а сам он стоял в тени навеса из пальмовых листьев. Он совсем не удивился, увидев рядом с собой сестричку в коротком белом платье — и это платье уже не было его выдумкой. Она выбрала его сама.

Сестричка шагнула к нему и заняла всю центральную часть его поля зрения. Кеша подумал, что она собирается сделать какое-то новое объявление или открыть еще какую-нибудь тайную икону. Но она шагнула к нему еще ближе, прямо в его персональное пространство, куда не имела доступа ни одна икона фейстопа.

Кроме...

Кроме социального партнера.

Кеша недоверчиво поднял глаза.

— Итс окей, — сказала сестричка и улыбнулась. — Мне уже восемнадцать. Я просто молодо выгляжу — хорошие гены. Я немного шутила с тобой раньше, извини... Мы, женщины, все чуть-чуть язвы. Не потому, что мы злые. Мы слабые.

Кеша испытал невозможное, невероятное облегчение — словно ему ампутировали наконец уродливый горб. Все грязные и грешные аппендиксы его души, которые он так умело наловчился прятать от лучей чужого интереса, вдруг исчезли. Он мог теперь поворачиваться в ярчайшем свете всеобщего внимания как угодно, ничего не боясь. Ему не надо было ничего скрывать. И ничего не надо было скрывать и раньше — никогда. Мешок с черным и позорным мусором лопнул, и выяснилось, что это был просто воздушный шарик. Недоразумение кончилось — и как! Обвинение не было с него снято. Обвинения, оказывается, никогда не существовало.

— Это было жестоко, — сказал Кеша. — Очень.

— Наверно, — слабо улыбнулась сестричка. — Наверно, немного жестоко. Но теперь ты можешь отомстить...

Она сделала неуловимое движение, и платье упало с ее плеч. Кеша без всяких усилий увидел все то, что прежде с такой мукой рисовало его воображение. Реальность была невозможно соблазнительней. И бесконечно бесстыдней.

Сестричка виновато улыбнулась, вынула руку из-за спины и протянула Кеше черную кожаную плеть.

— У меня все очень быстро заживает, — сказала она. — Real fast. Накажи меня.

Накажи, милый, изо всех сил. Мне станет больно, и ты меня простишь. Нам будет легче.

Она шагнула еще ближе к нему, и Кеша почувствовал слабое тепло ее тела. Он сглотнул слюну и посмотрел куда-то в синеву над ее черным пробором — и ему показалось, что оттуда еле заметно мигнули три всевидящих луча. Цукербрины все знали. Скрывать было нечего. Все это не его выбор. Он лишь исполняемый оператор жизни и судьбы. Просто завиток кода.

Исполняемый оператор

Сестричка была права — у нее действительно заживало быстро. Прошел всего час, а следы плети на ее спине и плечах уже пропали. Остались только легкие розовые тени, бледневшие и растворявшиеся постепенно — словно чтобы не оскорбить испепеленный Кешин мозг недоверностью.

Сестричка могла надеть свое платье, не боясь испачкать его кровью, но по-прежнему лежала рядом с Кешей голой, болтая ногами. Видимо, дразнила. Но Кеша не злился — пережив божественное, он стал мудрее и как бы ближе к змию. Он понимал теперь: а что, собственно, еще может делать женщина? Только дразнить, соблазнять и тревожить. Женщина все делает правильно, все и всегда — просто мы, мужчины, слишком быстро устаем... Такая уж у нас физиология.

Слезы на лице сестрички уже высохли, и на него вернулась улыбка. Кеша чувствовал, что простил ее почти наполовину. Ну или на одну треть. Еще несколько искупительных процедур, и он простит ее совсем. Но к этому времени она наверняка успеет провиниться в чем-нибудь еще... Словом, в жизни всегда будет много света и солнца.

На пляже было утро — и никого, никого вокруг. Только солнце, тень, теплый песок, ветерок и плеск воды. Серьезная разница с семейной спальней, выходящей окнами на фейстоп.

Можно было думать о чем угодно, не опасаясь контекстной рекламы, потому что ничего больше не вдували ему в голову... Или теперь ему просто положен поток сознания без контекстных клипов, вдуваемый в голову тем же способом?

Да хоть бы и так. Даже если Караев прав и эти пустые и медленные, полные дрожащей солнечной неги мысли не рождаются сами в голове, а поступают в нее по проводам, КАКАЯ РАЗНИЦА?

Какая мне разница, думал Кеша, в чем природа этой длящейся во мне зыби, этой нежнейшей мозговой щекотки? Главное, чтобы она была сладка, главное, чтобы она не кончалась никогда — даже если ее просто вливают в меня, как зиро-колу в виртуальную бутылку без дна. Лишь бы только вливали и вливали, вливали и вливали — и не останавливались никогда. А за это я сделаю все, чего захочет мир, сделаю бестрепетно и беззаветно. Потому что выбора у меня нет. Его нет ни у кого. И никогда не было. Море, солнце и девочка рядом — их надо заслужить. Ха-ха... Как там было у Ксю Бабы — «в мире нет правды и неправды, есть только поток переживаний, который кончается ничем...» И раз все устроено именно так, лучше, чтобы этот поток был приятным. Когда он кончится, разницы не будет. Но пока он длится, разница есть. И еще какая...

Кеша положил руку сестричке на бедро.

Она покосилась на его ладонь и шлепнула по ней пальцами. Кеша на всякий случай убрал руку. Все-таки он по привычке ее боялся. А привычка — вторая натура.

— О делах, — сказала сестричка. — Сегодня ночью у тебя первый медиа-выход. Он очень важный. Мы все подготовим за тебя, но само твое присутствие необходимо для правдоподобия. Ты не должен выглядеть слишком уж безупречно. Некоторая легкая непредсказуемость, взволнованность и косномыслие даже приветствуются. Ты должен быть живым. Ошибиться серьезно ты не сможешь все равно — тебя поправят.

— Что мне надо делать? — спросил Кеша, опять кладя ладонь сестричке на бедро, в этот раз уже с более серьезными видами.

Сестричка, однако, шлепнула его по пальцам снова, злее и крепче. Кеше даже показалось, будто к прикосновению ее пальцев добавился легкий удар тока.

— Сперва тебе нужно два часа сна, чтобы ты отдохнул и расслабился. Потом тебя подключат к мировой инфосети. Ты будешь присутствовать при открытии памятника.

— Кому? — спросил Кеша.

— Себе, — улыбнулась сестричка. — Самому себе, Ке.

— Памятник мне?

— Тебе, — сказал сестричка, — и твоему подвигу.

Она подняла руку и несколько раз провела в воздухе указательным пальцем, словно рисуя что-то на запотевшем стекле. Никакого стекла между ней и Кешей не было — но там сразу же появилось трехмерное изображение площади Несогласия с большой высоты.

Кеше показалось, что эта площадь — очень сильно увеличенный элемент эластичной мембраны в базовом боксе, одна шестигранная сота под сильным увеличением, и если начать подниматься над площадью выше, появятся такие же площади рядом, а через какое-то время станет видна огромная космическая трэмпэд-мембрана...

— Которая соединяет социальных партнеров по имени Земля и Небо, — договорил вдруг у него в голове хорошо поставленный голос.

Его собственный.

Подсказку включили, подумал Кеша с удивившей его самой обыденностью. Он уже знал, что такое приложение есть у всех звезд, работающих с большими массами спящих. Его только удивило слово «соединяет». Сам бы он сказал «разъединяет». Но именно для этого и нужна была подсказка — удержать от ошибок недостаточно зрелый ум, состав которого шэрится на большую человеческую массу.

Сестричка провела по воздуху пальцем, и земля понеслась навстречу. Площадь Несогласия приблизилась настолько, что стало различимо хрустальное ведро на краю Колодца Истины. Сестричка еле заметным движением руки изменила точку обзора, и Кеша увидел площадь с того места, где обычно стоял, когда забредал сюда в фазе LUCID.

А потом над Колодцем Истины подняли новый памятник.

Это были два нагих бронзовых тела, схватившихся в смертельном поединке. Слева висел мощный и страшный старик в размотавшейся чалме, с треугольным ножом в занесенной руке. Кеша узнал нож — тот самый технический каттер, которым Караев вспорол мембрану. Справа парил его соперник.

С похожим на испуг чувством Кеша опознал в нем себя. Только здесь он выглядел куда привлекательней, чем в персональном зеркальце на крышке бокса. Никакого намордника и памперсов — он был так же героически наг, как противник, и даже более мускулист.

Одной рукой бронзовый Ке перехватывал руку с ножом, а другой душил чудовищного старца. Старец был уже побежден, уже почти мертв: его глаза сощурились, а из открытого рта вылез похожий на ящерицу язык.

Бронзовый Ке был хорош — весь в напряженном порыве, натянутый как струна.

Но особенно скульптору удалась разматывающаяся чалма Караева — она придавала замороженному поединку удивительное правдоподобие, динамизм и экспрессию.

В следующую секунду памятник исчез под серой бесформенной холстиной, полностью скрывшей его очертания.

— Открытие сегодня ночью, — сказала сестричка. — И открывать будешь ты сам... Нужно перерезать ленту и сбросить холст. Ты должен волноваться, но не слишком. Смущаться, но не очень. И, главное, любить всех тех, кого ты защитил — и кто придет на тебя посмотреть. А придут многие. Высший инфореитинг.

— Что я должен буду сделать?

— Сказать речь, — ответила сестричка. — Но на этот счет ты не переживай. Тебя к этому моменту уже отключат. Ты нужен только в начале. Чтобы все почувствовали тебя изнутри... Не стесняйся себя, Кеша. Тебя можно полюбить, правда. А знать все-все людям не обязательно.

Кеша поднял глаза. Сестричка улыбалась. Рубцы на ее коже уже полностью исчезли.

Тем больше места будет для новых.

— Потом, — хихикнула сестричка, заметив его взгляд. — А сейчас спать. Администрирую сорок минут NREM SWS.

Кеша не понимал смысла слов «NREM SWS» — он знал лишь, что это какой-то из подвидов лечебного сна, куда ему положено погрузиться.

Он увидел цифры обратного отсчета — пять, четыре, три...

Перед тем, как провалиться в сон, он успел мысленно заглянуть в свою душу и не увидел там ничего, за что ему было бы стыдно.

Там оставался только свет. Спокойный, уверенный в себе, позитивный и уплативший все налоги свет. Ну и тени, конечно, тоже мелькали на дне сознания — желающий мог дотянуться и до них. Но это были полностью легальные тени. И даже по-своему красивые. Не черные, а просто разноцветные. Здоровые тени. Такие не надо прятать ни от кого, потому что ни один из цветов радуги не мешает другому. Эту душу можно было шэрить широко и безоглядно, хоть на всю планету...

А потом ему начал сниться сон — хотя буква «N», кажется, обещала отсутствие «rapid eye movements», а значит, и видений. Но, может быть, это был один из тех божественных снов, которые не сопровождаются движением глаз и посещают только избранных? Ке до сих пор помнил виденную в детстве передачу, где несколько собравшихся за круглым столом ученых высмеивали слухи о существовании подобного — из чего он уже тогда сделал вывод, что это правда.

Так оно и оказалось. Ничего похожего Ке прежде не снилось. Он стоял на террасе какого-то высокого здания, и вокруг со всех сторон были скалы — грозные серые плоскости, уходящие в косматые облака.

Перед ним был длинный широкий стол вроде тех, на которых военачальники когда-то разворачивали свои карты — чтобы места вокруг хватило всем генералам. Но вместо карты на столе лежали диски из стекла, похожие на огромные леденцы.

Внутри этих дисков разноцветными огнями мерцали странные знаки, напомнившие Кеше следы птичьих лап. Он почти понимал их смысл — письма были связаны с эмоциями. Некоторые из них были хорошо ему знакомы (страх, радость, гнев), но другие не походили ни на что из испытанного им прежде: он словно увидел скрытую часть спектра или услышал инфразвук.

Эти новые эмоции оказались простыми, можно даже сказать, элементарными, но указывали на такой глубокий и чудовищный ум, на такое роковое взаимодействие со Вселенной, что Ке понял: рядом с этим человек — просто бабочка, ни разу в жизни не вылетавшая из пятна света. Это был язык богов, и он был страшен. Боги были богами, ибо могли вместить поистине божественный ужас. Ощувив лишь его тень, Ке понял — такая ноша не для него.

Тут он заметил, что он не один.

С другой стороны стола стояла Птица, очень похожая на барельеф с древней стеллы над его фейстопом. На ней был короткий плащ из странной ткани — серый, но словно бы мерцающий скрытым в складках светом. Сначала Ке подумал, что Птица смотрит в сторону: ее голова была повернута в профиль. А потом он увидел ее глаз.

Этот был тот самый глаз с фрески на дне фонтана — круглый, с огромным черным зрачком. Ке понял, что Птица смотрит именно на него, просто так он ей лучше виден, а другим своим глазом она созерцает нечто незримое ему, с чем соотносит его существование в мире, и этот раздвоенный взгляд — как бы весы, на которых он поднят, и главное для него теперь не оказаться слишком легким.

Птица чего-то ждала. Он опустил глаза и увидел в своей руке лопатку вроде тех, какими крупье передвигают фишки по зеленому сукну. И тут же ему стало ясно: происходящее с ним — очень серьезный экзамен. Ему надо было сделать что-то с этими знаками. Составить из странных символов какую-то последовательность.

Кеша испытал ужас. Он совершенно не представлял, что и как ему следует делать, но Птица все не отводила от него круглого черного глаза. Обмирая, Кеша

поднял руку — и придвинул к себе один символ. Потом, по какому-то странному наитию, другой. Потом третий.

Как только три выбранных им стеклянных шайбы соприкоснулись, раздался звон, сладостно отозвавшийся в его теле, и три диска, загоревшись на миг ярким тройным лучом, растворились в воздухе, оставив после себя микроскопические разноцветные звездочки, мерцающие в пустоте.

У Кеши было такое чувство, что светящиеся шайбы, исчезая, превратились в физическое наслаждение, заполнившее все его существо. Он подтянул к себе три другие шайбы (опять выбрав их непонятно как), соединил их, и они точно так же с шипением исчезли в тройной вспышке света, подарив ему небывалую, ни на что не похожую негу. Кеша понял — и засмеялся. И в ответ ему словно бы засмеялась Птица, качнув несколько раз клювом.

Он прошел экзамен. В тот самый момент, когда понял.

Кто он такой, чтобы выбирать? Не лучше ли оставить это рискованное дело тем, кто действительно на него способен? Ведь у людей, в сущности, нет никаких данных для этого космического спорта... Ему, как и другим, нужно только счастье. И сам он никогда не нашел бы к нему дорогу, если бы не три цукербрина, благородно проявляющие себя в любом его выборе — даже таком, которого он в силу своей насекомой ограниченности никогда не смог бы сделать правильно. Какое счастье, что в нем живет сила, способная помочь... Какое счастье...

Птица шагнула к нему, пройдя прямо сквозь расступившийся стол, и подняла страшную когтистую лапу. Ке испугался — но она просто потрепала его по щеке. Прикосновение было совсем легким, почти нежным. Ке улыбнулся.

Терраса, горы, стол с буквами неизвестного алфавита стали расплываться. Ке понял, что просыпается. Но урок был уже усвоен и понят. Птица коснулась его опять, Ке открыл глаза — и увидел сестричку, глядящую его по щеке ладонью.

Ах, в каком она была виде! На ее ногах алели крохотные туфельки. Две тончайшие кожаные полоски перехватывали ее бедра и грудь, как бы показывая, где полагается быть трусам и бюстгальтеру. На шее чернел высокий ошейник с несколькими рядами золотых шипов. А на голове белела фуражка с эмблемой яхт-клуба. И хоть Кеше не был известен этот яхт-клуб, он не сомневался, что уже состоит его членом.

— Идем, — сказала сестричка. — Я провожу.

Она шагнула к нему, уверенно и весело вторгаясь в его личное пространство — он все никак не мог привыкнуть к этой ее невозможной близости, — взяла за руку и потянула за собой к фонтану.

Через миг они оказались в уже знакомом Кеше черном тоннеле прямого доступа — без всякой промежуточной анимации.

Кеша понял, что это тоже знак его нового ранга: он теперь не пользователь спецэффектов, а их создатель и контролер, высшая каста... Сегодня тоннель вел не вверх, а вперед. Сестричка шла впереди, аппетитно переставляя свои тонкие ноги на высоких алых каблуках. Почему у нее алые туфли?

Ее шпильки звонко цокали о черный пол, и Кеша на секунду испугался, что она поскользнется или подвернет ногу... Может быть, даже сильно подвернет, сломается какая-нибудь косточка — и проткнет кожу... Сахарно-белая кость, загорелая кожа, капельки крови...

Сестричка, не оборачиваясь, отрицательно покачала головой.

— Потом поиграем, котик, — сказала она. — Сначала работа. Администрирую фазу LUCID.

Сверкнул знакомый оранжевый луч, и тьма разъехалась в стороны. Кеша увидел, что стоит в узком коридоре меж двух зеркал. Контрольная рамка на входе в фазу LUCID сейчас не работала — в зеркалах не было света. Они даже не отражали друг друга, хотя по законам физики это полагалось.

Зато одно из зеркал отразило Кешу. Вернее, не Кешу — а нового Ке.

Его лицо было свежим и красивым, с прозрачной юной бородкой, выющейся на подбородке и щеках. На его плечи падали черные кудри, чуть блестящие на невидимом солнце. Синие глаза были задумчивы и грустны, губы над сильным подбородком — округлы и полны неги. Он походил на древнего команданте Че, но на его голове не было берета. Звездочка, остро и гордо глядящая вверх двумя лучами, была вытатуирована прямо на его лбу. А на виске появилась другая татуировка, немного странная — три овечки, точь-в-точь как те, что развлекали его во время разговора с Караевым. Возможно, система нанесла их на Кешино лицо в качестве боевого шрама.

Его ноги обтягивало голубое трико, а с плеч спадал короткий синий плащ героя, закрывающий спину до поясницы. На плаще можно было разглядеть повторяющиеся инициалы «МС» — Meister Che, имя нового защитника человечества, информационное отражение которого не надо дробить на атомы в зеркальном коридоре безопасности...

Темные зеркала исчезли, но Ке уже знал, каким его увидят люди. Теперь

впереди и внизу была Площадь Несогласия. Вся она, насколько хватало глаз, была запружена народом. Над Колодцем Истины парила круглая серая туча — так выглядел скрытый холстом памятник.

— Для них ты появишься прямо из пространства, — сказала сестричка. — Тебе нужно сделать совсем немного. Волнуясь и гордясь, дойти до памятника по дорожке. Гордясь и волнуясь, сдернуть с него холст. До этого момента все шэрится live. Дальше можешь расслабиться, пойдет фанера. Нарезка из того, что ты расшэрил, когда говорил с этим мертвым гадом, интервью с мировыми якорями и все такое прочее. Когда закончишь, я тебя встречу.

— А по какой дорожке идти? — спросил Кеша, озираясь.

Но сестрички уже не было рядом.

Над площадью вдруг нарисовался светлый легкий мост от его ног прямо к зачехленному памятнику. Площадь вздохнула, и Ке почувствовал, что тысячи глаз смотрят в его сторону.

Нет, не тысячи — миллионы. Он понял это, увидев, как, нарушая все законы перспективы, приподнялись края горизонта, образовав огромный вселенский стадион, чашу, наполненную глядящим на него человечеством. Мегатонны внимания повисли на нем почти физическим грузом — но Ке уже знал, что выдержит этот вес.

Он помахал бесконечному людскому морю рукой и, впитывая в себя ответный рев восторга, пошел к мигу бессмертия. Думать следовало правильно и безошибочно — но в то же время непринужденно. Ке даже не ожидал, что это получится у него так легко. Возможно, опять помогла подсказка.

Он вспомнил почему-то факелоносцев прошлого, несших огонь к олимпийским

чашам. И хоть в руке у него не было факела, он чувствовал себя одним из них — вечным героем, несущим пламя подвига сквозь века и эпохи. Но в нем не было ничего особенного. Он не отличался от любого из глядящих на него людей — судьба выбрала его наугад. Каждый мог ощутить его душу, испытать ее всю и понять, что Ке не лучше и не хуже.

Но в этом и было самое главное.

«Человек, — думал Ке, чувствуя, как его бесконечно усиленная мысль ложится в миллионы умов, — обычный человек, со всей своей требухой, сомнениями и недостатками, — прекрасен и велик. Он может стать героем, если позовет судьба. И это самый главный урок, вынесенный мною из случившегося. Кто бы ты ни был, заглянувший в меня неведомый друг, знай — герой не я. Герой — ты...»

Кеша не подозревал, что может выдавать такой гладкий мыслетекст без подготовки. И даже если это был не совсем он, мысль, которую он шэрил с человечеством, не умалялась от этого ничуть. Герой — любой из нас. Сегодня он, Мейстер Ке, восходит на фейстопе ярчайшей новой звездой, но на его месте может быть кто угодно. Во всех нас горит один и тот же огонь — вернее, сразу три равно ярких огня. И если тьма еще живет в чей-то душе — а на каком дне нет тины? — света трех сливающихся друг с другом солнц будет довольно, чтобы когда-нибудь очистить ее всю...

Скрытый под холстом памятник был уже рядом. Ке шел ровно и гордо, но все-таки волновался. С ним даже приключилась легкая галлюцинация — ему показалось, будто по дорожке перед ним пробежало несколько овечек, тех самых, что отвлекали его во время беседы с мертвым террористом. Но когда он повернул к

ним взгляд, никаких овечек там, конечно, не оказалось.

Замедляя шаги, Ке приблизился к серой холщовой горе. Материя скрадывала контуры памятника, но было видно, как тот огромен. И хоть его материальность представлялась весьма сомнительной, стоять рядом было все равно страшновато. Холст, однако, выглядел совершенно реальным и даже не новым, словно его использовали на открытии других парящих памятников — в иных, отмерцавших уже снах.

Откуда-то с холщовых вершин спускалась тонкая витая веревка — Ке знал, что ему следует потянуть за нее, и памятник будет открыт. Он дернул за нее, и холст волнами поплыл вниз. Ке не смотрел на памятник. Он глядел вниз, на бесконечное людское море. Ему махали руками — и бросали в его сторону не долетавшие до его стоп цветы.

Раздался низкий мощный гул, в который слились аплодисменты и рев толпы. Но он как-то очень быстро стих. Прошло несколько секунд тошнотворной тишины. А вслед за этим над человеческим морем разнесся такой же громовой и дружный вздох ужаса.

Ке поднял глаза на памятник.

Вместо двух бронзовых врагов, сплетенных в смертельной схватке, он увидел кастрюлю. Огромную сверкающую кастрюлю — будто из старой комедии про уменьшенных до размеров таракана людей, для которых передвигаемая по столу кухонная утварь превратилась в небоскребы. Кажется, в древности такие обтекаемые цилиндры называли скороварками — он видел их раз или два в исторических программах про террор.

Он понял, что это значит. Поняли все.

Ошибиться было невозможно хотя бы потому, что на боку кастрюли желтел огромный знак радиационной опасности. Рядом прилепилась опутанная проводами коробка с индикаторами, в которых мигали красные цифры. И индикаторы, и цифры были комично огромными — чтобы их видели все.

00:13:88

Два последних знака мелькали с такой скоростью, что различить их было почти невозможно — они сливались в две восьмерки. Но цифры в среднем ряду перещелкивались медленно, словно кто-то огромный неспешно поднимался по лестнице — и вот уже развернулся на площадке, встав на ступени последнего пролета.

00:09:88

Площадь издала протяжный звук, низкий и страшный. Так, наверно, шумело бы штормовое море, если бы его охватил ужас.

Кеша догадывался: с каждым из видящих этот сон происходит сейчас то же самое, что с ним. Он изо всех сил пытался проснуться и все еще надеялся, что, если испугаться очень сильно, это может помочь. Но чем сильнее становился страх, тем плотнее внимание облепляло ядерную скороварку, создавая ее заново, заново, заново — и делая самым реальным предметом в мире.

00:07:88

Слово «проснуться» вообще не имело никакого смысла. Сон, явь — все это были абстракции праздного ума. Реальность же заключалась в неуправляемых переживаниях, дробящих его мозг, распластанный на электронном разделочном столе. «Пробуждение» было просто гипотезой. Предполагавшей, что у происходящего может и должен быть счастливый конец, который обязательно станет началом для чего-то еще.

Раньше, впрочем, оно так всегда и случалось.

00:04:88

Ке понял, что страх его не спасет. И это, похоже, поняло и бесконечное человеческое море, над которым он стоял — шум толпы стал тише и глуше. Надо достойно принять неизбежное, подумал Ке. Он ведь теперь герой... Наверное, следовало скрестить руки и вспомнить что-то самое главное из жизни.

00:02:88

Это была, конечно, вовсе не сестричка.

Это был свет. Теплый и ласковый свет. Ему обещали — свет будет с ним до конца и станет последним, что Ке увидит в жизни. Но где свет сейчас?

Ке подумал, что больше не встретится с ним глазами. А потом вдруг на короткий — и самый последний — миг узнал скрещенные на себе взгляды трех цукербринов.

Но в них теперь не было ни бесконечного знания, ни мудрости, ни любви — а только что-то похожее на недоумение. И если бы Кеше нужно было выразить его в словах, слова звучали бы так:

«Кажется, сейчас исчезнет не только сон, но и тот, кто его видит. Но если его уже не будет, для кого тогда все кончится?

А?»

00:00:00

Часть 5. Киклоп

Слово Киклопа

(маленькая проповедь от 00:00:00 GMT)

К Кешинуому будущему мы еще вернемся — а пока скажу только, что эти шесть нулей он тоже прихватил с собой из нашего времени.

Прямо напротив его стола висел плакат с очень реалистичной трехголовой собакой, адским стражем Кербером, все три головы которого внимательно глядели на сидящих в офисе сотрудников. Выращенные собачьи глаза действительно напоминали обнулившийся красный индикатор.

Трехголовая собака со стены обладала, судя по всему, нешуточной гипнотической силой и умела как следует запоминаться. Я обнаружил еще одно ее отражение в будущем, гораздо более далеко — где она физически ожила и обрела тройственную душу. Но об этом я еще расскажу.

Было поразительно, сколько сувениров помимо шести красных глаз Кеша взял с собой на память. И меня всерьез заинтересовал вопрос: почему так получается, что в будущих жизнях нас преследуют те же самые привычки, те же самые страхи? Те же самые имена (пусть и с другой этимологией)? Те же самые беды?

Сначала я думал, что будущее прорастает из настоящего, как дерево из саженца. Если искривить росток на ранней стадии жизни, выросшее из него дерево тоже окажется кривым, и эта кривизна с каждым годом будет просто нагуливать кольца... Но потом такое объяснение показалось мне неубедительным — ведь никакого

сохраняющегося из жизни в жизнь корня здесь нет и в помине. В лучшем случае есть семена. А из семян кривого дерева вырастут деревья совершенно прямые...

Потом я сообразил, что сама постановка вопроса неверна. Это не «нас» преследуют те же самые имена, привычки и страхи. Это «мы» вновь складываемся из них. Все элементы нашей прежней индивидуальности продолжают сами себя, как это делает любой вирус, бактерия или лишайник.

Новый Ке — живой гипс, залитый в оставшуюся от прежнего Кеша информационную пустоту. Фаза в колебании множества мелких сущностей, когда-то составлявших Кешу прежнего — а теперь Кешу нового. Похожая конфигурация набора привычек, связанных привычкой к сосуществованию. Река, сохранившая ту же самую форму русла. Живущее в прежнем месте стадо обезьян. Не какая-то Кешина сердцевина, хранящаяся во времени (ее нет), а, наоборот, новая комбинация света, тени и отражений, когда-то создававших иллюзию такой сердцевины — и склеившихся в новую обманку.

Так что же перерождается? Понятно, не Кешина душа: она, как разъяснил Гегель, есть только у мира и прусского монарха. Кеша умирает и рождается каждую секунду — где ему воскреснуть через триста лет после смерти, если он даже при жизни не сумел этого сделать ни разу.

Все обезьяны состоят друг из друга. Гены есть не только у наших тел, но и у наших умов. Мы все похожи на тех, кто жил здесь когда-то раньше... Но есть ли смысл говорить, что мы были ими, а они стали нами?

Это настолько смутная область, что все мнения здесь — исключительно вопрос вкуса. Некоторые адепты тибетского буддизма втайне верят, что у каждого ламы есть

своя «чистая земля», куда за ним уйдут ученики. Но на самом деле все проще: любой ум создает свою собственную чистую (или не очень) землю — и уходит именно туда. Ум и есть эта самая «земля». Каучуковый мячик бросают в пол, и он начинает скакать вверх-вниз, вверх-вниз... Все частицы в нем уже сменились, а мячик еще скачет.

Мы просто сумма имен, привычек и страхов. Мы оставляем отпечаток на реальности, пока мы живы, а когда мы умираем, жизнь воспроизводит себя (именно себя, а не нас) по этому отпечатку. Море заполняет след на песке и принимает себя за ногу. Нога делает шаг, опять оставляет ямку в мокром песке, исчезает — и море заполняет ее след...

Мистики говорят правду — мы никогда не были ногой, мы всегда были морем. Но если у нас кривой мизинец и мы не лечимся, то это надолго даже с учетом данного высокодуховного обстоятельства. И пусть мы продолжимся не здесь (нельзя дважды войти в одну реку, а в один мир и подавно) — кривизна мизинца от этого не уменьшится все равно.

Самое грустное, что мы и не пытаемся, так сказать, выпрямить мизинец, полагая, что это никак не повлияет на назначенный нам земной маршрут. И в определенном смысле так оно и есть. К несчастью, мы не понимаем, как, когда и почему мы путешествуем между мирами.

А происходит это тогда, когда мы меняем свои привычки и склонности. Или, вернее, когда мы сознательно стараемся их изменить. Еле заметное, трудноопределимое и непонятно даже в какой момент происходящее усилие — и есть тот космический двигатель, который переносит нас из одной вселенной в

другую.

Дело в том, что на самом деле мы ничего не можем изменить. Старые привычки и состоящая из них личность никуда не исчезают. Все теневые вагоны уже есть, вся кристаллическая решетка возможного заполнена абсолютно — в пустоте, как изящно выразился один монах, нет пустого места. Поэтому, когда мы осознанно меняем что-то в своей жизни, мы преобразуем не себя и свой мир, как предполагали классики марксизма, а просто переходим на другой поезд судьбы, который катит по совсем другой вселенной.

И везет другого пассажира.

Если знать, как прыгать с поезда на поезд, осуществимы радикальнейшие перемены реальности, которые даже не снились всем этим охотникам за бабочками и динозаврами. И такие экстремальные прыгуны в мире действительно есть, вспомним хотя бы Чжуан-цзы. Но здесь существует одна закономерность. Уходя от себя прежних достаточно далеко, мы неизбежно забываем, чем когда-то были — потому что наши вселенные начинают различаться слишком сильно. Это были уже не мы. Прошлые отныне может разве что стучаться в наш сон.

Мы теперь помним только свой новый мир. Память в таких случаях вовсе нас не обманывает. Мы действительно всегда были тем, чем стали миг назад. Как ни странно подобное звучит. Но я уже говорил, что это происходит со вселенной, а не с «нами».

В этом, мне кажется, и состоит счастье. Мы можем оставить нашу память позади вместе со всей ее горькой правдой — и обзавестись новой. Если мы уезжаем от мира кривых пальцев достаточно далеко, мы прибываем в пространство, где наш

мизинец был прямым всегда. С нас как бы снимается судимость — вместе с памятью о подсудимом. Каждый знает, как непредсказуемо наше будущее. Но не каждый знает, что так же непредсказуемо и наше прошлое.

Механизм нашего движения по вселенным — это просто наши ежесекундные выборы: между хорошим и плохим, сочувствием и ненавистью, велосипедом и фейсбуком, желтым и зеленым, голубым и оранжевым и так далее. Делаем ли мы эти выборы сами, или какая-то сила совершает их за нас — но именно благодаря им мы перемещаемся в мультиверсе.

И вот вам совет Киклопа: если вы заметили вокруг себя мир, который совсем вам не нравится, вспомните, что вы сделали, чтобы в него попасть. Может быть, вы даже не военный преступник, а просто слишком часто смотрите френдленту или телевизор. Тогда из всех привычек достаточно изменить только эту.

Я, собственно, не предлагаю никаких экстравагантных методов путешествия из настоящего в будущее. Для желающих есть уйма специальных учений, содержащих самые радикальные трюки и техники. Но я не испытываю к этим технологиям особого доверия — они ненадежны, рискованны и трудны. И они не для всех. Жирный пьяница может прочитать в учебнике акробатики описание арабского сальто, но вряд ли попытка воспользоваться этим тайным мавританским знанием приведет к чему-то, кроме синяков и переломов.

Зато есть одна простая проверенная техника, срабатывающая всегда. Медленный, но самый надежный способ перемещения в счастливые миры описан во всех древних книгах — в той их части, которая посвящена, сорри за банальность, заповедям. Они, в общем, везде одни и те же, эти техники правильной жизни. И

жить по заповедям очень непросто («не лги, не убий, не укради» и так далее ведь относится не только к физическим проявлениям, но и к состояниям ума). Но мы, образованные современные люди, знаем, что заповеди написаны не для нас. Мы — высокоразвитые сущности, живущие по особым правилам для продвинутых.

Ах, если бы.

Сила тяжести одна для всех. И путь тоже один для всех, без всякой выделенной полосы, где особо одаренные существа проезжают со спецсигналом. Таких не любят нигде.

«Не лги, не убий, не укради» — это не мистическая жертва, которой требует от нас Господь в силу своей непостижимой субъективности, и даже не классово и социально обусловленный регулятор фертильности и социального этикета, а просто инструкция по плаванию в вечности. Можно плыть брассом, можно кролем, можно по-собачьи — учений в мире хватает. Но если мы действительно плывем, мы перемещаемся в другие вселенные, причем сразу. Мы не чувствуем и не помним этих переходов, потому что в каждом из новых миров, куда мы прибываем, мы оказываемся просто его составной частью — частью, которая была там всегда. Такой вот парадокс.

Бывает и так — мы делаем что-то дурное, а потом, словно в ответ на это, вдруг меняется весь наш мир. Происходит значительное и очень неприятное событие, бросающее мрачную тень и на нашу жизнь тоже. Причем масштабы этого события, затрагивающего миллионы людей, настолько велики, что мы понимаем — оно никак, ну никак не могло быть вызвано нашим микроскопическим грешком. И тем не менее нас не отпускает уверенность, что мы правильно поняли суть дела — и

вселенная каким-то образом сводит счеты с нами. Людей, говорящих об этом вслух, называют солипсистами, или проще — шизофрениками. Тем не менее интуиция их не обманывает. Причина трансгрессии мироздания именно в них — они просто не видят механизма, перекинувшего их из счастливого мира во вселенную, где раньше все было хорошо, а потом вдруг стало совсем плохо.

Если бы я ощущал в себе задатки проповедника и верил, что людей можно уговорить прыгнуть из плохого мира в хороший, я надел бы маскировочную балаклаву (иначе не будут слушать), залез бы на бронетранспортер и прокричал бы что-то вроде:

— Человек! Не нравится то, что вокруг? Желаете жить среди нормальных людей? Станьте таким, каким хотите видеть других. Только не притворяйтесь на пять минут, не хитрите — а действительно станьте. Миру не останется ничего, кроме как последовать за тобой. Это и есть магия...

Но я, конечно, не полезу ни на какой бронетранспортер. Потому что и без таких проповедей мы все — искушенные и опытные колдуны. С помощью мрачайших ежедневных ритуалов мы переваливаемся из одной похабной вселенной в другую, ожидая очистительной революции, которая сорвет все замки, отопрет все двери и расколется все черепа.

Причем путешествуют не только отдельные умы. Путешествуют целые страны и целые миры — так, во всяком случае, это выглядит для наблюдателя. Об одном таком древнем путешествии я и хочу рассказать (совсем коротко, потому что видел тень этой мистерии буквально краем глаза).

Но начать опять придется издалека.

Остров обезьян

Никто не станет спорить с тем, что человеческие умы живут в дырявых мешках из кожи и мяса. Но наша культура имеет одну странную особенность, к которой мы настолько привыкли, что даже ее не обсуждаем. Лучше всего ее можно объяснить на примере из кинематографа.

Любой современный блокбастер (из тех, что служат одновременно каталогом нижнего белья, школой хороших манер и реестром допустимых политических взглядов) по сути внушает нам, что бегающие по экрану герои лишены всех неприятных проблем, которые влечет за собой животная материальность человеческого тела. Актеры мгновенно переходят от погонь с перестрелками к изысканным ужинам при свечах, они в любой момент готовы к любовной оргии или прыжку с парашютом. Они дерутся как гневные боги, чьи тела становятся от ударов лишь крепче.

А потом газеты сообщают, что кто-то из них трагически погиб во время съемок, поскользнувшись в уборной.

Всем известно, что сверхчеловеческий видеоряд создается из огромного числа дублей, а в промежутках между ними сверхлюди сидят на унитазах, выводят прыщи, лечат экзему и гриппуют. Но зритель, посмотрев на экранные чудеса, все равно кажется себе бесполезным мешком дерьма — и злые языки даже утверждают, что в этом одна из главных задач современного кинематографа.

Но все началось не сегодня и не вчера. Таково одно из главных свойств человеческой культуры. И проявляется оно очень многообразно.

Каждый знает, какво удерживать функционирование и внешний вид собственного тела в рамках «приличного» и «подобающего» — из-за этого возникает добрая половина всех человеческих стрессов. Тело живет своей древней жизнью, его потребности совершенно не синхронизированы с социальной надстройкой, оно потеет, пердит, храпит, кашляет, оправляется и мочится по заведенному миллиард лет назад обычаю. У него другая шкала приоритетов и ценностей, чем у нас. Прыш на носу для него совсем не трагедия, и ему ничего не стоит из-за одной-единственной гнилой виноградины жидко обосраться на торжественном фуршете в честь датского короля. Причем это легко может произойти и с самим датским королем.

С тех пор как люди стали людьми, они живут в культуре, вытесняющей центральное и ежедневное содержание человеческого опыта в темноту клозета. Даже сегодняшний либеральный и просвещенный век поощряет нас выносить оттуда на всеобщее обозрение разве что нашу гомосексуальность — но никак не запущенный геморрой третьей стадии, которым, кстати, страдает куда большее число людей («Партія „Удар“, — сочинил бы Кеша. — Ми розповимо, про що інші мовчать!»).

Эта запредельная вытесненность собственной физиологии особенно сильна в среде профессиональных красавиц (они никогда не какают и не пахнут потом, а только сверкают голубыми льдинками глаз) и среди аристократов (немыслимый позор для Набокова — испортить воздух в гостиной, а один наполеоновский генерал, говорят, вообще умер от разрыва мочевого пузыря).

Но почему мы, зловонные шелудивые обезьяны с постоянно урчащими

животами, выстроили для себя настолько неудобную репрессивную культуру, основанную на полном отрицании своей природы?

Склонные к социальному критиканству люди говорят, что целью было создать рынок депиляторов, дезодорантов и вообще всяких косметических услуг. Это, конечно, звучит антибуржуазно и контркультурно — но думать так означает путать причину и следствие. Попытка сделать себя красивее собственной физической основы и засекретить свою животную физиологию — это именно изначальный фундамент, на котором выстроена цивилизация в знакомой нам форме.

Причина в том, что в бесконечном реестре возможного действительно есть счастливые миры (счастливые не вообще, а только по сравнению с нами), жители которых весьма похожи на нас по внешним формам, — но лишены унижительных особенностей нашего обезьяньего естества. У этих миров другая материальность.

Тело там не старится (во всяком случае так, как наше), пища усваивается иначе, болезни больше похожи на перепады настроения. Их жители даже в самом неприбранном виде красивее нас в полном сценическом гриме. Их войны похожи на схватки наших киногероев. Их любовь действительно состоит из чистого наслаждения, а не из скрытых мук по поводу метеоризмов, молочниц, складок жира и плохой эрекции. Именно эти счастливые измерения тщится изобразить азиатская иконография — и Голливуд.

Один из таких миров был в свое время низвергнут в пространство знакомых нам законов. Вернее, он был просто уничтожен — теми самыми Птицами, что преследуют наш род и сегодня. Но его обитатели, как бы зацепившись за более низкий слой бытия, нашли возможность сохраниться в животных телах и быстро

привели свою культуру к близкому внешнему подобию прежней. От этой древней катастрофы зазмеилось множество новых маршрутов жизни — как если бы пассажиры затонувшего корабля выплыли на остров с обезьянами и, чтобы выжить, стали обезьянами сами, но сохранили свои платья, обычаи и язык, только принялись брить морды и делать косметику из глины.

И с тех пор эти обезьяны делают вид, что они по-прежнему люди — имитируя то, чем были когда-то их предки. Изменить свою животную биологию они, конечно, не могут — на такое нужны миллиарды лет. Но обезьяны научились жить в режиме постоянного маскарада, притворяясь, что имеют другую природу, чем их тела.

Даже простая попытка представить себе, чем была бы наша жизнь без постоянного вытеснения собственного естества способна давать интересные художественные эффекты — взять хотя бы «Скромное обаяние буржуазии» Бунюэля, где участники светского раута со спущенными штанами сидят вокруг стола на стильных унитазах, а кушать отходят в тайные кабинки. Абсурд, в котором мы живем, не уступает этой фантазии — он просто имеет другой знак.

Вот этот древний маскарад и есть наша культура. Занятно, что между островом обезьян и местом, откуда плыл затонувший корабль, регулярно ходят паромы. Каждая из обезьян в порядке личной инициативы может вернуться в те пространства, откуда когда-то был изгнан человеческий род: есть уйма маршрутов, и по ним умы с незапамятных времен путешествуют вверх и вниз.

Но большинству обезьян вовсе не хочется снова стать людьми. Им хочется выглядеть как люди, пока они тусуются на обезьяньем острове.

Увы, дальнейшая судьба обезьяньего острова печальна. Я вижу такие струны

возможного — и их большинство, — в конце которых наш заблудившийся род вытряхивают даже из нынешних мешков с нечистотами (Мейстер Ке находится в начале пути к новому модусу бытия — он все еще настоящая обезьяна, просто мало двигается).

Затем мы падаем еще ниже, намного ниже — в пространство, трудно поддающееся описанию. Если продлить метафору, это нечто вроде мира страдающих растений, которые мимикрируют под замерших обезьян. Это все та же имитация принадлежности к более высокому классу существ: растения изо всех сил делают вид, что они обезьяны, используя порывы ветра для симуляции телесного движения. С помощью множества косметических ухищрений они искусно притворяются, что пердят, потеют и рыгают — и на построение этой дорогостоящей иллюзии уходят почти все их скудные ресурсы.

Многие окажутся там, и искусство мимикрии достигнет высот, по сравнению с которыми померкнет весь земной гламур и индустрия красоты.

В этом мире будет даже свое искусство — пронзительное, горькое, честное, как бы набухшее вопросами «зачем?» и «за что?». И многие великие художники будут веками оттачивать там искусство ветряного жеста.

Верхние прыгуны

Я понимаю, что рискую запутать читателя — но сами Птицы — жертвы такой же древней трагедии. Они на самом деле не птицы. Их тела в обнаженном виде больше напоминают червей или мягких змей. Они совсем крохотные. А птичье оперение, лапы и клювы — это что-то вроде доспеха, который они носят не снимая. Машина, заменяющая им тело.

Когда-то давно они действительно были Птицами, но с ними произошла такая же регрессия, как с нами, только более глубокая. Некоторые из них с помощью особых культов и практик способны возвращаться в мир настоящих Птиц. Но все эти пространства находятся настолько далеко от нас (в смысле объема трансформаций, позволяющих туда попасть) и так непохожи на наш мир, что я больше не могу сказать о Птицах ничего достоверного.

И хватит о мрачном. Поговорив о бездне нижней, полагается упомянуть о бездне верхней. Бездны эти, как легко догадаться, различаются тем, что в нижнюю можно упасть, а вот в верхнюю надо долго и упорно лезть. Никакого морального релятивизма — просто гравитация.

Что происходит с нами, когда поезда судьбы поднимают нас так высоко, как возможно? Сразу признаюсь, что конца этой дороги я не вижу — и совершенно не стыжусь: органы чувств, позволяющие нам адекватно воспринимать дальние области возможного, появляются у нас только через много пролетов ведущей вверх лестницы.

Однако я много раз замечал в нашем мире присутствие визитеров из скрытых от

нас пространств. Мало того, их замечал, наверно, почти любой человек — просто не знал, что именно он чувствует.

В нас иногда сверкает такое, что далеко превосходит наш быт и судьбу. Мы при всем желании не можем запихнуть это в свой дневничок или в социальные медиа, поскольку не знаем, как это выразить и сфотографировать. Каждый, наверно, помнит какое-нибудь удивительное переживание, какое-нибудь редкое и красивое состояние ума и души, которое хотелось разделить с кем-то, способным нас понять. Мы как бы зовем к себе в гости ангелов, говоря им: «Глядите, глядите в меня — разве это не прекрасно?»

И ангелы приходят. А мы, обмирая, догадываемся, что кто-то высокий, намного выше нас, видит и чувствует то же самое, что и мы — словно бы спускаясь на балкон нашей души разделить наш восторг.

У нас много всяких функций в мире. Одна из них — быть наблюдательной площадкой для высших существ. Мы бессознательно призываем их, когда чувствуем, что происходящее того стоит — это как бы вмонтированный в нас маячок, который включается автоматически. А когда нам кажется, что наша жизнь зашла в тупик и нам не хватает нового и яркого, каких-то путешествий, приключений и так далее — это просто указание, что из нас открывается не особо интересный вид и нужно улучшать сервис.

Фейсбук и инстаграм, по сути, есть упрощение и профанация того, о чем я говорю: повесить фотографию своего котега, расшэрить со стадом овечек свое ми-ми-ми... Это как если бы кукла стала играть в куклы, а солдат — в войну. Мы сами и есть инстаграм и фейсбук, мы заповедные рощи, темные аллеи, треки и скоростные

спуски — измерения, куда путешествуют высшие и непостижимые для нас сущности.

Кто они?

Я не знаю, откуда они приходят и уходят. Я никогда их не видел (за одним исключением, о котором расскажу). Скорей всего, у них вообще нет никакой постоянной собственной формы. Но я знаю, как они используют наш опыт.

Представьте себе калейдоскопического человека, своего рода виртуального франкенштейна: у него нет собственного тела, но он как бы берет тела напрокат у людей, когда с теми происходит что-то интересное. Он встречает рассвет в Азии — и на несколько минут он пловец, плывущий прямо в розовый круг восхода. Потом он переносится в китайские горы — и еще на пять минут он старик, собирающий лекарственные травы... Следующие пять минут он проводит в Южной Америке возле лесного костра, в теле принявшего аяхуяску индейца, а вслед за этим переносится в Нью-Йорк, чтобы ощутить эндорфиновый восторг, заливающий брокера, успевшего сбросить акции за десять минут до биржевого краха. Затем он едет по пустыне на верблюде, сжимая автомат и косясь в ослепительное небо — а потом смотрит на бывшего себя через объективы парящего в небе дрона... И так без конца.

Это тоже своего рода искусство, высокая и сложная, но отчасти доступная нашему разумению его форма. Она кажется мне чем-то средним между кино, икебаной и музыкой.

Неведомые существа составляют как бы букеты из разных жизней, которые сочетаются друг с другом по законам, похожим на наши музыкальные правила. Три

индейца на аяхуяске — минорный аккорд, пилот дрона — контрапункт к едущему по пустыне арабу-шахиду, и так далее. Было бы похоже на киномонтаж, но разница в том, что все сознания, сплетенные таким образом в икебану, переживаются в сочетании друг с другом (как это происходит с букетом цветов, на который мы глядим), и вопрос, заданный в одном уме, сразу соотносится с мерцающим в другом сознании ответом — хотя сами вопрос и ответ ничего не знают друг о друге.

Такое соединение невозможного открывает созвучия и смыслы, не видимые, конечно, никому из людей. Но это искусство далеко превосходит нашу способность постижения — и его можно в полном смысле назвать сверхчеловеческим, даже когда в его основе лежит простой человеческий опыт.

Для высших существ мы — ступеньки, по которым они прыгают. Но в известном смысле мы все — такие прыгуны. Как сказал бы Энди Уорхол, каждый будет прыгуном пятнадцать минут. Те пятнадцать минут, которые прыгун будет каждым.

Лестница судьбы уходит ввысь неизмеримо далеко. Там есть этажи, откуда открываются лабиринты прошлого и возможности путешествия по древним умам. И, конечно, вселенная не ограничена людьми и их миром.

Но мы можем не только подниматься в высшие пространства немислимых возможностей и свободы. Мы можем падать оттуда вниз, причем быстро. Однако мы не помним этих падений и взлетов. Мы только видим, как выразился поэт, сны о чем-то большем. Поднимаясь ввысь, мы забываем, что были людьми, а рушась в наше измерение, уже не можем понять, чем были прежде.

Есть, правда, одна сила, которая способна нарушить этот закон — сострадание.

Но эта сила может вообще все.

Надежда

Из моего рассказа может сложиться впечатление, что наш мир движется от плохого к очень плохому, живут в нем какие-то калеки и уродцы — и никакой надежды нет.

Это не так. Я не утверждаю ничего подобного. Для Киклопа «мира» нет вообще — миров много, и населяют их вовсе не уродцы и красавцы. Миры состоят из переживаний, восприятий и состояний ума, способных возникать и исчезать в любом программно совместимом с ними черепе. Нас всех посещают мысли, которые на время делают нас негодяями, и мысли, ненадолго превращающие нас в святых. Все это по большому счету вопрос статистики.

Но среднестатистический мир внутри человеческой головы действительно можно назвать миром страдания. Главная причина заключается в том, что в нашем уме действует «отрицательный закон чайной ложки». Он звучит так — «если к ведру варенья добавить чайную ложку дерьма, получится ведро дерьма». Иными словами, нас гораздо проще сделать несчастными, чем счастливыми.

Но существуют и такие миры, где действует «нейтральный закон чайной ложки» — то есть добавление чайной ложки известной субстанции к ведру варенья не меняет природы содержащегося в ведре варенья (мы не можем понять, как такое возможно, именно из-за того, что в нашем сознании уже действует «отрицательный закон чайной ложки», быстро превращающий любую голову в ведро дерьма).

Есть даже миры «положительного закона чайной ложки» — где добавление чайной ложки варенья к ведру дерьма дает ведро варенья. Чем выше в такой

иерархии мир, тем дальше он от нас — хотя в физическом смысле находиться это измерение может в голове внешне похожего на нас человека, сидящего напротив в метро. Думаю, понятно, что для обитателей счастливых пространств радость и покой так же естественны, как для нас неуверенность и страх.

Подобных людей я видел на земле очень мало. И окружающие обычно принимали их за фриков. Но одно из таких счастливых существ по странному стечению обстоятельств работало в одном офисе с Кешей.

Это была та самая девушка по имени Надя. Я упоминал про нее несколько раз, а теперь расскажу подробнее.

Надя занималась в «Контре» наиболее безопасным в кармическом смысле делом — уборкой, буфетом и разного рода закупками. У нее не было четко оформленных должностных функций (в ведомости ее называли «экспедитором»). С точки зрения эффективного менеджмента без нее вполне можно было бы обойтись. Но она, как ни странно, долгое время не попадала ни под одно из многочисленных сокращений и расформирований.

Ее любили на работе.

Женщины относились к ней нормально, потому что она была не слишком хороша собой и никто не видел в ней соперницу. Мужчины по той же причине не делали ее объектом своих, как говорят пожилые лесбиянки, фаллопатриархальных комплексов.

Но ценили Надю, понятно, не за это.

Я уже говорил, что рабочее пространство, в котором трудился Кеша, было очень уютным.

Дело было не в ультрасовременном дизайне. Дизайн, как часто бывает в Москве, норовил так далеко обогнать эпоху, что в силу простой цикличности культуры начинал воспроизводить прошлое. Получилось некое подобие образцовой фабрики-кухни времен разгрома троцкизма.

Эта огромная комната действительно напоминала декорацию к фантастическому фильму о счастливом будущем человечества, снятому в тридцатые годы — из-за огромного количества растений, превращавших ее в оранжерею. Избыток зелени трансформировал троцкистскую фабрику-кухню в беззаботное и немного сонное пространство: все психические миазмы, выделяемые бурлящими человеческими мозгами, вытягивались этой живой вентиляцией прочь.

«Вентиляцию» устроила Надя — по своей инициативе, в свободное от работы время и наполовину за собственный счет. Ее маленькая квартирка, кстати, была такой же точно крохотной городской оранжереей (кроме нее там жил большой белый какаду, в совершенстве ругавшийся матом).

Дело было не только в самих растениях, но и в их расположении. Надя разместила их таким точным способом, что их зеленые умы как бы смыкались друг с другом, образуя непрерывное поле молчания, под покровом которого так славно отдыхает измученная человеческая душа — как бы затихая, тормозя и понимая понемногу, что в эволюции были допущены серьезные ошибки.

Эта дивная атмосфера и была главным вкладом экспедитора Нади в производственный процесс. Ей прощали несколько невнятную роль в коллективе — и платили небольшую зарплату.

Но удивительнее всего было ее внутреннее состояние. Такого я просто не

ожидал увидеть.

Представьте, что вы приехали в гости в обычный московский дом, позвонили в дверь, эта дверь открылась, вы сделали шаг вперед — и вместо узкого бетонного предбанника вдруг очутились в лесу. Или на берегу озера.

Вот такой же примерно шок испытал и я.

Надя не знала никаких эзотерических секретов. Просто в ней сохранилось какое-то изначальное и забытое людьми спокойствие, веселая и бесстрашная тишина. Мне казалось, что в ее уме практически отсутствуют программы и инсталляции окружающего мира, из которых на сто процентов состояли души ее коллег по офису. Именно поэтому она не бралась за работу сложнее экспедиторской — все остальное требует эмоционального подключения к матрице.

Больше того, заглянув к ней домой, я обнаружил одно интересное и странное, как говорил Пушкин, «сближенье».

На одной лестничной клетке с Надей жил вполне типичный для Москвы мистик — практик тайных тибетских учений. Его преследовали проблемы, обычные для этого круга людей: после неудачной попытки утешить мусоров визуализацией Мангала Ринпоче (что всегда отлично работало с чертями во время диссоциативных трипов, но в обезьяннике почему-то не помогло) он лишился прав за пьяную езду, попал на большие деньги — и с тех пор регулярно обращался к тибетскому оракулу с вопросом, не пора ли защититься. Ответы приходили противоречивые, отчего бедняге приходилось много пить.

В иные свои трезвые минуты он садился в лотос и начинал успокаивать свой ум, как бы нанося себе удары невидимой плетью при любой появляющейся мысли — то

есть каждые две-три секунды. А сидевшая на своей кухне буквально в нескольких метрах Надя без всяких духовных упражнений находилась в той спокойной безмятежности, которой ее сосед так самоотверженно пытался достичь: мысли ее не тревожили, потому что им не за что было в ней зацепиться. Она за ними не нагибалась — в отличие от практика, который сперва нагибался, потом бил себя за это воображаемой плетью, а затем нагибался опять — и пытался таким образом обрести покой.

Надя не подозревала, что кто-то называет подобное «медитацией» — она не делала вообще ничего. А ее сосед как раз пытался это «ничего» делать. Разница была удивительной. На контрасте вполне можно было построить одну из тех живых икебан, о которых я говорил — простую, но выразительную. Может, кто-то это и сделал.

Надя не следила за новостями. Она была, как выражался Гай Фокс, facebook free, и даже не особо представляла идейную направленность «Контры», где работала. Политических взглядов у нее не было совсем: она полагала, что в мире есть пятьдесят оттенков серого, отжимающих друг у друга власть, и ни один из них ей не нравился. В кино она ходила только на сказки. Из музыки в ее квартире чаще всего играли старые французы: Клод Франсуа, Полнарефф и Серж Генсбур мелкобуржуазного периода. Можно было бы называть ее немного инфантильной — и, проведя в ее голову две-три трубы с медийным рассолом, со временем удалось бы сузить ее внутреннее пространство до средних по бизнесу величин.

Но такого почему-то не происходило. В ней словно был внутренний экран, невидимый, но очень прочный — и за него совсем не проникала мировая паутина и

пыль. Никаких усилий для этого она не делала. Она просто не знала, что может быть по-другому.

И еще она до сих пор играла в игры, только не на компьютере. Внешне это было незаметно. Она, например, подкладывала в горшки с растениями крохотных пластиковых зверей — синих, красных, желтых. Для отвода глаз у них имелась серьезная взрослая функция: то ли борьба с плесенью в горшке, то ли подпитка почвы, то ли что-то в этом роде. Но для самой Нади каждая из штампованных зверюшек была маленьким живым существом, а зеленая сень, под которую она их пускала, превращалась в ее сознании в полутьму какого-то нездешнего леса, где и правда обитают такие звери.

Пока коллектив пропитывался трендами и гнал в информационное пространство очередную волну, она даже говорила иногда со своими маленькими разноцветными друзьями. Об этом не знал никто, кроме меня.

В общем, понятно, что мало кто из нормальных девушек захочет на нее походить — во всяком случае, во время активной фазы репродуктивного периода.

Я не мог найти никаких следов этого странного ума в будущем. Его совершенно точно не было в близких узлах времени, где отчетливо присутствовал Кеша и большинство его коллег. И в самых дальних, где я уже почти ничего не мог разобрать, ее тоже не было. А потом я все-таки ее нашел — за пределами всех обычных маршрутов. Я засек ее примерно как астроном замечает вспышку сверхновой, когда никаких других звезд на таком расстоянии различить уже нельзя.

Она стала... Я даже не знал, как это назвать. Великим космическим существом. Ангелом. Любая моя попытка подобрать подходящий термин будет неадекватна —

речь вовсе не идет о чем-то помпезном и возвышенном. Она не поднялась в космической иерархии (не уверен, что такая вообще есть), а так и осталась свободным «экспедитором». Она очень поумнела и повзрослела — не в нашем мрачном смысле, конечно. Но узнать ее было можно.

Я говорил про области мира, скрытые от моего взора, и это была одна из них: я никогда не сумел бы различить исчезающе далекого измерения, если бы не видел сегодняшнюю Надю — его источник и ведущую туда нить.

Ее мир был устроен не так, как наш. В нем сосуществовало много разных пространств, и законы космоса были совсем другими. Путешествовать по нему не составляло труда. Это счастливое измерение походило не на Остров Обезьян, а на ту землю, откуда к нему приплыл потерпевший крушение корабль. Но туда из нашего мира все еще ходили редкие поезда судьбы — и одним из них была сама Надя.

Самое интересное, что у нее тоже осталось ее прежнее имя. Но если у Кеши сохранился лишь его звук, то у Нади — только смысл. Ее опять звали «Надежда». У ее имени не было никакой звуковой основы, поэтому я буду называть ее Spero — от латинского глагола «надеяться» (это слово в шутку использовала она сама).

В ее вселенной не было планет и звезд, отделенных друг от друга огромными расстояниями — во всяком случае, в нашем смысле. Наша «пустота», по которой свет должен подолгу добираться от одного заледеневшего полустанка до другого — это ведь не какая-то самостоятельная сущность, а просто закрытый на нашем пути шлагбаум, запрет на быстрое перемещение из пункта «А» в пункт «Б». Наш физический космос похож на ссылку. А ее далекое измерение представлялось мне как бы бесконечным количеством слоев бытия, перемещаться между которыми

можно было так же просто, как переключать программы в телевизоре. Пространства и материи в нашем смысле там не существовало. Вернее, там была форма, и она могла быть любой. Понятнее объяснить я не могу.

Но я слишком увлекся историей Нади, а сперва мне надо разобраться с прочими нитями моего повествования. Осталось рассказать совсем чуть-чуть: о последних днях перед взрывом — и о том, что случилось потом.

Прощай, «Контра»

Мое служебное зрение могло увидеть муравья на другом конце земли — и догадаться, куда он поползет. Но я не способен был предотвратить нападение Птиц даже тогда, когда оно готовилось под самым моим носом. Прежде, однако, я всегда ощущал перед ним смутную тревогу, своего рода необъяснимую депрессию, которая делала меня вдвойне осторожным — и несколько раз спасала мне жизнь. Но это чувство, увы, не помогло мне перед взрывом.

Возможно, дело было в том, что тоску и депрессию в те дни излучала вся «Contra.ru» — и с такой интенсивностью, что на этом фоне я мог просто не заметить своей сигнальной реакции.

Над офисом, где трудились Кеша и Надя, нависли тучи. Они сгущались уже давно — если бы не взрыв, «Контра» все равно закрылась бы через пару месяцев. Причину понимал даже я, человек очень далекий от информационного бизнеса.

Мир стал холодным и враждебным к бедной «Контре». Поступления от рекламы падали. Троцкисты-собственники резали финансирование, требовали сокращений — и, хоть и не душили свободное слово открыто, не хотели проблем ни с богом, ни с кесарем. Краудфандинга не хватало даже на дауншифтинг. В итоге «Contra» просела ниже собственной ватерлинии: хрупкий баланс между четвертьюкупаемостью и полувлиятельностью нарушился самым неблагоприятным образом.

Коротко и точно итог этого финансово-экзистенциального тупика был выражен в рукописном плакате, несколько дней провисевшем на стене офиса:

БУДЬТЕ РЕАЛИСТАМИ — ИДИТЕ *![\[17\]](#)**

Плакатик разместили между трехглавой собакой с красными глазами и знаменитой фотографией Мэрилин Монро с раздутым ветром платьем. Когда надпись попадалась на глаза экспедитору Наде, она каждый раз думала, что было бы хорошо закрыть ее каким-нибудь высоким цветком, но горшок в этом месте поставить не дадут.

Кеша, глядя на формулу жизни и судьбы, обычно несколько секунд грустил от ее безысходной точности, а потом его взгляд переползал на фотографию Мэрилин, и он в очередной раз испытывал недоумение от мысли, что кто-то мог с удовольствием трахать эту толстую дуру. Затем он обычно поворачивался к монитору — и, убедившись, что за спиной никого нет, принимался подкармливать своих цукербринов. Хорошее и точное слово «подкармливать» — не от «кормить», конечно, а от «карма».

Неприличный плакатик сняла администрация. Вскоре на его месте появилось извещение о вечере Гугина — с фотографией «бегемота апокалипсиса» и словами:

? ГОЛЕМ ИЛЕЛЕЕМ !

Я заметил, кстати — произнеся это странное словосочетание один только раз, потом бывает трудно выковырять его из головы. Мало того, оно постоянно норовит само себя произнести — словно самый настоящий маленький голем, нахально захвативший артикуляционные центры. Гугин, что бы про него ни говорили, был

талантливым заклинателем.

После явления голема ожидался круглый стол с тремя журналистами, известными своей пронзительной гражданской позицией. «Contra» пыталась выжить и примеряла новые роли. Было грустно наблюдать за этой агонией — сайт загибался, как оставшееся без воды растение.

Остальное вы знаете.

Я не пострадал при взрыве — почти. Он произошел точно подо мной, но этажом ниже. Пол выдержал, и меня просто сбросило со стула на пол. На самом деле удар был очень сильным — и я даже потерял на миг сознание от встряски. Мне кажется, что при таких взрывах происходит что-то жуткое и не вполне научное — на миг открывается дверь в адское измерение и высунувшаяся из него лапа проводит своими раскаленными когтями по реальности чужого мира.

В офисе «Контры» погибли почти все.

Официальной версией был теракт на почве ненависти — «Контра», как выяснилось, опубликовала что-то, способное обидеть чувствительных исламских радикалов.

Бату готовился к теракту долго, без всякой связи со всей этой историей. Он жил в съемной квартире недалеко от офиса «Контры» — и при обыске в его грязной каморке нашли кучу ваххабитской литературы. Птицы, видимо, использовали попавшийся им под руку живой снаряд, который оказался разрывным.

Я повторял себе, что в случившемся нет моей вины. Если бы Бату взорвал свою бомбу не в офисе «Контры», а в переполненном вагоне метро, жертв оказалось бы намного больше. Но все равно меня мучило невыносимое чувство, что из-за меня

пострадало столько ни в чем не повинных людей.

Мне было очень жалко их всех, особенно Надю. Сам я остался в живых чудом — во время атаки я глядел на мир изнутри Кешинной головы, и Птицы были уверены, что наводят Бату на меня самого. Но если бы я в это время просто пил чай в своем кабинете, Бату постучал бы в мою дверь.

Прежде Птицы ловили меня наугад — а теперь, похоже, увидели ясно. Это значило, что жить в качестве Киклопа мне осталось недолго. Меня могла сбить любая машина. Первый встречный мог толкнуть меня под поезд метро.

В общем, случилось то, что должно было случиться раньше или позже. Свита уже все знала, и через несколько минут после того, как я пришел в себя, начался ритуал моего, так сказать, извержения из сана. Я не возражал. Наоборот. Это было моим единственным шансом сохранить жизнь.

Я увидел свою восковую копию, сидящую на каменном троне — вернее, догадался, что это она: кукла была закрыта плащаницей. К ней подошли два служителя в скрывающих лица масках (я уже понимал — их носят для того, чтобы Птицы, даже проникнув в сознание Киклопа, не смогли узнать ничего), и сняли плащаницу.

Я вновь увидел странные отклонения от анатомической нормы, украшающие мое тело — глаз на лбу, губы в основании шеи, ухо в точке солнечного сплетения. Они выглядели очень реалистично, и мне, как прежде, было страшно вато смотреть на такого себя.

В руке одного из служителей появилась большая кривая игла с золотой нитью — и он грубыми стежками зашил глаз на моем лбу.

Я ощутил пульсирующую боль в черепе, как бывает иногда в начале мигрени. Несколько мгновений она усиливалась, стала невыносимой — и вдруг прошла.

Моего двойника опять закрыли покровом. Потом куклу сняли с трона, положили на нечто вроде медицинской каталки (не знаю, как называются эти высокие столы на колесах, на которых перевозят больных) и выкатили в коридор.

Я увидел длинную стену с бесконечным числом продолговатых пронумерованных ниш — так мог бы выглядеть блок почтовых ящиков в доме, где живут великаны. Каталку подвезли к одной из ниш, подняли дверцу с цифрой «1156» и переложили моего двойника в темную пустоту. Изнутри дверца была зеркальной, и остальные плоскости ниши — тоже. Не знаю, содержался ли в цифрах какой-нибудь смысл. Вероятнее всего, такой же, как в соседних цифрах «1155» и «1157». Последнее, что я увидел — это как закрылась дверца.

Я уже знал, что произошло. Меня спасли, сделав невидимым для Птиц. Но я и сам больше не мог видеть тех, кого так самонадеянно называл прежде своей Свитой. Я больше не был Киклопом.

Должен сказать, что стена, состоящая из ниш с четырехзначными номерами, сразу как-то перевернула в моем сознании все прежние иерархические представления — я подумал, что торжественная почтительность производимых Свитой ритуалов и процедур сама по себе ничего не значит. Запускаемая в космос обезьяна тоже может некоторое время верить, что стала императором земного шара. Киклопов было много, очень много. Один отработал свое, и где-то в мире на вахту заступил другой.

Где, я не знал — теперь это было от меня скрыто. Про Свиту даже под самой

страшной пыткой я мог бы рассказать только одно: все началось с зеркал, ими и кончилось. И, хоть остатки ясновидения по-прежнему висели на мне тяжким грузом, я уже не мог влиять своей волей на судьбы мира. Я больше не был препятствием для Птиц — и с этого момента стал им не интересен. Они не считали меня своим врагом и не собирались мстить. В них, к счастью, не было ничего человеческого.

Офис «Контры», заваленный цветами и венками, постепенно приводили в порядок. Со стены сняли пробитую осколками Мэрилин, опаленную трехголовую собаку и примкнувшего к ним Ким Чен Ына. Потом увезли разбитые компьютеры, сломанные столы и горшки с Надиными растениями, многие из которых были еще живы — как будто кто-то вырубил лес, где цвела неведомая людям жизнь... Так, оно, в сущности, и обстояло — но, поскольку я уже знал, как причудливо отразится и разрастется этот лес в будущем, я не особо грустил.

Так в чем же заключался смысл моей работы? Зачем надо было охранять мир, где происходят подобные вещи, если других миров бесконечно много и никто, вообще никто, не задерживается здесь надолго? Я не знаю точно. У меня есть только предположения.

Каждую секунду из этого мира отпраляется множество невидимых поездов, каждую секунду умы покидают его и переходят в другие, почти неотличимые поначалу вселенные. В сущности, пока я охранял один из узлов бесконечности, на месте пребывал один я, а все остальные приходили и уходили. Этот мир был просто ступенькой в чужих жизнях.

Но чем дольше эта ступень огромной лестницы оставалась на месте, тем больше возможностей и маршрутов возникало у проходящих здесь существ. Да, мир

погибнет и кончится — и что с того? Любой «Титаник» когда-нибудь тонет, такова его судьба. Главное, чтобы до этой минуты от него успело отойти как можно больше лодок.

Я знал, что моя битва проиграна — в том мире, куда направлялся Кеша. Но зато я выиграл ее там, куда уходила Надя. Правильнее, наверно, говорить об этих измерениях в будущем времени, но я пользуюсь прошедшим, поскольку рассказываю о том, что уже видел.

Я говорил, что Надя стала чем-то вроде ангела. Или стража. Она, как и я, следила за порядком. И среди многочисленных сфер бытия, за которые она отвечала, я различил одну очень близкую к нашему миру по внешнему виду.

Сходство не было случайным — это оказалась своего рода колония оживленных окаменелостей из человеческого прошлого. Целая библиотека форм, воплотившихся в новой среде и как бы ставших из «материи» одушевленным мультфильмом про материю.

Говоря об этом измерении, не надо подбирать уподоблений — здесь все слова значат именно то, что они значат. Внешне это пространство — практически наш мир. Но по своей природе оно больше похоже на анимацию, по которой можно ходить и говорить с героями. Там нет железных необходимостей, делающих наше существование таким невыносимым. И жизнь там, если честно, куда лучше — хотя тоже не без проблем.

Этот мир лично мне кажется довольно странным. Но он есть. Даже если бы я не видел его сам — а я его видел — он существовал бы по той причине, что все, описанное нами хоть раз, обязательно найдется где-нибудь в мультиверсе. Хотя бы

как симуляция в одном из бесконечного числа существующих в ней генераторов виртуальной реальности, которую абсолютно невозможно отличить... и т. д., и т. п. Физики все давно объяснили.

И потом, Надя ведь была странная девушка — стоит ли удивляться, что сквозь нее проросла немного странная вселенная.

Причина, по которой мне хочется рассказать эту историю в конце, проста. Дело в том, что именно в этом далеком проблеске будущего, на самой границе доступного моему зрению, я заметил последнее эхо Кеши и еще нескольких погибших вместе с ним в тот страшный день. Сперва я не мог поверить, что все они снова оказались вместе. Но потом понял, почему.

Часть 6. Dum spero spiro

Ангел Сперо осматривала свой сектор ответственности именно так, как этого требовала должность — ответственно.

Навстречу лучу ее внимания из темной неопределенности выплывали цепочки разноцветных огней — отпечатки событий, дисциплинированно сообщавшие о себе все необходимое. Сообщения были краткими и выражали лишь самую суть происходящего, но Сперо все равно не давала огонькам договорить, переводя свое внимание дальше и дальше. Событий случалось слишком много, и, вникая в каждое, можно было отстать от их потока.

Необходимости слишком уж вникать, впрочем, и не было. Все делалось ясно из сочетаний цветов и связанных с ними смыслов. Желтые и зеленые огни означали спокойствие и радость. Голубые — протяженность во времени, синие — скуку. Фиолетовые — усилие. Багровые, красные и оранжевые — градации опасности и неблагополучия. Их было меньше всего, и даже там, где они появлялись, красные тона смешивались с желтыми или голубыми. Это значило, что дела в разных слоях реальности идут хоть и не без трудностей, но в целом нормально.

В одном только месте мелькнула сплошная цепочка оранжевых огоньков, длинная и тревожная, но нечеткая. Огни выглядели тусклыми. Они расплывались и мигали — это значило, что ничего плохого еще не произошло и какая-то смутная угроза только наплывает из будущего.

Сперо остановила свое внимание на оранжевой полосе и взгляделась в нее, возвращая цветным пятнам их исходный смысл.

Птицы пытались проникнуть в сон к одному алхимику из мира Жидкого Металла и заинтересовать его своими кремниевыми фокусами. Волноваться не стоило — собрать входной портал Птиц в мире Жидкого Металла не получилось бы все равно: кремний там не был полупроводником. Птицы не знали, что у них нет ни одного шанса — и упорно продолжали свою многовековую осаду, погубившую уже столько разных миров. Ну и пусть себе роют подкоп длиною в вечность. Главное, чтобы были при деле и не выдумывали неожиданных подлостей...

Сперо позволила отчету опять стать цепочкой мутных оранжевых огней, и они, уменьшаясь до точек, уплыли в темноту. Все было хорошо. Все и везде.

И вдруг в поле ее внимания ворвалось красное пятно, похожее на длинную кляксу. Оно было режуще-ярким — и напоминало только что пролившуюся кровь.

Которой вполне могло быть в действительности.

Что-то нехорошее стряслось в совсем не подходящем для несчастий месте — в пространстве Эдем. Это было, наверное, самое счастливое и беспечное из всех известных Сперо измерений. Во всяком случае, ее любимое. Там никогда не происходило ничего дурного. Никогда раньше...

Сперо попыталась развернуть красную кляксу в отчет о реальности, но это почему-то не получилось. Видны были только разные аспекты случившегося, не желавшие складываться в одну общую картину.

Мрак.

Угроза для жизни — очень реальная угроза, притаившаяся в этом мраке.

Отчаяние.

Страх смерти.

Пострадавших было несколько, и пока ничего дурного с ними не произошло. Но их ужас выглядел неподдельным и с каждой минутой становился все сильнее.

Медлить было нельзя — ситуация требовала вмешательства, и Сперо стала облачаться в тело, не дожидаясь, пока происходящее окончательно прояснится.

Сначала у нее появилась голова, и в ней локализовались сознание и мысли. Потом туловище, руки и ноги — и она позволила тяжести подхватить себя. Затем возникла одежда — простая белая туника. Золотые сандалии. Легкий посох в руке. Этот посох мог превратиться в оружие, но выглядел вполне мирно.

Сперо проявилась полностью. Она была уже на Эдеме.

Она стояла в своем храме — большой пустой комнате, одна из стен которой служила зеркалом. Напротив зеркала была дверь, и все.

Изнутри ее храмы выглядели одинаково во всех мирах, где их строили. И всюду смысл пустой комнаты с зеркалом объясняли одинаково: надеяться можно лишь на себя. В этой шутке, однако, присутствовала доля шутки — что Сперо и доказала своим воплощением.

В приоткрытую дверь храма падал косой поток солнечного света. Весь храм нужен был для единственного шага в дверь. Но Сперо по рудиментарной женской привычке каждый раз успевала окинуть себя взглядом в зеркале. Такой необходимости не было — воплощаясь, она еще ни разу не ошиблась ни с одной из своих черт. Но обойтись без этого ритуала она не могла.

Отвернувшись от зеркала, Сперо шагнула в луч света.

Храм Надежды — маленькое залитое солнцем здание из белого камня — стоял точно между рекой и лесом. На его стене золотыми буквами был выложен древний

латинский девиз:

DUM SPERO SPIRO

Сперо улыбнулась. На самом деле это латинское изречение звучало иначе — «dum spiro spero» — «пока дышу, надеюсь». Но в измененном порядке слов был свой смысл. О котором здесь знала она одна...

Река неподалеку от храма так и называлась — «Река». А лес назывался просто «Лес». В собственных именах не возникало нужды — других рек и лесов тут не было, попадались только ручьи и заросли кустов.

Эдем был большим островом — но не совсем обычным. Река окружала его со всех сторон. Она не имела ни начала, ни конца. Из свойств обычных рек у нее имелось довольно быстрое течение и внушительная ширина. На ее дальнем берегу смутно синели какие-то горы, но они были видны только в ясные дни, и принимать их слишком всерьез не стоило. Как и саму Реку: она служила просто границей этого мира.

Мимо храма проходила грунтовая дорога — идеально ровная, быстро высыхающая после любого дождя. А за дорогой начинался Лес, куда и направилась Сперо.

Снаружи Лес походил на бесконечно длинный фасад готического собора, протянувшийся от одного горизонта до другого: как если бы китайцы построили свою великую стену из пригнанных друг к другу Нотр-Дамов. Сходство не было случайным — деревья в этом лесу знали человеческую архитектуру назубок и

вполне сознательно, не в точном инженерном смысле, а по-своему, медленно и мечтательно, воспроизводили ее по уговору друг с другом.

Склонив голову в знак приветствия, Сперо шагнула в стрельчатый проход, образованный сросшимися стволами. Всякий раз, когда она входила в Лес, ей казалось, что она попадает в древнее святилище, уже забывшее, каким богам поклонялись в его полумраке.

Лес состоял из множества высоких зеленых залов, образованных переплетающимися стволами и ветвями. Каждый такой зал походил на пузырь священной пустоты с поднятым в головокружительную высь куполом, в самом центре которого ветви расходились, оставляя круглое окно — и между колоннами деревьев возникали своды, откуда лился небесный свет, чуть подкрашенный зеленью листьев и разноцветными пятнами цветов.

Вверху мелькали птицы, доносился их щебет — а внизу, в полумраке, по которому шла Сперо, царил прохладный покой, и голоса птиц не нарушали его, а только подчеркивали.

Все эти огромные зеленые залы были разными — но любой годился для того, чтобы короновать здесь какого-нибудь земного императора. Вот только земные императоры не очень годились для Леса — ни один из них, насколько помнила Сперо, так сюда и не добрался.

Здесь жили совсем другие существа. И было очень странным, что они напоминают о себе таким образом.

Сперо шла прямо к источнику ужаса. Она ощущала как бы порывы холодного ветра, прилетавшие из глубины Леса. Она уже знала, куда надо идти: чужая злая

воля ожидала ее прибытия и задала ей маршрут, которым она должна была проследовать. Путь был обозначен оставленными для нее метками — и скоро она увидела первую из них.

В центре размытого солнечного пятна на лесной поляне стояла табличка — даже целый плакат, сделанный из большого куска сухой коры, лианой прикрученного к воткнутой в землю ветке. На коре белой глиной было выведено:

Ужасное несчастье совершится,
Земля невинной кровью обAGRится!

Буквы были большие и кривые, словно писал ребенок — или маньяк. Или кто-то, кто не слишком привык малевать буквы глиной.

Сперо в сомнении уставилась на оставленный для нее знак. Просто не верилось, что в этом безмятежном лесу может произойти несчастье. Но ощущение угрозы никуда не исчезло. Оно было настоящим.

Она пошла дальше. Следующая вешка была впереди. Сперо чувствовала ее — и скоро увидела.

Теперь знак выглядел гораздо серьезней.

Это была повешенная на низкой ветке дохлая ворона — с табличкой из коры, привязанной к лапе. Надпись гласила:

Мы вовсе не настроены кривляться,
И в игры с нами лучше не играть!

Ворона была старой и сильно объеденной с одной стороны какими-то мелкими челюстями — ее, похоже, просто подобрали в лесу. Но сам выбор метки говорил о многом.

Даже в Эдеме существовала смерть — потому что тот тип жизни, который воспроизводило это пространство, был буквально настоян на ней и уходил в нее корнями. Если разобраться, любой гимн «жизни» был одновременно и гимном смерти... Хорошо, что никто здесь не пел никаких гимнов — и вдумываться в такие вещи не требовалось.

Сперо закрыла глаза и прислушалась к своим чувствам. Теперь она воспринимала происходящее яснее, чем прежде.

Где-то неподалеку несколько юных существ испытывали ужас. Этот ужас был настоящим — они боялись боли и смерти. Подделать подобное не мог бы ни один актер. И такой же реальной выглядела нависшая над ними опасность.

Несчастье действительно могло случиться. Что-то страшное, таящееся во мраке, могло распрямиться и ужалить в любой момент. Сперо не видела больше ничего — только чувствовала пульсирующий в темноте страх. Все действительно было всерьез. Надпись на коре не обманывала.

Сперо пошла дальше.

На следующей поляне ждал еще один знак.

На земле лежали три черепа. Черепа были старые, уже обточенные водой — видимо, их нашли в лесном ручье. Один был, кажется, собачьим или волчьим.

Другой — бараньим, с выгнутыми рогами. Третий, от которого сохранилась только верхняя половина с изумленно вытаращенными глазницами, принадлежал когда-то большой и весьма близкой к человеку обезьяне. Черепа были разложены на подстилке из широких круглых листьев, а перед ними лежал придавленный двумя камнями кусок коры с надписью:

А если мы ответов не получим,
Мы насмерть их безжалостно замучим.

Кто — мы? И кого — их?

Сперо не знала. Но сознания, запертые в темноте и очень боящиеся смерти, были теперь совсем близко. Не надо было сосредотачиваться слишком сильно, чтобы убедиться в этом — тревога пульсировала в воздухе, и ее ярко-красное эхо, отскакивая от ушедших в созерцание деревьев, долетало со всех сторон.

Сперо чувствовала, что маршрут устрашения, подготовленный для нее неизвестными, подошел к концу. Метка на следующей поляне была последней.

Эта поляна заметно отличалась от прежних. По всему ее периметру росли густые кусты, так что получился своего рода тупик — выйти назад в Лес можно было только через арку входа.

Поляна походила на большой зеленый амфитеатр с пятнами рассеянного солнечного света в центре. Но зрители (а они здесь точно присутствовали) не сидели на скамьях, а прятались в кустах и ветвях. Они видели Сперо, а она их нет.

В центре поляны из кусков коры и веток было собрано что-то вроде маленькой

трибуны — пародия на один из тех элегантных лектернов, с которых президенты и короли обращаются к собравшимся перед ними журналистам. Сперо решила, что ей, видимо, следует подойти к этой кривой трибуне и встать за нее. Когда она приблизилась, ее догадка подтвердилась: перед лектерном лежало еще одно послание на куске коры, прижатом к земле двумя камнями.

Отсюда будешь с нами говорить.
И не пытайся нас перехитрить.

Сперо на миг закрыла глаза.

Она давно чувствовала жутковатый диссонанс между юмористическими посланиями, которые оставляли ей неизвестные злоумышленники, и висящим в воздухе ужасом. Она решила бы, что с ней играют какие-то шутники — но ужас был настоящим и за последние несколько минут только усилился. Кому-то было совсем не до шуток. И на фоне этой предсмертной тоски рифмованные надписи на коре казались уже не шуткой, а письмами какого-то особенно изощренного маньяка, от которого можно ждать чего угодно.

Подойдя к сделанному из коры лектерну, Сперо остановилась и оглядела зеленую сферу вокруг.

В луче света перед ней появилась крохотная птица с длинным изогнутым клювом. Ее крылья работали с такой скоростью, что их не было видно. Секунду она неподвижно висела в воздухе, а потом, издав лихой писк, унеслась вверх по солнечному лучу — туда, где в головокружительной высоте краснели, синели и

желтели полные нектара цветы.

Больше никого Сперо перед собой не видела. Но она чувствовала, что из-за ветвей и листьев за ней следит множество глаз. Видимо, начать разговор следовало ей.

— Здесь есть кто-нибудь, кто умеет говорить? Я хотела бы понять, что происходит.

Прошло несколько секунд тишины. А потом вдруг раздался шорох листвы. Из стены зеленых листьев вынырнул белый шар с пляшущим над ним языком огня — и полетел к Сперо. Она ждала ответа, но все произошло так неожиданно, что она вздрогнула.

Это был не шар, как ей показалось в первый момент, а большая белая птица с красным хохолком. Она подлетела ближе и уселась на длинную голую ветку, висевшую над поляной прямо перед Сперо.

Сперо прищурилась и усмехнулась. Прошла только секунда, а она уже знала про эту белую птицу почти все.

Перед ней был один из ее собственных питомцев, *умных зверей*, которые подрастали в Лесу, дожидаясь отправки в мемориальные пространства, связанные с давно исчезнувшей Землей. Здесь жили очень необычные существа. Поэтому ожидать от них можно было чего угодно.

На ветке сидел музыкальный какаду Серж. Его тело было снежно-белым, а красный хохол на голове походил на оперение римского шлема. На груди у него краснело маленькое пятнышко — в точности розетка Почетного легиона.

Удивительного в таком наряде было мало. Серж специализировался на

старинном французском шансоне, и хохол на его голове был гипноизлучателем, позволявшим ему принимать множество разных форм — от Эдит Пиаф до Полнареффа. Серж был великим певцом — и, как и все гении, капризным и нервным существом.

— Меня зовут Серж, — сказал Серж. — Я уполномочен вести переговоры. А кто ты, женщина с палкой?

Сперо даже немного обиделась.

— Меня зовут Сперо, — ответила она. — А тебе я прихожусь чем-то вроде мамы, Серж.

— Сперо? — нахмурился Серж. — Никогда не слышал про такую маму. Что значит это слово?

— На одном из земных языков оно означает «надежда». И это именно то, чем мне нравится быть. Но если произнести слово чуть иначе, то на другом языке оно означает «копье»...

И Сперо приподняла свой посох.

— Вот только не надо нас пугать, — сказал Серж, поворачиваясь к ней своим горбоносым профилем. — При необходимости мой клюв перекусит твою зубочистку без всякого труда. Лучше не доводи до этого дело, женщина с палкой.

Серж, кстати, не так уж и преувеличивал. Вряд ли он перекусил бы копье — но палец мог точно.

— Хорошо, маэстро, — сказала Сперо вежливо. — А могу я спросить, кто именно уполномочил вас вести переговоры?

— Группа сердец, оскорбленных произволом судьбы, — ответил Серж, все так

же глядя на Сперо одним глазом. — И я, чтобы ты знала, из их числа.

— Вот как, — сказала Сперо задумчиво. — Оскорбленных произволом судьбы...

Серж значительно кивнул.

— И мы сумеем завершить начатое. Ты ведь чувствуешь разлившийся в воздухе ужас?

— Именно поэтому я здесь, — ответила Сперо.

— Мы знаем, что у менеджмента острый нюх на такие вещи, — сказал Серж. — Другого способа быть услышанными у нас просто не было.

— Что вы натворили? — спросила Сперо.

— Ага, — сказал Серж довольно, — ты чувствуешь, но не видишь! Иначе ты давно бы уже...

Он умолк на полуслове, словно испугавшись, что чуть не выболтал лишнее. Его гребень нервно поднялся над головой, и Сперо вдруг почудилось, будто Серж раздулся, оброс черным смокингом с бабочкой, его крылья стали руками — и в одной из них появился микрофон с проводом. Но это наваждение сразу прошло. Сперо ждала, что Серж продолжит, но он молчал — видимо, ему удалось сильно напугать самого себя. Он несколько раз моргнул и повернулся к Сперо другим глазом.

— Ты уполномочен вести переговоры, — сказала Сперо терпеливо. — Так води же их. Что вы сделали?

— Мы взяли заложников! — ответил Серж. — Это их ужас привел тебя сюда. Не пытайся узнать, где они спрятаны и кто они, иначе они погибнут! И еще — ты

должна знать, что они умрут, если наши требования не будут выполнены!

Серж определенно нервничал. Он чувствовал — его вовлекли во что-то нехорошее. И ему явно не нравились слова, которые заставляла его произносить взятая на себя роль. Но пути назад уже не было.

— Требования? — переспросила Сперо. — А чьи, собственно, требования? Кто входит в группу оскорбленных сердец? Или это тоже тайна?

— Нет, — ответил Серж. — Это не тайна. Мы знаем, женщина с палкой, что не сможем долго скрываться от тебя. Соратники, выходите!

Соратники наконец показались из кустов.

Первой на поляну выскочила огромная собака с тремя головами. Она походила на гигантскую лайку-хаски (эта порода так и называлась — «архаска») — и выглядела бодро и самоуверенно, словно для собаки не было ничего естественнее, чем иметь три головы. На ее левой шее был белый ошейник, на правой — синий, а на центральной — черный. Левая и средняя головы внимательно глядели на Сперо, а правая была задрана к небу.

Сперо улыбнулась.

Это была сука Агенда, которой скоро предстояло отправиться на Качели — веселое психоделическое пространство с гравитационными аномалиями, где шла постоянная революция, похожая на карнавал, или карнавал, похожий на революцию. У Качелей было три луны: Свобода, Справедливость и Равенство, которые проходили над этим миром по очереди, и вызывали разнонаправленные приливы, а также счастливое — и такое же разнонаправленное — помутнение в головах.

Местные жители называли эти луны «белой», «черной» и «синей» — по типу

вызываемого ими опьянения. Каждая из них как бы снимала сознание с похмелья, вызванного предыдущей фазой, поэтому пространство и называли Качелями. Местные жители уверяли, что с такими лунами им не надо колотиться и курить, но вещества на Качелях тоже имели хождение.

Этот беспокойный, но очень популярный мир был застроен замысловатыми баррикадами, где были спрятаны курильни, кофейни, любовные притоны и прочие заведения. В зависимости от лунных фаз, один месяц Качели боролись сами с собой за свободу, следующий — за справедливость, а потом за равенство, потому что все эти понятия были важными, но по большому счету взаимоисключающими, а общественное настроение зависело исключительно от смены лун.

На Качелях жили трехголовые собаки — такие, как Агенда. Когда луны действовали в полную силу, одна голова начинала выть на господствующую луну, а две другие, брызжа слюной, принимались укорять окружающих в том, что те не подвывают, предавая тем самым все свободное (справедливое, или равное). Агенда кусалась, но не сильно — чтобы она могла развлекать все возрастные группы, зубов у нее не было. Пола у нее не было тоже, и сукой ее называли условно, из-за заметного отсутствия мужского начала. Говорящие трехголовые собаки считались одним из самых популярных аттракционов на Качелях — на них приходили посмотреть специально, особенно в момент смены лунных фаз. Курить марихуану перед этим не разрешалось, потому что пароксизмы смеха могли стать опасными для здоровья.

Агенда была сложным существом, с рождения настроенным на луны своего будущего мира — и в ее разноцветные ошейники были вшиты магнитные

компенсаторы. Сейчас они работали в треть силы, просто чтобы Агенда не сошла с ума. В таком режиме она не выла и не укоряла. Но две ее головы глядели на Сперо с глубоким недоверием, а третья — косилась в небо и иногда все-таки тонко-тонко подскуливала. Судя по цвету ошейника, в данный момент Агенда была озабочена равенством.

— Здравствуй, Агенда, — сказала Сперо. — Приветствую тебя как равная равную... То есть, простите, равных.

Агенда с достоинством кивнула свободными от революционной работы головами, но не ответила ничего.

— Кто следующий?

Затрещали ветки, и на поляну выполз, как показалось Сперо, большущий влажный танк без башни. Это был лиловый гиппо с непропорционально большими надбровьями, из-под которых глядели умные, добрые и полные боли глаза. Они были очень большими и выразительными — и излучали столько сложных противоречивых чувств, что походили на два телевизора, передающих мелодрамы.

Гуго. Самое, кажется, распространенное у гиппопотамов имя, подумала Сперо, а почему? Непонятно.

Про Гуго она тоже все знала. Он скоро улетал на Утренник — пространство, предназначенное исключительно для детей. Как и все звери на Утреннике, Гуго был весьма полезным существом, чем-то вроде учителя. Его выращивали для нового аквапарка, где он должен был плавать, обучая детей стихосложению. По этой причине он мог говорить только стихами — и они лились из него так же легко и естественно, как вой из Агенды.

— Как поживаешь, толстый Гуго? — спросила Сперо, стараясь говорить ритмично, чтобы Гуго мог поймать размер и ответить, как ему предстояло отвечать детям в аквапарке.

— Привет-привет, не жизнь, а мука, — бархатным баритоном откликнулся Гуго, и в его огромных влажных глазах-телевизорах промелькнула невыразимая печаль.

Сперо тотчас пожалела, что назвала его толстым, хотя была уверена — для гиппопотама в этом ничего обидного нет.

Теперь она знала, кто написал записки на коре. Вернее, сочинил. А вот написать их своими похожими на тумбы конечностями Гуго как раз и не смог бы. Какаду Серж тоже не очень подходил для такой роли — его клюв годился разве что разгрызать орехи. Значит, это сделал кто-то другой...

И он, похоже, уже выползал на поляну.

Сказать про него «выполз» было нельзя — процесс так и не дошел до конца. Постепенно затухая, он прекратился примерно на середине.

Сперо увидела толстую и чрезвычайно длинную змею, в которой было что-то военное: шестигранные чешуйки ее кожи казались ультрапрочной броней, покрытой маскировочными узорами. По какой-то давней привычке змея носила пустынный камуфляж. Половина ее тела осталась в кустах — видимо, для того, чтобы змея могла скрыться в них одним резким движением, если дела на поляне пойдут не слишком хорошо. Просто воплощение зла.

Сперо нахмурилась.

Это было существо из несколько другого цикла существования — его присутствие в Лесу казалось странным и даже неуместным. Но она тут же поняла,

кто перед ней, и вздохнула.

Гипнопитон Бату не случайно показался Сперо воплощением зла — он им и являлся. Причем это было зло с долгой и замысловатой предысторией, словно бутылка выдержанного вина, много раз переходившая из одной коллекции в другую. Присутствие Бату в Лесу объяснялось просто — его готовили для пространства возмездия, где все охотились на всех. Будущая работа Бату заключалась в том, чтобы делать тамошних жителей максимально несчастными. Ему следовало знать, как выглядят счастливые миры, чтобы терзать их описанием обитателей преисподней. Это было самое жуткое из известных Сперо измерений — будь ее воля, она вообще исключила бы его из области доступного. Но его очень ценили великие воины — они оттачивали там навыки экстремальной охоты. Бату вполне мог стать их жертвой.

Он рос в Лесу, потому что тоже относился к числу умных зверей. Но это был ум особого свойства, не похожий на тот, которым обладали Гуго или Серж. Возможно, Бату чем-то походил на Агенду — какой та могла бы стать, если бы три ее головы слились в одну, прониклись влиянием особо мрачной луны, перестали выть и занялись делом. Но пока что детство Бату еще не кончилось. Его страшный дух дремал, и он мог жить в Эдеме — все знали, что здесь тоже должны быть свои змеи.

Бату был коварен с младенчества. Он умел создавать западни и затаскивать в них жертв. Он и сам, собственно, был одной длинной западней. И кое-кто на поляне уже в нее попал, догадалась Сперо.

Тело Бату так и оставалось в кустах, но недалеко от его головы из листьев высунулся кончик хвоста, словно Бату делал вид, что их двое (охотника, кстати, он мог бы без труда в этом убедить). Сперо увидела на кончике его хвоста вымазанную

глиной кисточку — эта анатомическая деталь позволяла Бату замечать следы.

Теперь все стало ясно. Ну или почти все...

— Зачем? — спросила она, глядя Бату в глаза.

— А почему ты со мной не поздоровалась, женщина с палкой? — спросил Бату глухим тихим голосом. — Может, ты не хочешь, чтобы я здоровствовал? Тогда не проси у меня яблок, хо-хо...

— У тебя нет никаких яблок, — сказала Сперо. — У тебя есть только черные мысли, Бату. Из-за них твоя шкура скоро пойдет на абажур какого-нибудь очень похожего на тебя любителя охоты.

— Может быть, мы сами успеем кого-нибудь пустить на абажур, — сказал Бату.

— Угу, — вздохнула Сперо. — Я вижу, ты уже начал. Что ты делаешь в этом секторе Леса? Ты охотишься?

— Нет, — сказал Бату, тщательно выбирая слова. — Нет, я не охочусь. Я провожу время со своими друзьями. У меня ведь могут быть друзья, пока мою кожу еще не пустили на абажур?

Сперо посмотрела ему в глаза, и Бату наморщился, словно от боли.

— У меня должна быть возможность защищать свой ум, — сказал он. — Иначе выходит просто подло. Абажуры достаются вам слишком дешево... В этом нет никакого свершения, никакой красоты...

Серж, Гуго и Агенда слушали разговор с напряженным недоумением — они, похоже, не понимали, о каких абажурах речь.

Сперо повернулась к ним.

— Я уже знаю, что здесь произошло, — сказала она. — Знаю все или почти все.

Сейчас я вам это расскажу, а если я ошибусь, вы меня поправите. Остальное вы объясните сами. Только не врать и не юлить. Хорошо?

Она посмотрела на Гуго.

— Мы никогда не врем и не юлим, — с достоинством ответил тот. — Всю правду без утайки говорим.

— Отлично, — кивнула Сперо. — Итак, у нашего друга Гуго начался экзистенциальный кризис. Он перестал понимать, зачем он живет и как ему жить дальше. Ему стало казаться, что его жизнь — жестокая и бессмысленная шутка. Наслушавшись его горьких стихов, то же почувствовал Серж и даже временно свободные от революционной работы головы Агенды. И никто в Лесу не смог вас переубедить. Так?

— Так, — подтвердил Серж.

— Потом из леса приполз Бату. Он объяснил вам одну вещь, которую знает, как профессиональный охотник. Система надзора за этим миром контролирует не пространственные границы и не материальные события. Она следит за всплесками эмоций, замечая в первую очередь страдание и боль. Поэтому, сказал ваш друг Бату, если вы хотите, чтобы высшие небесные власти обратили на вас внимание, выслушали вас и выполнили ваши требования, вы должны создать фонтан сильного страха. Это будет, сказал он, как дым костра, видный из крепости на горе. Верно?

— Верно, — ответил Серж. — Он сказал, что великие древние владыки делали так во все времена, и тогда боги спускались к ним поговорить. Но он обещал, что в нашем случае это будет дым без огня. Страх будет просто страхом. В нем не будет боли... И мы не совершим никакого преступления.

Сперо кивнула.

— Бату умен, — сказала она. — Он знает, как строить ловушки и избегать ответственности. Он сумел убедить нескольких золоторунных овечек, влюбленных в Гуго за его стишки, стать приманкой. Он предупредил их, что им придется испытать сильный страх, и они согласились на это ради Гуго. Тогда он запер их в пещере и велел не шевелиться. Потому что, сказал он, в пещере живет гадюка, которая действительно может укусить...

— Он говорил, гадюки не будет, — ответила одна из голов Агенды. — Их надо было просто напугать...

— Я знаю, — сказала Сперо. — В пещере живет уж. Но овечки думают, что там гадюка. Этот уж то и дело проползает мимо овечек, а их трясет от страха, когда они слышат шуршание в сухой траве... Ужу не хочется никого пугать, ему самому жутко. Он не понимает, в чем дело, и просто мечется по своей пещере от страха. И вместе они создают такой выброс ужаса, что его невозможно не заметить издалека. Мне непонятно другое...

Она обвела зверей глазами.

— Почему вы это сделали?

— Мы все несчастны, — сказал Серж. — И я, и Агенда, и Гуго. У Бату та же проблема. У нас возник вопрос о цели нашего существования. На такой вопрос может ответить только Бог. Все знают, что он где-то здесь, совсем рядом — потому что это Эдем. Но мы не знаем, как обратить на себя его внимание. Бату утверждал, что взять заложников — единственный способ. И он, похоже, был прав.

— Почему ты так думаешь?

— Ангел нас уже заметил, — сказала одна из голов Агенды. — А раньше нас не замечал никто вообще. Если ты захочешь, Сперо, нас заметит и Бог. Может быть, нас самих он не услышит, мы для него слишком мелки. Но вот собственного ангела он заметит точно. И если ты захочешь, он ответит на наш вопрос.

— Я не могу давать указания Богу, — сказала Сперо.

— Но ты можешь ему помолиться, — ответил Бату. — От чистого сердца. На твою молитву он откликнется обязательно. А если нет, это будет значить, что он отвернулся от Эдема.

— Ты хорошо соображаешь, — сказала Сперо. — И очень осведомлен. Но Бог не отвечает тем, кто совершает зло, даже если они молятся. И не показывается им.

— Никто не совершил зла, — ответил Бату. — Нет состава преступления, ангел.

— Страх — это зло.

— Но это зло само совершило себя, — сказал Бату. — Не мы.

— Угу, — кивнула Сперо. — А ты, Бату, просто в очередной раз невинно обслуживаешь этот процесс. У тебя большой опыт, я знаю...

— Ты помолишься за нас? — спросил Серж. — Ты-то в любом случае ничего дурного не сделала, женщина с палкой. Тебе можно.

Сперо чуть подумала.

— Хорошо, — сказала она. — Но сначала Бату должен выпустить заложников. Никакая молитва не будет услышана, если она будет исходить из этого фонтана страха.

Звери повернулись к Бату. Тот смешно кивнул и исчез в кустах. Прошло несколько минут тишины.

— Это рядом, — сказал Серж. — Он быстро.

— Я знаю, — ответила Сперо. — И о чем мне молиться?

— Пусть Бог покажет, что он действительно есть, — сказала левая голова Агенды.

— И ответит Гуго на его вопрос, — добавила центральная.

— Какой вопрос? — спросила Сперо.

— Гуго сам его задаст.

Сперо почувствовала, что разлитый в воздухе страх исчезает — ступеньками, будто его выключали в несколько поворотов невидимой ручки. Видимо, Бату по очереди выпускал овечек из пещеры, и, выходя на свет, они переставали бояться. Удивительно все-таки простые и здоровые существа.

— Хорошо, — сказала Сперо. — Я попробую.

Она закрыла глаза, подняла лицо к небу и, стараясь не улыбаться, беззвучно сказала пульсирующему в ее голове синему свету:

«А почему бы не сделать как они просят?»

Еще не успев открыть глаза, Сперо услышала трехголовый вой Агенды — можно было подумать, что на небо одновременно выскочили все луны ее будущего мира. Тревожно заклекотал Серж. Даже Гуго, забыв про свою экзистенциальную скорбь, издал испуганное и совершенно не зарифмованное мычание.

Земля под ногами вдруг словно превратилась в палубу попавшего в шторм корабля — тяжело накренилась сначала вправо, потом влево. А затем над стоящими на поляне разверзлись небеса.

На самом деле вверху ничего не произошло. Просто всем показалось, что небо

стало прозрачным — и откуда-то издалека, с неизмеримо высокой заоблачной горы, на поляну кто-то поглядел. Луч внимания был направлен на собравшихся только один миг — но за это время каждый успел вспомнить про себя и самое хорошее, и самое плохое.

А потом все заметили, что на поляне стало гораздо светлее. Оказалось, Лес впереди расступился. В широкой просеке появилась окружающая его дорога — и, сразу за ней, синяя лента Реки. Дорога была далеко, но каким-то образом ее стало очень хорошо видно, словно воздух впереди сгустился в линзу. На дороге не было заметно никакого движения. Но стоящие на поляне ощутили, что там кто-то есть.

— Задавай свой вопрос, Гуго, — сказала Сперо. — И побыстрее.

Гуго зажмурился и помотал своей большой головой, как бы пытаясь собрать раскатившиеся по черепу шарики. Это, похоже, удалось. Открыв глаза, он решительно прошествовал вперед и встал в таком месте, где между ним и появившейся в просвете Леса дорогой не было никого. Несколько секунд он влажно глядел вдаль — и Сперо заметила большую слезу, скатившуюся по его лиловой коже.

Потом он открыл пасть и трубно прокричал:

— Скажи, бессмертный Элохим,
Зачем я с толстыми ногами
И говорю только стихами?
За что создал меня таким?

Вопрос прозвучал настолько громко, что его невозможно было пропустить

мимо ушей — и непостижимое Присутствие явно услышало.

Что-то произошло. Участок дороги впереди стал еще ближе, словно невидимая воздушная линза изменила свою кривизну. Затем стоящие на поляне слышали тихий звон.

Он возник далеко и постепенно приближался, будто кто-то подходил к поляне, потряхивая мешком с монетами. Скоро звон стал отчетливым и громким, и стоящие на поляне звери ощутили волну священного ужаса — стало ясно, что источник звука вот-вот покажется на глаза.

А потом он действительно появился.

По дороге шел пожилой седобородый толстяк в странном белом наряде, отдаленно напоминавшем тогу — но еще сильнее похожем на обычную простыню, в которую неизвестный завернулся без особых хитростей. На его голове было что-то вроде золотой царской короны, но ее лепестки дрожали от ветра, и сразу делалось ясно: если это и правда корона, то совсем облегченная, из фольги — чтобы носить на жаре. В руке толстяка был обруч с бубенцами, в который он ударял при каждом шаге.

Следом за ним шли две крохотные чумазые девочки в грязных белых платьях — они приплясывали и со сноровкой опытных гимнасток делали иногда то сальто, то колесо, то еще какой-нибудь замысловатый финт, проходясь по дороге ладонями и гимнастическими туфлями, тоже белыми и грязными. Сзади за ними катились два металлических обруча, и, когда девочки отставали от звенящего бубенцами толстяка, обручи тоже немного тормозили — а после разгонялись опять.

Толстяк так и не посмотрел в сторону Гуго — дойдя до кромки леса, он исчез за

ней. Потом за кромкой скрылась первая девочка. А вторая, обернувшись к поляне, сделала что-то рукой, в ее пальцах блеснуло маленькое круглое зеркало, и стоящих на поляне вдруг ослепило ярчайшим лучом — и оглушило золотым солнечным звоном, от которого все мысли разлетелись в мелкие счастливые дребезги.

Когда стоящие на поляне пришли в себя, просвета впереди уже не было. Лес опять сомкнулся со всех сторон, и все вокруг стало как прежде.

А потом из кустов раздался голос гипнопитона Бату:

— Я все сделал! Я их выпустил! Но они не хотят сюда идти, теперь им страшно, что их накажут... Ты можешь начинать молиться, Сперо...

Но по тишине над поляной он понял, что здесь что-то произошло — и умолк.

Потом тишину нарушил Серж.

— Что это было, Сперо?

Сперо пожала плечами.

— Наверно, ответ на вопрос Гуго. Гуго, ты понял, что тебе ответили?

— Я понял, но уже теряю нить, — отозвался Гуго. — Ты не могла бы снова объяснить?

Сперо кивнула.

— Мне трудно говорить с полной уверенностью, — сказала она, — поскольку это был ответ не на мой вопрос, а на твой. Но я думаю, общий смысл в том... Как бы это выразить... В том, что все в мире ходит по своим маршрутам и выполняет свою функцию. После того, как мир создан, Бог может появляться в нем только как один из его гостей. А все гости живут по одним и тем же законам, Гуго. И у всех есть проблемы. Видишь, Бог тоже толстый. И ему тоже жарко. Но твои проблемы скоро

кончатся.

— Каким образом? — спросил Гуго.

— Тебя тяготит твое большое толстое тело, — сказала Сперо. — Оно тяжелое и кажется тебе некрасивым. Но когда ты окажешься на месте, назначенном тебе судьбой, оно перестанет тебе мешать. Ты будешь все время плавать. Над водой будут видны только твои глаза. А они у тебя очень красивые.

Сперо повернулась к Сержу и Агенде.

— Ваши проблемы исчезнут тоже, — сказала она. — Вам плохо, потому что кончается ваше детство. Но когда вы окажетесь на своих местах, вы снова станете счастливы. Особенно ты, Агенда. Одна твоя голова будет все время выть, зато две другие испытают такой экстаз, выводя на чистую воду уклонистов от борьбы, что простое одноголовое существо никогда даже представить себе не сможет, как тебе хорошо. А ты, Серж... Ты великий артист. Гений. Может быть, тебе это редко говорят, и у тебя кризис. Но скоро ты будешь слышать такое постоянно. А ничего другого тебе ведь и не нужно...

Серж потупился.

— А я? — спросил Бату. — Почему ты ничего не скажешь мне?

— У тебя много проблем, Бату, — сказала Сперо грустно. — Очень много. Поэтому ты даже не смог увидеть того, что так мастерски помог организовать.

— Проблемы? — спросил Бату. — Какие? Откуда они?

— Из прошлых жизней.

— Я не ангел и не вижу прошлых жизней, — сказал Бату. — Но я думаю, что вряд ли попал бы в Эдем, если бы совершил много дурного.

— Ты совершил много дурного, — ответила Сперо. — Но ты всем сердцем верил, что попадешь за это в рай. И ты в него попал. Только не в том качестве, в каком рассчитывал. Змеи нужны и здесь.

— Ты знаешь, кем мы были? — спросила средняя голова Агенды.

Сперо кивнула.

— Но это на самом деле были не вы, — сказала она. — Так неправильно говорить. Было другое, из чего вы появились.

— Кем была я? — спросила левая голова Агенды.

— Ты... То есть вы, вы трое... Вы служили колдунами-информансерами. Журналистами, как говорили в вашем мире. И стали одним целым, потому что некое событие — очень неприятное событие — сплавило ваше эхо воедино. Хотя вы и до этого были в известном смысле одним целым... Все трехголовые собаки на Качелях чем-то похожи на вас.

— А я ведь тоже кем-то был? — спросил Гуго. — Я жил, смеялся и любил?

— Ты, Гуго, остался практически тем же самым, — ответила Сперо. — Можно сказать, вообще не изменился.

— А я? — тихо прошипел Бату.

— Ты, Бату, ничего не узнаешь. Такова твоя судьба. Могу только сказать — ты попал в Эдем, чтобы сбылось и по твоей вере тоже. Но потом тебя ждут серьезные испытания...

— Этот мир похож на детский сад, — сказал Серж. — Здесь невозможно быть взрослым.

Сперо улыбнулась.

— Ты прав. Рай, в который верят люди — что-то вроде сада с фруктовыми деревьями. Там живет Бог. Люди надеются туда попасть, но не знают, что это. Они рисуют в своем сознании смутный образ сада — и живущего здесь Бога. А потом, когда они освобождаются от тел, сознание начинает искать похожее место. Или само создает его по отпечатавшимся в нем чертежам. Тогда проявляются логические несоответствия, которых люди не замечали при жизни. Ведь человек — все помнят — был изгнан из рая. Поэтому чаще всего в Эдеме становятся зверями. Во всяком случае, в этом Эдеме...

— Ты тоже верила в рай? — спросил Серж.

Сперо кивнула.

— Ты счастлива здесь?

— Все сделано из счастья, Серж. Даже наша боль.

— Некоторые утверждают, что все сделано из боли, — ответил Серж. — Даже наше счастье. Я знаю про это не меньше десяти песен.

Сперо усмехнулась, но не сказала ничего.

Солнце вышло из-за закрывшей его тучи, и в центре поляны опять возник столб солнечного света. В нем сразу же появилось несколько крохотных пестрых птиц, успевших, видимо, замерзнуть в тени. Этих птиц здесь так много, подумала Сперо, а их жизнь так коротка... Места в Эдеме хватит для всех. Все будут счастливы какое-то время. Даже Бату.

— Мне пора идти, звери, — сказала она. — Вам уже совсем недолго здесь оставаться. Попробуйте просто радоваться жизни. Даже тому, что обычно вас раздражает. Скоро оно перестанет вас раздражать. И тогда вы заметите, как вам его

не хватает...

Звери молчали.

Повернувшись, Сперо пошла к зеленой арке. Она могла бы сказать глядящим ей в спину зверям еще многое.

Что Бог, которого она им показала, был таким же точно жульничеством, как придуманная гипнопитоном Бату гадюка.

Что она создает этот мир сама — как один из приютов, куда приводит заблудившиеся угасающие умы их последняя земная надежда.

Что Эдем — просто ее маленький личный цветник, до которого никому во вселенной нет дела. И это, по большому счету, такая же сентиментальная глупость, как висящая в зимнем лесу кормушка для птиц. Мир, созданный без всякой цели. Просто из любви, снисходящей даже к тому, чего на самом деле нет.

И все, что она может придумать для канувших в колодец бесконечности теней, которым так не хватало любви при жизни — это позволить им вернуться и немного побыть продолжением того смешного, безумного и бесконечно трогательного, чем они когда-то были. Позволить им снова стать собственным эхом, дать этому эху прозвучать в специально созданном для него резонаторе — и отразиться в другие миры, игрушечные, добрые и полные любви, разноцветными мыльными пузырями возникающие в бесконечности.

Эху не следовало знать, что оно просто эхо. Иначе волшебный мир потерял бы свой смысл. Исчез бы последний отпечаток древности и живших в ней душ... Но звери правы, этот мир действительно слишком похож на детский сад...

Сперо была уже на полпути к выходу из Леса. Можно было даже не

возвращаться в храм — а закрыть глаза и позволить телу исчезнуть. Но она чувствовала неудовлетворенность. Что-то оставалось недоделанным.

Гуго и Агенда — тени из ее далекого прошлого... Но там, рядом с ними, был, кажется, кто-то еще... Кто-то, на кого она не обращала особого внимания при жизни — и поэтому совсем забыла. Сперо остановилась, зажмурилась и направила всю силу своего ума на это выцветшее воспоминание.

Скоро она вспомнила.

Все легко можно было исправить. Но следовало сделать это прямо сейчас — пока она не забыла опять...

Когда она подошла к границе Леса, возле одной из ведущих в него арок уже шел ритуал Прибытия. По тому, какие именно звери пришли встретить новоприбывающее в Эдем сознание, можно было догадаться, откуда пассажир.

Место встречи было именно таким, каким ожидал бы его увидеть взыскующий рая мистик углеводородной эпохи. Это была большая заросшая цветами поляна, в центр которой из просвета между кронами падал широкий солнечный луч. В луче стояли три зверя: подкрашенный хной и похожий на пьяного Черчилля лев, темно-синий бык, покрытый жмурыющимися от мошек глазами, и огромный, в человеческий рост, золотой орел со строгим милицейским взглядом.

Прошла секунда, и на траве перед ними с хлопком возник крохотный белый хомяк с розовыми ушами и черной звездочкой на лбу. Посмотрев на высящихся над ним зверей, а потом на стоящую в отдалении Сперо, хомячок понюхал воздух, нервно вильнул хвостом — и исчез в траве.

Вся моя дальнейшая история поместится всего в нескольких абзацах.

Я оказался предоставлен самому себе — и не нужен был больше никому в мире. Как выяснилось, меня вполне устраивало такое положение дел.

Не дожидаясь, пока «старшим инспектором ОГИПРО» заинтересуется какая-нибудь из земных инстанций (тучи на горизонте уже сгущались — но пока интерес касался не меня, а исключительно занимаемой площади, на которую никак не могли найти договор аренды), я снял табличку с двери и исчез в московском сумраке, оставив неведомым наследникам всю оргтехнику и даже кофейную машину. Секретарше было сказано, что спасти вторую инспекторскую ставку не удалось — и она женственно приняла этот удар.

Я видел столько жизней, столько историй, столько судеб — и был уверен, что смогу создать из них нечто великое и памятное. Но в реальности, увы, весь мой улов поместился в небольшую папку со словами «Любовь к трем цукербринам». Рассказ про Птиц, история Кеши, отблеск Нади.

Последним служебным прозрением, посетившим меня на посту, была ослепительная догадка о тождественности суки Агенды и президиума с тремя седыми лесбиянками, увиденными Мейстером Ке в групповом сновидении. Я мог бы обосновать это множеством убедительнейших сближений (например, у всех трех лесбиянок были такие же гоголевские носы, как у журналистки, родившей фразу про «либеральную идею, отлитую в гранате»), но прошу читателя просто поверить мне на слово.

А потом началось самое интересное — и здесь я впервые боюсь, что мои слова покажутся неправдоподобными.

Я стал перепрыгивать с одного поезда судьбы на другой.

Ничего примечательного в моей жизни больше не было. Во всяком случае, для внешнего наблюдателя. Пересадки с одного маршрута на другой не выглядят никак, и точный их момент даже не всегда можно определить, хотя чаще всего мне это удается.

И я успел удалиться от мира, который когда-то обслуживал, уже очень и очень далеко. Чтобы вы поняли, насколько, расскажу только об одном обстоятельстве.

С момента взрыва в известной редакции прошло не так много времени. Но у этого события был такой резонанс, что оно, конечно, не успело бы забыться. Я объясню, почему вы ничего о нем не знаете.

Сегодня утром я увидел на сайте «Contra.ru» (да-да) статью одного злобного журналюги, похожего на лысеющий одуванчик. Она называется «Всюду Шпенглер» и посвящена не больше и не меньше как анализу распила и перепродажи несущих конструкций российской культуры. Главный герой — поэт Гугин, автор проекта «Голем Илелеем», названный в статье «кохочубайсом русского стиха» (во как).

Дело в том, что в этом мире я никогда не был Киклопом. И никакого взрыва в «Контре» тоже не было. Все живы. Кеша ходит в контору, Надя поливает цветы, а Гугин пишет стихи. Я заглянул в его «Голема» — и обнаружил, что памятное четверостишие в этом измерении выглядит чуть иначе:

«Шановный пане, пройти ***![\[18\]](#)»

Сказал фашисту пидарас,
И беркут наш встал черепахой
В незабываемый тот час.

Чего только не увидишь, путешествуя между мирами.

В этой вселенной Гугин расставляет маркеры еще безрассуднее, и три нестигаемых журналиста с восторженным визгом рвут его толстую попу на части, одновременно прикрывая собственные задницы от «кровавых клыков злобно ощерившейся диктатуры». Все трое живы и занимаются своим прямым делом — обслуживают качели духа: внеземной биолог сказал бы, что сука Агенда находится во временно диссоциированном состоянии. Все хорошо. Только «Contra.ru», увы, скоро закроется. Невидимая, но волосатая рука рынка...

В «Контре», кстати, недавно была статья о том, что словом «рынок» сегодня называет себя власть, когда не хочет, чтобы над пепелищем торчали ее уши. Может быть, может быть.

Бату тоже жив. Он торгует на рынке и не планирует никаких взрывов: он прочитал вывешенное перед мечетью объявление, что трупы террористов заворачивают перед похоронами в свежесодранную свиную кожу, и это сильно повлияло на его планы по духовной реализации. Он купил себе ноутбук, и его либидо, кажется, уже переползло с мечты о гуриях на стандартных электронных сестричек (в сущности, они с Кешей товарищи по несчастью: найти в Москве нормальную овечку еще сложнее, чем японскую школьницу).

Да, и еще любопытная мелочь — в этой вселенной киевский спор о Петлюре кончился без удара зонтом и сотник Гаврило перешел-таки дорогу. Остальное вы скорей всего знаете.

Я езжу в метро и гляжу, как люди, хорошие добрые люди, сидят ровными рядами на скамейках — и, уткнувшись в экраны своих смартфонов, кормят подрастающих цукербринов. Угощают собой тамагочи, которые не собираются умирать, а будут только расти — и просить для себя все больше и больше еды.

Эти добрые люди на полном серьезе считают, будто космический ужас — не то, что происходит с ними изо дня в день, а то, что они видят в кино, когда по экрану бредут злые обитатели изначального мрака, темные эльфы, среди которых для пушек достоверности есть даже пара внеземных негров.

Что будет через триста лет с Кешей в этом слое реальности, я не знаю. Но думаю, качественных изменений не произойдет — может, будет обнимать другого гендерсвингера и не попадет в герои. За Надю я спокоен. Я уверен, она сделает то же самое — создаст далекий невозможный рай и пустит туда всех, кого сумеет вспомнить.

А я?

В этом мире я тоже подолгу сидел у зеркала, делая упражнение «циклоп». Но вот ничем интересным оно так и не кончилось.

Я ничем не отличаюсь от любого другого писака, который накатал книгу со странным содержанием — и уверяет, что за ней стоит какой-то «реальный опыт». Мало того, я сам посвятил несколько страниц объяснению того, почему в нашем мире этот опыт совершенно нереален и ничем не отличается от обычного сна.

Пусть сон. В научном смысле так оно, наверно, и обстоит — иначе не сойдутся все эти бухгалтерские пасьянсы, которые ни в одной реальности нельзя нарушать. Какая разница. Сны — единственная смутная память о нашей действительной жизни. Я запомнил свой сон хорошо и написал про него книгу. Кто-то может предположить, что это моя последняя служебная попытка повлиять на реальность и выправить ее перекося. Что тут скажешь? Об этом мечтает каждый писатель — но получается такое только у Киклопов. И то не всегда.

Профессиональных претензий я не принимаю. Известные события начались не на моей вахте, и я даже не могу сказать точно, была ли при этом нарушена связь времен. Может быть, как раз и нет. В этом мире другой Киклоп — и все вопросы прошу адресовать к нему. У него много забот (можете себе представить), проблемы с людьми и с Птицами — и мне хочется пожелать ему удачи.

Я рад, что мои старые знакомые живы, но скоро мне предстоит расстаться с ними опять. Я буду уезжать на поездах судьбы все дальше и дальше. Для этого мне не надо брать никаких билетов, не надо делать почти ничего — достаточно просто просыпаться по утрам. И рано или поздно я совершенно точно приеду в измерение, где никогда не было ни Голема Илелеема, ни суки Агенды, ни трех цукербринов, ни войн за мир, ни песен протеста, ни густо облепивших каждое человеческое слово шулеров.

Странно — я точно знаю, чего там не будет. А вот каким этот мир окажется, пока неясно и мне самому.

notes

Примечания

Вселенная состоит из историй, не из атомов. *Мюриэль Рюкэйзер, американская поэтесса.*

Канола — растительное масло, которым иногда разбавляют оливковое. —

Примеч. авт.

Слово на букву «е», глагол в прошедшем времени. — *Примеч. авт.*

Слово на букву «е», глагол в прошедшем времени. — *Примеч. авт.*

Обстоятельственно-определятельное наречие места, меры, цели и способа, образованное из слова на букву «х», написанного слитно с предлогом «на». —

Примеч. авт.

Клятва верности (*англ.*).

Будь самим собой! Маленькая Сестра готова тебе помочь! (*англ.*)

Это слово происходит не от матерного, а от «e-block note» — *Примеч. авт.*

Веди себя, милая, тихо, как мышь. // Побольше поплачешь, поменьше
поссышь. — *Примеч. авт.*

Не дай себя поймать. Греши умно.

Для профессионального использования.

Слово на букву «е», глагол мн. ч. настоящего времени. — *Примеч. авт.*

Практичный, земной (*англ.*).

двойное проникновение.

Слово на букву «е», глагол в прошедшем времени. — *Примеч. авт.*

прекрасный новый мир.

Обстоятельственно-определятельное наречие места, меры, цели и способа, образованное из слова на букву «х», написанного слитно с предлогом «на». —

Примеч. авт.

Обстоятельственно-определятельное наречие места, меры, цели и способа, образованное из слова на букву «х», написанного слитно с предлогом «на». —

Примеч. авт.